

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

НИЖНИЙ НОВГОРОД

N I Z H N Y N O V G O R O D 2 (5 5) / 2 0 2 4



ОЛЕГ
РЯБОВ
Нижний Новгород

4



ДИАНА
КАН
Оренбург

55



МАРИНА
КУДИМОВА
Перedel'kino

61



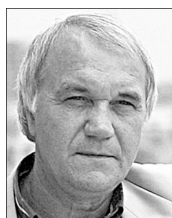
МИХАИЛ
САДОВСКИЙ
Нижний Новгород

64



СЕРГЕЙ
МИРОНОВ
Калининград

70



АЛЕКСАНДР
КОВАЛЕВ
Санкт-Петербург

105



ВАЛЕНТИНА
КОРОСТЕЛЁВА
Балашиха

110



НАТАЛЬЯ
СТРУЧКОВА
Нижний Новгород

113



МАРИНА
КУЛАКОВА
Нижний Новгород

116



ПАВЕЛ
КРУСАНОВ
Санкт-Петербург

118



ЕЛЕНА
КРЮКОВА
Нижний Новгород

135



ПАВЕЛ
КЛИМЕШОВ
Нижний Новгород

170



АНТОН
ФОРТУНАТОВ
Нижний Новгород

172



ОЛЕГ
НЕХАЕВ
Зеленогорск,
Красноярский край

186



РОМАН
СЕНЧИН
Санкт-Петербург

207

16+

В НОМЕРЕ

Проза

Олег РЯБОВ

НА КРАЮ ЗЕМЛИ	4
БОЛДИНСКИЙ МАРЬЯЖ	9
ПОРТРЕТ АКТЕРА	19

Андрей МАРКИЯНОВ

ВЕРНУТЬСЯ К СЕБЕ	23
----------------------------	----

Светлана ТЮРЯЕВА

БЛАГАЯ ВЕСТЬ.	49
-----------------------	----

Светлана ГОРЕВА

НА ДОЛГУЮ ПАМЯТЬ	52
НОВАЯ ЖИЗНЬ	54

Лирический портрет

Диана КАН

МЫ С ТОБОЮ ПОЭТЫ ЭПОХИ ЗЕТА....	55
---	----

Марина КУДИМОВА

И РИФМА РЯБИНЫ, И ПАМЯТЬ МАРИНЫ...	61
--	----

Михаил САДОВСКИЙ

НАС ХРАНИТ ЛЮБОВЬ БЕЗОБМАННАЯ....	64
---	----

Проза

Сергей МИРОНОВ

НА ПЕРЕГОНЕ ЖЕНЩИН НЕ МЕНЯЮТ	70
--	----

Андрей ПУЧКОВ

ЗНАМЯ	90
-----------------	----

Михаил СТРИГИН

ИСПОВЕДЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА	94
--	----

Лирический портрет

Александр КОВАЛЕВ

МЫ ВСПОМНИМ ВСЁ	105
---------------------------	-----

Валентина КОРОСТЕЛЁВА

НЫНЧЕ ВРЕМЯ ВЫЖИВАТЬ, ВВЕРХ ВЫТАГИВАТЬ РОССИЮ	110
---	-----

Наталья СТРУЧКОВА

НЕ СОЛГУТ О ТОМ КОЛОКОЛА....	113
--------------------------------------	-----

Марина КУЛАКОВА

СТРОЮ ДОМ	116
---------------------	-----

Из будущих книг

Павел КРУСАНОВ

СОВИНАЯ ТРОПА. Фрагмент романа 118

Елена КРЮКОВА

ДОЛИНА ЦАРЕЙ. Фрагменты романа 135

Стихи по кругу

Валерий МАККАВЕЙ 167

Александра КОРЖОВА 167

Елена ПЕЧЕРСКАЯ 168

Элина ЧЕРНЕВА 168

Ксения КРУТИНА 169

Елена ГАЛИАСКАРОВА 170

Павел КЛИМЕШОВ 170

Публицистика

Антон ФОРТУНАТОВ

ТАНГО С КИБОРГОМ 172

Олег НЕХАЕВ

ПОДЛЕЦЫ ТАКИХ НЕ ПЕРЕНОСЯТ

Из книги «Астафьев» (готовится издательством «Молодая гвардия») 186

Роман СЕНЧИН

ЗА ЗАВТРАКОМ. Фрагмент книги-очерка «Поминки» 207

Вехи памяти

Галина МУХИНА

«ИСКУССТВО ПОЧУВСТВОВАЛО СЕБЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ СИЛОЙ»

К 200-летию со дня рождения художественного критика В.В. Стасова 217

Руслан СЕМЯШКИН

«НАМ БЫЛО ТОГДА И ПО ДВАДЦАТЬ ЛЕТ И ПО СОРОК ОДНОВРЕМЕННО»

100 лет со дня рождения Юрия Бондарева 228

Олег РЯБОВ

Поэт и прозаик. Родился в 1948 году в Горьком. Окончил Горьковский политехнический институт имени А.А. Жданова. Работал в Научно-исследовательском радиофизическом институте (занимался проблемами поиска внеземных цивилизаций), облкниготорге, издательстве «Нижполиграф».

Главный редактор журнала «Нижний Новгород», редактор-издатель альманаха «Земляки», директор издательства «Книги». Член Российского Союза антикваров, Национального Союза библиофилов.

Автор многих книг стихов и прозы и многочисленных журнальных публикаций. Участник антологий «Русская поэзия. XXI век», «Молитвы русских поэтов. XX–XXI», «Антология военной поэзии». Лауреат ряда литературных премий: города Нижнего Новгорода в области литературы (трижды), имени Шукшина «Светлые души» (Вологда), Б. Корнилова (Нижний Новгород); финалист премии «Ясная Поляна» (2013) за книгу «Четыре с лишним года. Военный дневник», шорт-листер премии «Золотой Дельвиг» (2013) за роман «Когиз», премии имени И. Бунина (2012) за сборник стихов «Утки не возвратились». Лауреат XIV Международного Славянского литературного форума «Золотой Витязь» (2023) за книгу за книгу «Свинцовая строчка». Награжден медалью Пушкина.

Член Союза писателей России. Живёт в Нижнем Новгороде.

НА КРАЮ ЗЕМЛИ

Огромное безграничное поле, которое последний десяток лет было простой луговинкой и служило пастбищем для нашего деревенского стада, в этом году было засеяно овсом, превратившись в фисташковое море, и пробираться к моей заветной полянке, на которой я любил медитировать и отдыхать сердцем, приходилось теперь вдоль лесной опушки, делая крюк в пару километров. Здесь, между вековыми лиственницами и соснами, весенними потоками был промыт небольшой овражек, по которому даже я на своем «Патриоте» боялся спускаться к очаровательной лужайке, которая и манила последние годы меня. Хотя пару раз я этот манёвр и совершал, но чаще не рисковал.

Лужайка была ровная, как футбольное поле, да и по размерам такая же. Она пряталась в котловине, окруженная каким-то реликтовым лесом: по краям ее стояли четыре огромных многовековых осокоря в два, а может, и в три обхвата у основания, с причудливой неестественной формой стволов, чем всегда притягивали взгляд и вызывали разные фантазии, убегающие вглубь веков. По дальнему краю полянки бежал

ручей, скорее даже небольшая речка, потому что у неё было какое-то местное заковыристое марийское название. Речка эта была шириной метров в пять, и её без труда можно было перейти вброд. Покидая мою полянку, журча, она впадала в солидный омут, укрытый нависающим тальником, в котором водилась мелкая рыбёшка: окуньки, плотва, красноперки, а дальше, снова превратившись в речку, километров через пять встречалась уже с Ветлугой. Каждый раз, когда я спускался по оврагу на эту полянку, всегда покрытую какой-то мелкой, неизвестной мне, будто искусственной травой, меня охватывала наполнявшая всё это закрытое и заполненное особым личным переживанием пространство тишина и неземное спокойствие. Это состояние многие из нас испытывали, но передать его словами невозможно. И это мучительно, тревожно и радостно одновременно. Мне кажется, что Чехов так же мучился, когда писал свою «Степь» и понимал, что у него не хватает слов, чтобы пересказать свой восторг.

Я сам житель городской, и дом деревенский мне достался по наследству лет десять назад от не совсем понятной мне дальней родственницы, и, наверное, плюнул бы я на этот дом, если бы не случай. Заехал я тогда посмотреть на свое наследство, рассчитывая кому-нибудь продать этот огромный пятистенник хоть за какие-нибудь копейки, познакомился с соседями, а те меня приветили и начали расписывать свои местные красоты. А свелось всё к тому, что попросили они меня пустить в дом пожить молодую вдову Лиду с двумя ребятами, пацанами шести и восьми лет. Беда у неё недавно случилась: сгорела её хата вместе с мужем-хозяином. Осталась она без жилья и без опоры.

Что делать? Согласился я на их просьбы, посулы и уговоры: и за домом Лида присмотрит, и печь протопит, и белье постельное, когда надо, стирает, и порядок наведёт. А ещё и огород там за домом есть, который обрабатывать надо. Так и повелось: летом я с десятков раз наездами бываю тут, сам у себя в гостях, или один, или с друзьями: и за грибами сходим, или на рыбалку, и на пленэре посидеть неплохо, когда один, этюды пишу. Художник я. А круглый год Лида в доме хозяйничает: услужливая женщина, тихая, незаметная – будто и нет её. Правда, косолапит она и походка у неё как у уточки.

В тот день, когда я поближе познакомился с Виктором, планировал я наловить в качестве живцов мелких рыбешек в моём омуте, чтобы зарядить жерлицы на щук в затоне. Я подъехал на своем «Патриоте» к спуску на полянку, вышел и увидел, что на подъеме, в овраге, почти на боку висит «жигуленок» соседа Виктора, вот-вот опрокинется. Машину стащило туда юзом, когда он выбирался с полянки наверх. Виктор был не совсем моим соседом: он жил на нашем порядке, напротив, через три дома, но я его в лицо знал. А сейчас Виктор был сильно пьян и очень разгневан на самого себя: он мотался вокруг своего застрявшего авто, грязно и громко ругался и стучал себя кулаками по ногам.

– Сосед, выручай, – обратился он, увидев меня и прекратив свои самобичевания, – выдерни меня отсюда. Ты же на вездеходе! У тебя есть трос?

– Нет, нет у меня троса, Витя, – ответил я.

– Да вот, – и опять мать-перемать, – поехал я тestyаге своему показать, где можно карасей ловить, и вляпался так! Привез его из города, показать, как мы с Татьяной его тут устроились, а сейчас чуть морду ему не разбил – начал меня учить! Прогнал я его. Сосед, давай сгоняем с тобой на лесопилку, тут рядом, пару километров – я там

конец троса стального возьму, и мы с тобой выдернем машинёшку мою несчастную.

Отказать ему я не мог: в деревне это не принято – в деревне и просьбы всегда разумные, и отказов не принимают, хотя неприятен мне этот Виктор был даже издали.

Ничего мы на лесопилке не нашли, поехали в свою деревню, и там не повезло – нет ни у кого. Пришлось ехать в соседнюю. Часа только через два выдернул я этого Витю из канавы. На удивление, «жигулёнок» Витин завелся сразу, без проблем.

– С меня стакан, – сказал он мне на прощание.

Даже верёвку чужую Витя бросил тут же в траве, и мне самому уже пришлось её отвозить хозяевам в чужую деревню.

Было это лет пять назад.

Как я потом узнал, Виктор был сам местным, родился тут. А после армии перебрался он в райцентр, завел там какой-то мелкий бизнес, были у него целых три палатки на рынке. Только пришлось ему эти палатки продать, женился он на Татьяне, женщине с ребенком, купил дом-пятистенки в родной деревне и вернулся сюда, где на свет появился. Татьяна была женщина дородная, крепкая, рослая, с тяжелой рукой и лет на десять старше Виктора. Потому, когда пьяный, а пьяный он бывал часто и всегда дурной, Виктор поднимал на свою суженую и законную голос или руку, то всегда получал от неё взбучку, и солидную. Часто он ходил с синяками, но никогда не смущался тем.

Дом свой Виктор в порядок привел – мужик он был сручный и крепкий. Парники на участке поставил такие, что иной агрохолдинг мог бы позавидовать. Через год Татьяна ему сынишку родила. Только чувствовалось в этом Викторе всегда какое-то говнецо, а иногда оно и наружу прорывалось.

Помнится, сосед его Саша Удалов менял подгнивший венец у своего дома, и надо было поддомкратить угол сруба. Попросил он Виктора соседски помочь, и я тому был свидетель. Так тот только рассмеялся:

– Давай тыщу – помогу, а так – что я карячиться с тобой буду!

И таких некрасивых историй скопилось у меня в памяти немало. Помнится, раз на берегу реки он ногами разбросал и переломал два удилища заброшенных фидеров незнакомого рыбака, приехавшего к нам из города порыбачить – и притом кричал истерично:

– Моё это место! Убирайся вон, а то накостыляю!

Надо сказать, что рыбаком Виктор отменным был: и места он знал самые уловистые, и прикормки делал сам какие-то замечательные, но секретами своими он ни с кем никогда не делился. А ещё чутье у него на это дело было. Вот все мужики на рыбалке, а он в огороде торчит и смеется:

– Сегодня клева не будет!

И действительно: вечером все мужики пустые с реки идут.

А то вдруг: и дождь моросит, и ветер гуляет, а он на берег шагает и через час двух судаков здоровенных домой прёт.

Раз как-то я ему напомнил, что он мне стакан должен.

– Послушай, сосед, – ответил он мне, – я, когда буду выпивать, тебя не забуду и налью. А сейчас нет у меня.

– Витя, – сказал я ему на это, – я про стакан пошутил. А вот научи меня, как ты из макухи приваду свою на леща делаешь и наживку.

– Давай тыщу, и я тебе свою отдам – вот только что наготовил, – и он протянул белый шар намятого теста.

– Понял, – ответил я.

Больше я с ним ни разу не общался – противно!

Когда СВО объявили и стали набирать людей по контракту, Витя первый из нашей деревни пошел в военкомат и записался воевать на Украину.

– Да я за такие бабки до пенсии воевать готов!

В то лето я его больше не видел. Зимой я в деревне не появлялся. А по весне, уже по теплу, в конце мая, заехав к себе погостить, я заметил его, сидящего около своего дома на маленькой скамеечке. Лида, хозяйка моя, доложила мне, что Татьяна, супруга Виктора, деньги контрактные целый год исправно получала, а зимой он в отпуск на неделю приезжал, медалью хвастал. Только вот сейчас из госпиталя прибыл весь израненный – неделю уже на табуретке домашней сидит да курит. Какой-то другой он стал: мужики просто его не узнают.

Я не стал выяснять – какой он другой стал, а решил сам с Виктором пообщаться. По моим понятиям, любой человек, который, защищая Родину, кровь пролил, заслуживает особого внимания.

Подойдя к избе Виктора, точнее, к сидящему на скамейке Виктору, я сразу заметил, что он как-то скукожился: маленьким стал, худеньким и подсох весь. Он курил. Рядом, в траве лежал костыль, а левая рука была на перевязи, перебинтована и очевидно упакована в лангету. Я остановился и закурил.

– Что сосед, за стаканом пришел? Я больше не употребляю, но Татьяна своей скажу, чтобы она тебе налила. Долги надо всегда отдавать.

– Да нет, Вить – бог с ним, со стаканом. Я так – поболтать. Расскажи про себя.

– Нет, сосед, чего рассказывать? Кто на войне бывал, тот плохой рассказчик!

– Но всё равно – как тебя угораздило?

– Как-как! Кассета в десяти метрах от меня разорвалась – двадцать осколков я и словил. Десять удалили, а ещё с десятков остались во мне торчать. Ногу перебило – так вроде налаживается, а вот с рукой всё хреново: и кости в крошки раздроблены, и сухожилия перебиты. Врачи сказали, что отремонтируют, но я не верю – сохнуть будет. Хотя вот через десять дней снова в Москву, в госпиталь поеду. Остальные осколки вынимать будут. Хочешь – потрогай.

Он протянул мне правую руку.

– Видишь шарик повыше кисти, это осколок заросший, потрогай, не брезгуй потрогать солдата.

– А кем ты там, на войне-то был?

– О, у меня специальность была сложная – истребитель танков.

– Что-то я про такую специальность впервые слышу.

– А теперь и война совсем другая, не такая, как в кино.

– В смысле?

– А в том смысле, сосед, что был я на краю земли. Понимаешь меня? Нет? Вот, помню, в самом что ни на есть детстве, мой дед пришел с покоса раннее времени и говорит моей бабушке (я с ними в детстве жил): «Знаешь, бабка, на том берегу реки тоже люди живут. Я тут траву кошу, а на том берегу тоже мужик, и тоже косит – чудно». Я тогда маленький был, и понял, что для моего деда земля заканчивалась на этом берегу реки, а на том уже ничего серьезного и нет. Я ведь в армии все два года в каком-то лесу под Архангельском служил, и вот казалось мне с тех пор и всегда, что только лес вокруг и есть. И у нас кругом лес,

и под Архангельском вокруг части один только лес был. И вся Земля для меня один только лес. А там, где я целый год воевал, земли уже нет. Там все живое выбито, все леса выжжены и выбиты в хлам, в труху, в щепки, а земля железом там так наштигована, что она уже никому не нужна будет! Никогда! Там даже трава не будет расти. Я был, я стоял на краю живой Земли.

Виктор замолчал. Мы снова закурили. Я тоже молчал.

— Что, сосед, поедем завтра на рыбалку? Я пешком-то не дойду, а с тобой на «Патриоте» с удовольствием прокачусь. Я тебе такие уловистые места покажу, каких даже все наши местные не знают.

— Так чего — поедем.

— Только надо сначала в Воздвиженское, в храм съездить, помолиться — там у них праздник престольный завтра, а потом уже на рыбалку.

БОЛДИНСКИЙ МАРЬЯЖ

Из цикла «Жмуркин и Криворотов»

1

Июнь. Вот и пришло долгожданное лето. Да – долгожданное. У нас, в средней полосе, лето каждый год ждёшь и ждёшь, когда оно придёт. Так ведь оно иногда не приходит, а если и приходит, то такое, что осенью про себя проговариваешь, что лета-то как такового и не было!

Я вообще не знаю людей, которые говорят – «долгожданная зима»: зима, она и так приходит каждый год, жди её, не жди! Про осень говорить «долгожданная» – вообще смешно. А весна: ну что – март на весну не похож, апрель тоже – слякоть, снег грязный, хотя и солнышко светит, а май многие уже летом почему-то считают. Хотя это ещё и не лето!

А вот июнь – это уже лето. И солнышко, и день длинный-предлинный, и пиво можно на свежем воздухе пить. Михаил Жмуркин и Илья Криворотов сидели за столиком на веранде и пили по третьей кружке, когда Миша, спохватившись, вдруг заявил:

– А ты знаешь – я вдогон за тобой в Большое Болдино еду на этот фестиваль «Русское слово». Так что там снова будем вместе работать.

– В смысле? Как это вместе работать? Я со съемочной группой еду, а ты?

– А я просто так! Ты вроде как не рад? А ведь у тебя один друг – и это я! Мне позвонила Нина Зингер, которая всё это мероприятие организывает и курирует, и пригласила меня в качестве почетного гостя.

– Какого-какого гостя?

– Почетного. А что?

– Ты что, смеёшься надо мной? Какой из тебя почетный гость?

– А вот так, Илья, мы сами и не замечаем, что становимся уважаемыми, заслуженными, почетными. А со стороны виднее.

– Может быть, может быть – но я буду теперь знать кое-что новенькое про тебя. И вообще, с таким твоим перевоплощением за пиво сегодня платишь ты.

– Хорошо.

– А что же ты там будешь делать?

– Нина мне сказала, что я буду модератором в дискуссии двух писательниц наших местных: одна из них, какая-то Аня Конюхова, учительница и опубликовала она в Москве, в издательстве ЭКСМО два сборника рассказов острой социальной направленности, и про неё в центральной прессе несколько восторженных статей появилось, как о новой звездочке. А вторая наша – Елена Пучкова, которая написала уже тридцать романов, и они тоже все изданы: детективы, порнуха, семейные саги под разными псевдонимами, и по многим из них уже сериалы многосерийные отсняты. Она настоящий профессиональный писатель: то есть своими гонорарами себе на жизнь зарабатывает.

– С Ниной Зингер мы когда-то, лет десять назад, тут, в одной студии, работали, я её хорошо помню. Потом она через Германа Сагалаева в Москву на Первый канал попала. А что ей, она старая дева: она там занимается подбором артистов для сериалов, довольно денежная должность. И ответственная. Но вот, насчет этого фестиваля, говорят, что кто-то ей помог: чуть ли не через администрацию президента, выбила она пять миллионов и решила устроить для своих друзей праздник. Она пригласила на этот фестиваль очень значительных и уважаемых людей – и писателей, и артистов, и журналистов, и столичных, и наших. Можно сказать – сплошь ВИП-персоны. Какой смысл? – я пока не понимаю. Посмотрим.

– Я тоже Нину хорошо знал, но только – сколько лет прошло. Я за последние годы и видел-то её всего пару раз.

В Большое Болдино Жмуркин ехал на редакционной машине вместе с Криворотовым, народным артистом Познанским и оператором Славой – повезло. С гостиницей тоже повезло – номер двухместный, но второй постоялец пока что не объявился. Программа двухдневного фестиваля была не просто насыщенной, а перегруженной, хотя Михаила ни одно мероприятие не вдохновило; отметил он для себя только творческую встречу с Захаром Прилепиным, которую можно было бы посетить. Захар должен был презентовать свою новую книгу о Леониде Леонове, а дирижировал эту встречу Дима Быков.

Просидев в номере с четверть часа и изучив программу, Жмуркин переоделся в легкомысленные шорты, майку и вышел прогуляться и размяться на площадку перед гостиницей. На площадке никого не было, если не считать самой хозяйки фестиваля Нины Зингер, которая обрадовалась, увидев Жмуркина, чмокнула его в щеку и строго спросила:

– Ты почему не в ресторане? Все обедают. Иди быстрее – это тут, в гостинице, на втором этаже. У тебя через час мероприятие во Дворце культуры – вон, напротив. Я сейчас встречу ещё парочку гостей из Москвы и тоже приду на ваш диспут.

Тут подкатило такси, и Жмуркин стал свидетелем, как Нина Зингер обнимает и облизывает трёх солидных дам. Михаилу даже показалось, что он узнал среди них когда-то блиставшую дикторшу с центрального телевидения Сорокину, только уж больно постарела.

Конференц-зал Дворца культуры мест на пятьдесят был пуст, почти пуст: с десяток молодых ребят, как выяснилось, студентов из пединститута, из Арзамаса, и всё. На сцене в креслах, в отдалении друг от друга сидели писательницы: они обе были молчаливы и неулыбчивы. Перед ними стояли маленькие журнальные столики с именными табличками. Жмуркин пожалел, что не успел предварительно пообщаться с дамами: теперь он вообще не представлял, что он должен делать и как себя вести. И Аня Конюхова, и Лена Пучкова тоже не знали, что им делать.

Михаил поднялся на сцену, взял в руки микрофон, но тут же положил его на столик – он решил вести встречу стоя.

– Друзья! Я попрошу – давайте сядем поближе к сцене, чтобы общаться без микрофона и было как-то поуютнее.

Хотя уж куда было уютнее – студенты сидели на первом и втором рядах и продолжали заниматься своими делами: копать в пакетах, разговаривать по телефону и совершенно не обращали внимания на Жмуркина и на писательниц.

– Друзья, – снова начал Жмуркин, – у вас сегодня образовалась уникальная возможность задать любые вопросы настоящим и популярным

действующим писателям Анне Конюховой и Елене Пучковой и узнать и понять, что такое литературный процесс в России.

Никакой реакции слова Жмуркина у студентов не вызвали, и он обратился к залу в третий раз.

– Друзья, давайте попробуем так: вы для разминки зададите пару-тройку вопросов нашим гостям, а потом я попробую нашу встречу перевести в нужное русло.

– А вы замужем? – обратился непонятно к кому совсем юный и худенький, почти мальчик с первого ряда.

– Это к кому вопрос? – уточнил Михаил.

– А к обеим.

– Замужем, замужем, – кивнули по очереди писательницы.

– А вы в Венеции были? – на этот раз вопрос задала такая же юная и худенькая белобрысая девочка.

– Не были, не были, – покачали головами писательницы.

Жмуркин начал понимать, что встреча начинает походить на кошмар, который надо приводить в порядок. И тут с шумом и активными разговорами, открыв настежь обе двери, в зал прошла, а скорее даже завалилась, достаточно значительная новая группа журналистов и писателей, возглавляемая Ильёй Криворотовым.

Илья тут же поднялся на сцену, развалился в жмуркинском кресле и, взяв в руки его микрофон, заявил:

– Мы сегодня можем узнать или даже выяснить, что такое коммерческая литература и что такое интеллектуальная литература из первых рук. Для начала, я хотел бы сформулировать для себя, а вы можете возразить: а кто такой писатель в современном мире. Отвечаю, но это лишь моё мнение: писателем может считать себя каждый, у кого есть массовый читатель. Насколько он массовый – это мы сейчас выясним. Насколько ли, что гонорами и роялти он сможет обеспечить себе безбедное существование? Или достаточно, если просто будет удовлетворено тщеславие автора?

Михаил почувствовал, как мурашки озноба стали таять, он снова почувствовал июньское тепло, услышал наглое чириканье воробья за открытым окном и, уверенно спустившись в зал, уселся рядом со студентами – Криворотов на сцене оказался в своей стихии и в подсказках не нуждался.

Тема оказалась актуальной, злободневной, спорной, и в какие-то моменты публика, а точнее, участники прений даже пытались перекричать друг друга. Обе писательницы были позабыты и сидели молча, а когда Криворотов обращался к ним за поддержкой или выяснением их мнения, смущались, как будто и не они на самом деле виновницы всего этого сборища.

Жмуркин вышел на свежий воздух, не дожидаясь окончания дебатов, которые успешно вел Криворотов, – он был лишним. Пешком, знакомым переулком он прошел к усадьбе Поэта. С крытого крыльца барского дома, которое выполняло и функции балкона, мужчина профессионально, хорошо поставленным голосом читал «Евгения Онегина» – было приятно, что это настоящий артист. Слушателей стояло вокруг человек пятнадцать-двадцать.

– Привет, Миша, – поздоровался со Жмуркиным кто-то, дотронувшись до плеча.

– Привет, – откликнулся он, не очень понимая, кто с ним здоровается. Да, лицо знакомое, кто-то из журналистской братии, но кто?

– Ты тоже решил приобщиться к высокому искусству?

– Да нет – я случайно забрёл. А кто это такой?

– Это какой-то заслуженный артист из Москвы. Я фамилию его не знаю. Он в качестве предисловия рассказал любопытную историю: в эфире, на какой-то программе Никита Михалков предложил ему спеть хором «Боже, царя храни». Так он Никите Сергеевичу отказал, сказав, что Михалков петь не умеет, а мычать с ним просто так он не будет, а вот на спор прочитать «Евгения Онегина» – главу он, главу Никита – по очереди, он готов. Никита Сергеевич согласился, подтвердив, что «Евгения Онегина» он на память знает, но отговорился тем, что эфирного времени не хватит: на чтение всей поэмы уйдет часов пять или шесть. Так вот и этот артист, и Михалков решили этот свой дуэт исполнить на сегодняшнем мероприятии – Михалков должен был приехать, но не приехал. Поэтому артист читает первых две главы сам, а присутствующие пообещали, что доложат о таком мероприятии нашему великому режиссеру. Он уже час читает. Думаю, что ещё час будет читать.

В этот момент к Жмуркину подкатилась девочка, полненькая, кругленькая, серьёзная (но серьёзность на её улыбчивом личике с трудом удерживалась) с короткой толстой косичкой. Михаил её уже видел: и в зал, где проводился диспут, она заглядывала, и в гостинице она пару раз мимо него пробегала, и всегда с заботой какой-то, видно было, что работает.

– Михаил Петрович, я – Наташа, помощница Нины Зингер. Нина Ивановна просила вас разыскать. Она ждёт вас у себя в номере – вы ей зачем-то понадобились. Она на втором этаже в своем номере. Там один большой ВИП-номер.

– Ну, пока, – Жмуркин хлопнул по плечу собеседника.

2

В номере у Нины Зингер сидели журналист Цирульников, писатель-сатирик Задорнов, дикторша Сорокина и ещё одна дама, которую Жмуркин не знал и видел в первый раз.

– Миша, что будешь: чай, кофе? Наливай. Присаживайся. Можешь минералку взять в холодильнике. Мне уже рассказали про ваше мероприятие – всё прошло великолепно, люди ведут разговоры до сих пор. Зацепили вы народ с Ильёй. Миша, я что тебя пригласила – Михаил Николаевич Задорнов дарит музею-усадьбе Болдино большую бронзовую композицию, и завтра будет её торжественное открытие. Я прошу тебя от имени Союза журналистов сказать пару слов, регламент – пять минут. И кстати: статую поставили временно прямо за горбатым мостиком справа. Как тебе такое место?

– Хорошее место. Правда, хотелось бы вживую посмотреть. А что за композиция? Хотя завтра посмотрим.

– Там няня Арина Родионовна и мальчик Саша Пушкин. Большая композиция – больше тонны весит.

– А при чем тут Болдино? Этот памятник в Михайловском должен стоять.

– Ну, а вот Михаил Николаевич решил так распорядиться.

– Конечно, хозяин – барин. А выступить – выступлю.

– Нора, – Нина обратилась уже к даме, которую Жмуркин видел впервые, – вот тебе твой Жмуркин, живой, красивый, талантливый – забирай. А ты, Миша, пожалуйста, поухаживай за моей хорошей подругой Норой Минской – она так же, как и ты, журналистка, главный

редактор еженедельника «Неделя-криминал». А может, вы уже знакомы? Нет? Тогда у меня к тебе просьба: ты же уже раз десять бывал в Болдине, а Нора впервые; проводи с ней подробную экскурсию.

Жмуркина, как только он вошел в номер к Зингер и как только увидел эту незнакомку, сразу посетило чувство тревоги и надежды. Если задуматься – бывает такое сложное сочетание. Дама была ровесницей, а может, чуть постарше Жмуркина, лет сорока. Она была интересна той зрелой женской красотой, которую не надо подчеркивать и выпячивать: дама знала о том, что она носительница этого женского очарования, и она умела сама этим своим свойством руководить и пользоваться. Она была в приталенной белой рубашке батик с расстегнутой верхней пуговкой, светло-голубых укороченных джинсах и белых кроссовках. Волосы светлые, коротко остриженные, но не каре, а так, какой-то беспорядок. Губы её были накрашены ярко и агрессивно.

Нора встала и направилась к двери, а открыв её, обернулась на Жмуркина и, удивленно подняв брови, посмотрела на него, как бы говоря: «Ну что же – я тебя жду!»

– Миша, тебя ждёт Нора, – с упреком заметила ему Нина.

– Нина, дай я выпью чашку обещанного чаю.

– Ну, пей, пей!

Потом Жмуркин лежал у себя в номере и анализировал поведение Норы Минской – она не выходила у него из головы. Так просто лежал и думал, и чувство тревоги не проходило, пока не послышался шум и разговоры в коридоре – народ шел в ресторан на ужин.

На ужин Нора Минская несколько опоздала – она вошла в зал, когда все уже стучали вилками и ложками. В кремовом строгом брючном костюме, на шпильках, и макияж её был строгий и рабочий; она очень походила на руководителя крупного предприятия. Если и не все мужчины, то кое-кто всё же повернул свою голову, чтобы полюбоваться. Вообще не обернувшись на Жмуркина, она прошла к своему столу, а Миша прямо заерзал на своем стуле. Ничего не доев и не допив, он поднялся с места, подошел к Норе и прошептал ей на ухо:

– Я вас жду в вестибюле через полчаса.

– Хорошо. Мне надо будет переодеться, – услышал он ответ.

И вновь кое-кто с удивлением посмотрел на них.

Илья Криворотов подошел к Жмуркину и с надеждой спросил:

– Ты с нами пойдёшь пить вино в парк? Ребята из Москвы приглашают.

– Нет-нет, Илья. У меня дела.

– Ну-ну!

Михаил курил в вестибюле, когда Нора вышла. Она была в цветастом легкомысленном приталенном платьице с глубоким вырезом без рукавов и кроссовках, в руках у неё была джинсовая куртка. У Жмуркина мелькнула мысль о грядущем ночном приключении, но Нора, крепко взяв его под руку, сказала:

– Пойдем к прудам, погуляем. Не хочется сейчас быть пошлой, но иногда я устаю от этой журналистской тусовки. А вот ты сам, скажи честно, как относишься к этому почти полувековому болдинскому ажиотажу?

– Если честно, то я его оправдываю. Подумай: за три своих болдинских вояжа поэт пробыл здесь чуть больше четырех месяцев, а написал почти тридцать процентов всех тех текстов, которые мы знаем и читаем. Это – феноменально и называется болдинским чудом. Если всякие глупости наших новорожденных писак, о том, что в Болдине их посещает

вдохновение, можно относить к рекламе, то объём написанного здесь Пушкиным просто поражает.

– А Михайловское?

– Ну что ты, Нора? Михайловское – это памятник Гейченко! Разве можно эти точки сравнивать? Я был в Михайловском. В Михайловском Пушкин был в ссылке. Это – его тюрьма! Я уверен, что поэт всю свою оставшуюся жизнь проклинал эту точку на карте! Михайловское создал Гейченко, и большое ему за это спасибо. Гейченко – великий менеджер. А в Болдине Пушкин был счастливчиком, чего стоят его письма к Гончаровой – он получил только что согласие на брак с Натальей Николаевной. Жаль, что меморий только здесь никаких пушкинских нет. Правда, говорят, что лиственницу перед барским домом он самолично посадил. А там, в музее, все – неправда: чашки чайные кузнецовские, конца девятнадцатого века, стол письменный из шереметевского замка.

Нора плотно держала под руку Илью, и он даже ощущал легкий аромат её парфюма. Ворота на территорию барской усадьбы была настежь открыты, в парке мелькали на тропинках какие-то фигуры, слышался женский смех.

Конец июня – белых ночей у нас не бывает, но всё равно они, эти июньские ночи бывают волшебными. С девяти до одиннадцати, когда солнце уже зашло, а воздух ещё прозрачен и держит дневное тепло – время влюбленных. И всегда чудится, что в кустах кто-то шепчется, а соловьи издают такие звуки, что можно сойти с ума. А потом наступают сумерки, но и они тоже прозрачные и тоже сумасшедшие, и снова соловьи.

Прошли горбатым мостиком. Справа, на небольшом пригорке стоял фанерный короб три на три метра и пару метров в высоту – это, видимо, был скрытый от взоров подарок писателя Задорнова. Ниже, на комле поваленной в пруд огромной двухсотлетней ивы, сидела компания во главе с Криворотовым, пили вино или пиво, смеялись.

Кто-то купался.

– Миша, Нора, присоединяйтесь к нам.

– Не отвлекайте нас, мы гуляем и заняты делом, работаем мы, – строго, но с ноткой иронии отрезала Нора.

Обошли нижний пруд, разговор незаметно перешел на общих знакомых и вдруг превратился в неведомую раньше игру:

– А ты помнишь, как звали Булганина?

– Николай Александрович. А как звали Силаева?

– Иван Степанович. А Катусева?

– Константин Федорович. А Клопова, председателя облсовпрофа, помнишь?

– Александра Дмитриевича? Конечно, помню, а чего его помнить – он жив-здоров. Я его в детстве дядей Сашей звала, а он меня Норкой, и я очень обижалась: говорила, что Норкой можно только собак звать.

– Так, значит, мы с тобой в детстве в одной песочнице играли. Я в свое время записывал все эти гадкие истории про адюльтеры, измены, предательства, уголовные дела, самоубийства, которые происходили в нашем городском высшем эшелоне – слышал я всякие такие разговоры между папой и мамой. Могу целую книжку издать. Только думаю, что меня за эту книжку не в тюрьму посадят, а просто убьют.

– А если за границей издать? Я могу запросто это устроить.

– Всё равно убьют. Вот у меня есть уже написанная книжка про наших незаслуженно забытых инженеров и ученых, которые являлись светилami советской науки и техники, а мы про них ничего толком

не знаем, про их частную жизнь: это и академик Андронов, и академик Разуваев, и инженер Железцов, который рассчитал всю автоматизацию и телемеханику для первого атомохода «Ленин», Грабин, который 75-миллиметровую пушку создал. А ты знаешь, что в доме, где сейчас Союз писателей находится, некоторое время жил Зворыкин, изобретатель и создатель телевизора? У меня есть эта готовая книга – сорок биографий полузабытых великих наших земляков. Пойдем вниз – я тебе земляную скамейку покажу, или дерновую, как местные её зовут. Юрий Андреевич Адрианов считал, что если в Болдине и есть место силы, то оно находится на травяной скамейке.

– Пойдём, води меня, – ответила Нора, плотнее ухватила Михаила под руку и прижалась к нему, – знаешь, я помогу тебе издать эту книгу. Мы с тобой поедem на Франкфуртскую книжную ярмарку, она в начале осени бывает. У меня есть знакомый литературный агент Томас Видлинг, он является агентом Захара Прилепина и вообще лучший агент в мире – мы с ним твой вопрос решим, он мне не откажет. Только ты должен за эти два месяца подготовить рукопись и желательно сделать перевод или на французский, или на немецкий.

Сумерки сгущались, выпала роса, узкая тропинка вывела гуляющую пару вниз, на небольшую площадку с выложенным постриженным травяным дёрном небольшим возвышением – это была травяная скамейка.

– Вот оно болдинское место силы, по словам Юрия Адрианова. Если ты не замерзла, можем посидеть тут.

Нора бросила на траву свою куртку, и они уселись рядом. Миша обнял Нору, а она прижалась к нему. Рука Жмуркина невольно и механически легла на колено Норы – коленка была холодной, а вот чуть повыше нога была очень даже горячей. Нора сжалась:

– Миша, ну, что ты? Я же взрослая женщина. Мы с тобой взрослые люди. И что же, мы с тобой будем щупаться и обниматься в кустах, как ребятишки? Мы же ничего с тобой не ворует. Всё у нас с тобой будет – подожди. И пойдем домой – холодает. Вон, посмотри, как интересно. Это туман?

По склону прямо по тропинке на поляну полз белёсый язык тумана.

– Интересно, я раньше думала, что туман только вверх поднимается, а тут он с озера вниз речкой течет. Миша, я завтра утром рано уезжаю в город. Давай встретимся в среду на спектакле в Доме актера: там у Миши Висилицкого будет премьера нового спектакля про Чонкина; уж не знаю, по Войновичу это или просто так.

Нора остановилась, задержала Жмуркина и чмокнула его в губы.

– Это тебе в благодарность за сегодняшнюю прогулку. Аванс!

3

Всю дорогу из Болдина домой Жмуркин молчал. Криворотов пытался его разговорить, но ничего у него не получалось.

– Не мешай мне думать, – обрывал его Михаил.

При этом он ещё что-то шептал и по-идиотски улыбался. А шептал он какие-то междометия: «Надо же!» или «Вот это да!» В общем, дурдом какой-то творился в машине.

В городе Илья сразу же принялся активно разруливать образовавшуюся проблему: он понял, что его друг влюбился по-мальчишески, бессознательно и основательно, и это нехорошо. После первых же попыток выяснить что-то существенное про Нору Минскую, которую в городе,

оказывается, все прекрасно знали, Криворотов раскопал про неё много чего интересного и понял, что надо с ней встречаться.

Нора Мирская была в разводе, и жила она со своим бывшим мужем в трехкомнатной квартире, жили они вместе и дружили: одна комната её, вторая мужа, а гостиная для встречи гостей. Муж её занимался серьёзным бизнесом и почти всё время находился или за границей, или в Москве – дела решал. Две взрослых её дочери тоже жили в Москве: одна была уже замужем, другая училась. Сама Нора, будучи главным редактором популярного еженедельника, была фигурой публичной, и связаться с ней для Криворотова не представляло проблемы. На звонок его и просьбу о встрече она откликнулась сразу же согласием, и уже через час они сидели в кафе на набережной. Узнали друг друга сразу.

– Илья, чтобы тебе не растекаться тут словесами, давай начну я. Произошла удивительная и, к сожалению, почти драматическая ошибка.

– Нет, Нора! Сначала скажи, что ты будешь пить: пиво, вино, коньяк?

– Зелёный чай и эклер.

– Значит, я тоже зелёный чай.

– Так слушай, Илья. Произошло недоразумение и печальная ошибка: недавно в наш пединститут по инициативе нашего губернатора перевёлся на работу из Питера профессор Жмуркявичус. Я о нем была наслышана. Нина Зингер – моя верная и давняя подруга. Я попросила нас с этим Жмуркявичусом познакомиться. Я спросила у Нины, знает ли она какого-то профессора Жмурко или Жмуркина? Она ответила, что Жмуркина знают в городе все, и пообещала нас познакомить. Вот и всё! Она пригласила в Большое Болдино меня и Михаила вместо этого профессора. Я должна была познакомиться с профессором Жмуркявичусом, а не Мишей Жмуркиным. А дальше тебе уже всё понятно.

– Ничего мне не понятно – зачем тебе надо было это? Он же, как мальчишка, влюбился и поверил, что у вас всё всерьёз. Он поверил в твои авансы, а это нехорошо.

– Ну что ты, Илья! Есть такая женская игра, ну, по крайней мере, для меня эта игра существует с девятого класса. Вот у вас, мужиков, есть свои игры: война, бизнес, карты, рыбалка. Сидите вы на берегу и следите за поплавком, как он плавает и ныряет. Придумываете всякие приманки, наживки, место выбираете, делитесь опытом, результатами. Так и у нас, у женщин, есть свои игры, и мы придумываем всякие губные помады, высокие каблуки, кофточки, трусики – ну, ты понимаешь, о чём я. Любая нормальная женщина все эти приёмы знает. Сейчас ей уютно, удобно, хорошо и ничего ей не надо, и по ней это всегда видно, но, если ей потребуется, она сумеет. И нет нормального мужика, которого мы не сумеем зацепить: и неважно – холостой он или женатый, молодой или старый. Просто любая нормальная женщина знает: куда можно играть с вашим братом, а где надо остановиться. Ты же прекрасно знаешь, как это в жизни бывает. Так вот, если тебя так больше устраивает – я хищница: я не только умею это делать, но и делаю это с пятнадцати лет, и мне нравится это. Это – как вам рыбу удить! Я не дура, я факультет кибернетики окончила с красным дипломом, со мной учились умные, талантливые ребята, но они ничем не отличались от самых грубых мужиков в этом плане. У тебя же было много знакомых женщин? А чего вам, мужикам, нужно от женщины?

– Только одного и как можно быстрее, – решил в шутливый тон перевести разговор Криворотов.

– Ну, не надо пошлостей.

– Почему это – пошлости? Самое ценное, что есть у вас, у женщин, да и вообще во всём мире, – это женская яйцеклетка.

– Так вот, в нашей игре самое главное – сберечь эту яйцеклетку и не допустить к ней клиента!

– Так это в простонародье называется «динамо».

– Нет, Илья, «динамо» – это совсем другое. В моей игре это называется «прыжок в сторону». В моей игре мужчина всегда остается доволен, остается навсегда другом и готов продолжить эту игру в любой момент. Мыслей о моей яйцеклетке у него даже не должно возникать. Это трудно, это – искусство, но это возможно. Поэтому не бойся за своего друга Мишу Жмуркина – я сумею сделать так, что он всю оставшуюся жизнь будет с радостью вспоминать нашу встречу в Большом Болдине, наш неудавшийся марьяж. Да ты и сам успокойся – уж больно ты волнуешься.

– Я не волнуюсь – я просчитываю вариант: а что бы было, если бы фамилия этого профессора была Криворучис?

– В таком случае мы сидели бы сейчас тут с Мишей Жмуркиным, и пили зелёный чай. Ведь вы же друзья симметричные, только вешишь ты в полтора раза больше Миши, и всё!

Илья Криворотов позвонил Жмуркину в среду с утра.

– Ну что, в театр сегодня идёшь?

– Иду. А ты что, против?

– Очень даже против. И вообще нам с тобой надо встретиться – я кое-что по секрету тебе расскажу. Как другу! И не по телефону.

– Ну, давай встретимся в сквере напротив Оперного театра через час.

– Я хочу, чтобы ты меня пивом угостил. А вообще-то нет – давай в сквере.

Скверик был почти безлюдным. Пару минут сидели на скамеечке молча: Жмуркин был поглощен своими серьёзными раздумьями, а Криворотов, хотя и готовился к разговору, но долго не мог собраться, чтобы начать говорить.

– Миша! Я тебя потерял – ты не звонишь мне третий день.

– Ну и что? У меня всё в порядке.

– Нет, не в порядке. Я встречался вчера с Норой Минской.

– Зачем?

– Чтобы выяснить, чего ей от тебя надо?

– Ну и что? Выяснил?

– Выяснил. Нора должна была в Болдине зацепить на свой женский крючок профессора Жмуркявичуса из пединститута, а Нина Зингер всё перепутала и пригласила вместо профессора тебя в качестве почетного гостя.

– Верю. Но это же прекрасно – благодаря этому я познакомился с Норой.

– Это не ты познакомился с Норой, а она подцепила тебя, перепутав с профессором Жмуркявичусом. А ты, как дурак, как мальчишка, влюбился, приняв всё за чистую монету.

– Перестань. У Минской шикарные связи в издательском мире, и она обещала познакомить меня с Томасом Видлингом. Это – самый крутой литературный агент в мире. Ты же знаешь, что у меня уже почти готова книга «Индустриальный муравейник» про наших инженеров. Я сегодня продал батякин золотой минутный репетир фирмы Мозер с бортовой золотой цепочкой, который мне по наследству достался, продал за семь тысяч долларов. Теперь у меня есть деньги, чтобы ехать и на Парижский книжный салон, и на Франкфуртский.

– Ну, во-первых, как ты понимаешь, тебе придется платить за двоих: и за себя, и за Минскую.

– Ну и что?

– А во-вторых, Парижский книжный салон проводится всегда весной, и он уже прошел, а Франкфуртская книжная ярмарка будет только в ноябре.

– Ну и что? Это значит, что я лучше подготовлю свою книгу. А главного ты пока что не понимаешь: главное для меня пока что Нора.

– Вот это-то как раз я хорошо понимаю, и вытащил тебя я на улицу, чтобы ты был готов к тому, что встреча с Норой у тебя сегодня будет, возможно, последняя.

– Я не хочу тебя больше слушать. Ты сегодня не в форме, и глупости всё время говоришь.

На том и расстались.

Сцена Дома актера по распоряжению высокого руководства на тот момент была отдана в полное распоряжение Михаила Висилицкого. О его постановочных опусах с одобрением отзывались Марк Захаров, Сергей Юрский, Иосиф Райхельгауз, и это служило как бы оправданием его театральных изысков.

Висилицкий застал Минскую и Жмуркина в вестибюле, когда те радостно что-то сообщали друг другу, держась за руки. Режиссер-постановщик был одет в какие-то полосатые больничные штаны, бабью кофту и на шее у него была узлом завязана огромная черно-белая клетчатая арафатка.

– Вот уж не ожидал увидеть вас вместе в виде пары. Вы с ума сошли? Или я чего-то не понимаю?

Он замедленно и молча осмотрел сначала Нору потом Жмуркина.

– Ладно, потом разберусь с вами. Пойдемте, я посажу вас в первый ряд.

Однако Минская резко взбунтовалась:

– Ты иди, Миша, работай, работай, готовь своего Чонкина, а нам со Жмуркиным надо ещё поговорить.

Висилицкий ушел, открыв рот и покачивая головой. Нора, держа за руки Жмуркина и глядя ему в глаза, видимо, продолжила:

– Ты ведь уже встречался со своим другом Криворотовым?

– Да, встречался, и он мне наговорил кучу гадостей.

– Я так и знала. Маленький гадёныш. Точнее большой. Миша, я на выходные еду в Москву к мужу, а заодно посещу книжный салон «нон-фикшен», который там открывается. На салон приезжает Мишель Парфёнов, представитель парижского издательства «Галлимар». Он приезжает специально для поиска новых русских авторов. Я с ним уже переговорила о твоей книге. Он заинтересовался. Ты должен завтра, край – послезавтра, передать мне три экземпляра своей рукописи и флешку с текстом. Занеси ко мне в редакцию, оставь прямо у девчонок, мне передадут. Я буду себя позиционировать как твоего литературного агента – будь готов. Сейчас я бегу – меня ждёт профессор Жмурквичус. А дальше посмотрим.

Минская чмокнула Жмуркина в щеку и, два раза махнув рукой, поторопилась к выходу. Миша ещё долго ощущал холодок этого чмока. Значит, Криворотов прав, без всякого сожаления подумал он.

ПОРТРЕТ АКТЕРА

Персональную выставку к восьмидесятилетию народного художника Сергея Ивановича Гусева готовили загодя. Конечно, в запасниках художественного музея нашлось несколько десятков достойных выставочных работ, и из частных собраний городских любителей живописи взяли для экспозиции кое-что, даже из Москвы привезли несколько полотен. Но основой выставки стали, конечно, те картины, которые были написаны в последние годы и хранились у Сергея Ивановича в мастерской: скуповат он стал в последние годы на подарки, более того – стал он сам выкупать свои ранние работы, прежних лет, если попадались или кто-то предлагал.

Удалось заполнить все четыре зала, под сотню работ набралось.

На открытие собралась вся городская духовная элита города: артисты, писатели, друзья-художники, руководство города, приехали поздравители из столицы. Юбиляр сидел на стуле за маленьким столиком при входе в первый зал, со всеми здоровался, принимал цветы и выборочно вручал свой юбилейный альбом: большинство должны были покупать альбом в кассе при входе и подходили к юбиляру, только чтобы получить автограф. Потом случилась небольшая торжественная часть, прозвучали стандартные радостные слова, вручились традиционные адреса в красных папках, повисли в воздухе пожелания, и публика растеклась по залам, оценивая творчество юбиляра. Кто-то из спонсоров подсутился: в углу на столах стояли фужеры с шампанским, соками, минеральной водой, грудились чашки для чая и кофе, горки конфет и миниатюрных пирожных.

Николай Николаевич Долженко, заслуженный артист, старинный товарищ юбиляра, припозднился, на торжественную часть не попал и был даже рад тому. Сергей Иванович встал, увидев друга, и обнял его со словами:

– Коля, милый, я так рад, я ждал тебя, ты погуляй тут, поработай, пообщайся, а я пока подпишу тебе свой юбилейный альбом, придумаю слова какие-нибудь. А после, вечером, я думаю, что мы с тобой и по рюмке водки сможем.

Дружили Гусев с Долженко давно, лет сорок уже, а может, и больше, и связывал их, а точнее крепил эту дружбу родственный менталитет: оба они были добродушные, благожелательные и внутренне сильные и уверенные в своей правоте. Хотя если Долженко был местным потомственным горожанином и нужды материальной никогда не знавал, то судьба забросила Гусева в этот приволжский город в детстве и, можно сказать, случайно после войны, а он и прижился.

Родился Сергей Иванович перед самой войной в Архангельске, а в голодные послевоенные годы отправила его родная матушка

к родственникам в деревню, где жизнь была посытнее. Родня эта деревенская была из кондовых, правоверных старообрядцев-поморов, да вся деревня тоже. Сохранились ещё в Заонежье такие.

В северных деревнях лес кормит: грибы, ягоды, дичина, а про рыбу и говорить нечего, всегда на столе. Жизнь в старообрядческой деревне течет по уставу, почти как в монастыре: молитва и работа, а ещё и наказания суровые ежедневные, которые оказалась не по силам маленькому Гусеву – сбежал он от побоев уже через год. Мамку свою в Архангельске он не нашел и пустился бродяжничать – хотел в Москву попасть, а оказался на Волге. Так и прижился тут, и сгодился.

Только сильно и постоянно волновали уже выросшего взрослого художника Сергея Ивановича детские воспоминания и северные красоты: обязательно раз в пять лет он отправлялся поработать на Север: Онега, Кижы, Каргополь, Соловки. И северная природа суровая, и жизнь поморская всегда фигурировали в работах Гусева.

С полчаса бродил артист Долженко по залам, общался с друзьями, знакомыми, которых тут оказалось довольно много: что-то обсуждали, делились мнениями – было о чем поговорить. Были тут, на холстах и холодное северное небо, и тёплые заволжские заливные луга, и мужики-рыбаки с сетями, и бабы на сенокосе, и кривые деревянные городские переулочки – всё было! Но только здесь, на этой юбилейной выставке, Николай Николаевич вдруг определил, что друг его закадычный, художник Гусев, оказывается, ещё был и записным портретистом. На стенах залов были вывешены почти двадцать портретов городских знаменитостей последних десятилетий: ученые, врачи, артисты, писатели. Он вглядывался в эти давно уже знакомые ему лично лица, но, кажется, только теперь разгадал главный секрет настоящего художника-портретиста: глаза, выражение глаз – вот что делает портрет портретом.

И царапнул откуда-то изнутри огонёк обиды: а почему же его портрет, портрет заслуженного артиста Николая Николаевича Долженко не удосужился написать художник Гусев? И казалось артисту Долженко, что этот вопрос царапался и ещё в чьих-то присутствующих на выставке головах.

С этой обидой подошел он к своему другу, по-прежнему одиноко сидевшему за маленьким столиком у входа.

– А что же ты, товарищ мой любезный, мой-то портрет постеснялся народу представить? – обратился он к Гусеву, обнимая его за плечи.

– Есть грех, есть грех, Коля, – отвечал со вздохом художник, – виноват я перед тобой. Исправлюсь! А мы с тобой завтра и начнем. Нет – через неделю. Готовься, через неделю начнем работать твой портрет.

– Да ведь есть же у тебя в мастерской мой портрет, где я в роли Сатина. Тот, старый, сорокалетней давности. Я же тогда и премию Станиславского за того Сатина получил, и заслуженным стал, а ты постеснялся показать портрет народу.

– Я не постеснялся, просто там, на том портрете, – не ты! Вот придёшь ко мне в мастерскую, и я тебе всё объясню. Это серьезная причина, и серьёзный разговор, и мне не хочется здесь, впопыхах, на коленке. Ты лучше меня знаешь правила работы артиста и на сцене, и в кино: первый этап – освоить характер героя, а второй – присвоить его. Так вот: ты на том портрете не вышел из роли, и писал я не тебя, а твоего Сатина.

– Хорошо, приду! А сейчас я тебя поздравляю, и пойдем выпьем по рюмке водки! У меня с собой есть, – Долженко вытащил из внутренне-

го кармана плоскую маленькую фляжку из нержавейки, – а вот там, в углу, и фужеры пустые стоят. Никто, кроме нас, тут не поймет, как я рад за тебя и как я тебя люблю.

К старости разница в десять лет кажется уже небольшой, и трудно сказать иной раз: кто умнее, кто мудрее, и кто кому должен советы давать. Да, и деменция своё дело делает. Помнится, в детстве у нас во дворе жили две старухи, с виду лет по девяносто, мать и дочь; и часто они, сидя на лавочке, меж собой спорили, а кто из них старше. То же самое сотворили дружба и время с моими героями. Правда, они не спорили, а просто любили друг друга.

Долженко прекрасно помнил, как однокурсница по театральному училищу Наташа Мещерская привела его впервые в гости к Гусеву в мастерскую. Он тогда был поражен увиденным, это была не мастерская художника, а скорее музей: дымковские игрушки, самовары, городецкие донца прялок, сарафаны, иконы, хохлома – всё это было расставлено со вкусом и для обзора. Трехсотметровая мастерская была четко разделена на рабочую половину, где стояли стеллажи для холстов и мольберты, и на жилую, где принимались гости, стояли кресла, диваны, слушалась музыка, и хорошо пилось вино с друзьями.

Потом случилась беда в виде инфаркта у Сергея Ивановича. Это сейчас к инфарктам относятся как к чему-то обыденному: существуют стенты, шунтирование, кардиостимуляторы. А сорок лет назад слово «инфаркт» было приговором: месяц в постели, а потом – на второй этаж подниматься осторожно, а лучше и не подниматься, и не выпивать, не курить, парную баню и кофе забыть, и превращался человек чуть ли не в инвалида.

А через месяц – второй инфаркт посетил Гусева, и при всем его оптимизме и мужестве загрустил он. Так, ко всему прочему, стал он ещё побаиваться оставаться один – такое случается с сердечниками. Супруге Гусева приходилось по работе раз в месяц ездить в командировки в Москву, и звонил тогда художник к Люсе Долженко, и выпрашивал у неё любимого супруга на два-три ночлега к себе в мастерскую. Долженко приходил, иногда даже после спектакля: сидели допоздна, пили чай, слушали музыку. Гусев телевизор не смотрел, а музыка у него в мастерской звучала всё время – меломаном он был.

Стоял у него на тумбочке шикарный огромный трактирный граммофон с трубой – это для прослушивания Шаляпина и церковных хоров с дореволюционных пластинок, был и немецкий трофейный патефон для румынских пластинок с Петром Лещенко и Морфесси, двухкассетный «Грюндиг» тоже присутствовал, и даже легендарная радиола «Дружба» стояла в углу на полу, но она уже не функционировала.

Странно было для окружающих: у художника было много товарищей по цеху, с которыми он общался почти ежедневно, а последить за ним ночью зовет к себе какого-то молодого артиста почти постороннего. Но мужская дружба, как и прочие сердечные привязанности, часто необъяснима и существует на уровне какой-то внутренней химии. Так, вот оттуда, от тех двух инфарктов и потянулась эта ниточка дружбы художника и артиста, и дружба эта только крепла и крепла с годами.

Сергей Иванович Гусев умер на четвертый день после открытия своей последней персональной выставки – сердце остановилось.

Прощание с народным городским художником было решено провести в том же выставочном зале, где на стенах продолжали висеть его работы – его дети. Они тоже прощались со своим создателем: он уходил

из этого мира, а они оставались, чтобы дальше служить людям. На прощальном митинге выступали те же, кто говорил слова и на открытии выставки неделю назад. И слова они говорили те же – может, чуть-чуть изменилась интонация.

Хоронили художника на Бугровском кладбище, этаким городском некрополе, честь упокоиться на котором надо было заслужить. Отпевать папу в храме дочь Маша не разрешила, объяснив, что, во-первых, он не любил вообще всех попов, а во-вторых, крещен он был по староверческому обряду, и искать специально для этого священника старообрядческого она не хочет, а у поморов так и вообще все таинства совершаются мирянами, а где их взять, она не знает. На выходе с кладбища, после окончания церемонии, она подошла к Долженко:

– Николай Иванович, дядя Коля, я хочу просить вас – вот ключи от папиной мастерской. Все личные вещи я уже забрала оттуда, а вот что делать с картинами, набросками, этюдами и всяким прялками, иконами и самоварами, я не знаю. Помогите мне, из Союза мне уже позвонили – предупредили, что до сорокового дня они подождут, а потом надо будет сдать им помещение.

– Хорошо, Маша, я завтра же схожу туда.

Мастерскую друга-художника Долженко знал не просто хорошо, а очень хорошо – ну, как свою квартиру, наверное. В рабочей половине, где всегда работал мастер, он сразу обратил внимание на пустые проплешины на стенах, заполненные раньше работами друга, но это было понятно: тут висели картины, которые он готовил к выставке. Наверное, ребята из художественного училища помогали ему, лазая со стремянкой, – не сам же он, подумалось.

В этом же зале вдоль стены стояли стеллажи под самый пятиметровый потолок, забитые натянутыми на подрамники холстами самого разного размера – их там были сотни: забракованные варианты, этюды, наброски, к которым, вероятно, рассчитывал вернуться художник. Тут были и чистые холсты, и папки с рисунками, оттисками гравюр. А вот один стеллаж оказался пуст: на нём Сергей Иванович, видимо, собирал свою последнюю выставку. Только одна работа, стоявшая торцом, осталась на стеллаже. Гусев снял картину и поставил её на свободный мольберт. Да, это был его портрет. Подпись в правом нижнем углу «С. Гусев 1978 год». На картонке, гвоздиками прибитой к простой сосновой раме, ещё надпись фломастером: «Артист Николай Долженко в роли Сатина. 1978 г.»

Изображенный на картине тип сидел на грязном заплёванном полу в рваных штанах, стоптанных ботах и бесформенном пиджаке на голое тело. Кулаки его были сжаты, что-то истеричное было во всей его фигуре, и глаза его были белёсыми от пьянства с маленькими черными зрачками, похожими на мушиные какашки. А ещё глаза его были выпучены и наполнены такой злобой, такой ненавистью ко всему, что его окружало в тот момент, что становилось неудобно. На полу сидел человек, с которым не просто не хотелось общаться – он вызывал отвращение. Даже холодные мурашки ощутил Долженко у себя на руках.

Конечно, за последние годы видел он эту работу своего друга много раз, но всегда мельком, никогда не задумываясь над тем, что хотел сказать мастер. А ведь так же, как и артист, художник хочет поговорить со зрителем. И это ему удалось.

– Освоил и присвоил, – прошептал про себя.

Андрей МАРКИЯНОВ

Родился в 1959 году в Тюмени. После средней школы учился в Тобольском мореходном училище. В 1982 году поступил в Литинститут им. Горького. Работал в различных газетах, на стройке.

Стихи и проза публиковались в журналах и альманахах «Нижний Новгород», «Сибирские Огни», «Сибирское богатство», «Врата Сибири», «День Поэзии» (Санкт-Петербург) и других, а также в русскоязычных изданиях Австралии и Германии. Победитель международного конкурса духовной литературы «Молитва» (2022) в номинации «Проза». Автор трех книг.

Член Союза писателей России. Живет в Тюмени.

ВЕРНУТЬСЯ К СЕБЕ

1

В этот скромный южный городок Арсеньев прибыл дождливым февральским утром спустя две недели после освобождения. С моря несло арбузной свежестью бриза, капли пузырились на лужах, а с поникших листьев перистых пальм стекловидно струилась вода. Электронное табло на фонарном столбе показывало +9.

Уперев руки в бока, он мок у подножки вагона и оглядывал то зыбкие контуры горных вершин, то кирпичные кружева вокзала, из дверей которого выходили и тут же устремлялись к поезду сердитые пассажиры. Слов нет, погода не радовала, но ему, отматавшему срок в Заполярье, это место казалось почти заповедным. И вспомнилось: «У моря, у синего моря...»

Он повернулся к тамбуру, где у поручня стояла молодая проводница в ловкой униформе, грустная, с прямой темной челкой и круглыми голубыми глазами.

– Что ж, пора, – сказал он, поднявшись обратно в вагон, и прижал ее к своей влажной дубленой куртке. – Спасибо за все, Иринка. Век не забуду.

– И я не забуду, – шепотом сказала она и, вдруг замигав, уткнулась ему в грудь, сбивчиво зашептала. – Я думала... Господи, все как во сне. Может, останешься? Сойдешь на обратной дороге? – Она поднялась на цыпочки, испуганно глядя ему в глаза, и отчаянно поцеловала в губы. – Рома... – Поезд медленно тронулся. Он подхватил лежащую у ног раздутую спортивную сумку, соскочил на перрон и, не оглядываясь, направился к маленькой привокзальной площади, вымощенной блестящим булыжником. Проводница тоскливо смотрела вслед. Сейчас она пойдет в его пустое купе, сядет на смятую постель и будет долго

смотреть в окно, облокотившись на столик. Впереди долгая поездка. За это время она еще не раз вспомнит эту постель и все, чем они занимались на ней под стук колес и мелодичный звон подстаканников. Когда по приезде домой наткнется в косметичке на свернутую пачку двадцатидолларовых купюр, то сначала от неожиданности изумится, а потом улыбнется и снова загрустит.

А что же «Рома»? Оглядевшись на стоянке такси, он уселся на переднее сиденье потрепанного «Форда», подправил на коленях сумку и наклонился к водителю:

– Удивительная у вас площадь, товарищ. Реликтовая. Как панцирь галапагосской черепахи. К тому же пальмы. Уважаю, очень красиво.

Тучный небритый таксист метафору оценил:

– Так точно, вылитый панцирь. Ее пленные немцы мостили после войны, а они на такие дела мастера. Заметь, и улица от нее такая же. Падла, я здесь всю подвеску разбил.

– Ну, это ты зря, прошлое беречь надо.

Он уселся удобней, поделился с шофером сигаретой и короткой справкой по краеведению:

– Я тебе вот что скажу. В моем городе раньше почти так же было. Такая же площадь, старинный вокзал, аллея кленовая, бочка с пивом. И даже бронзовый Ильич стоял. Потом вокзал снесли, отстроили серую коробку, а площадь закатали в асфальт. И Ленина тоже убрали, а на месте аллеи возвели торговый центр с подземной парковкой... Оно, конечно, удобно – парковка, асфальт, подвеска в полном порядке. Всем хорошо, а мне вот тоскливо. Почему так случается, брат?

– Потому что стареем, – уверенно ответил таксист. – Давно на свободе?

– Да пару недель. А что, сильно отсвечиваю?

– Не особенно, но я же таксист – хочешь не хочешь, а поневоле людей фильтруешь.

– Тогда еще вопрос, как психологу: как общая атмосфера, настроение у сограждан касательно грязных провокаций «укропов»? Отстал за 10 лет, информация в зоне дозированной. Пошел в поезде в ресторан, а там какие-то пьяные паникеры пугают обстрелами, беженцами...

– Настроение разное, шаткий у нас народ, – нервно ответил таксист. – А я нутром чую, войной пахнет. По Донецку лупят каждый день, совсем оборзели, засранцы.

– Что, неужели все так серьезно?

Таксист засопел, медленно закипая:

– Знал ведь я, знал, что после Крыма не будет ничего хорошего. Не надо было тормозить, надо было раздолбить их на Донбассе, и дальше до Одессы, до Приднестровья хотя бы. А потом уж и переговоры всякие минские заключать, провались они пропадом!

– Выходит, сильно хохлы достали?

– Я сам хохол стопроцентный, не о том речь. Для них мы все тут русня, москали... Ты вот откуда? Из Сибири? Сибирь далеко, тебе не понять.

– Да все я понимаю, – в тон ему ответил Арсеньев. – У меня мать полячка. Но ты прав, для них мы все – русня. Гордиться надо, товарищ.

Он затушил в пепельнице окурок и продиктовал по памяти адрес:

– Знаешь, где это?

– Как не знать – «Шесть склянок». Значит, к Петровичу?

– К нему, к нему. А он что здесь, узнаваемый человек?

– Братва его уважает, – уклончиво ответил таксист. – Но это меня не касается.

– Ты не стесняйся, мы с Петровичем сто лет знакомы.

– Нет, правда, сам я мало что знаю, просто приезжаю иногда расслабиться. Уютное местечко, и не так чтобы дорого. В общем, все там прилично – бильярд, пальма в бочке, музыка для души...

– Ясно. А для тела там что-нибудь есть?

– Для тела комнаты на втором этаже, вроде гостиничных. Бармен все устроит, я пробовал. – Таксист сокрушенно вздохнул. – А какой там вид из беседки! Прямо на море, на рыбацкие лодки внизу...

– А звать тебя как, уважаемый? И почему «Шесть склянок»? Странное название, аптечное какое-то, а?

– Семеном звать. А название не новое, я бар с такой вывеской под Сухуми видел. Давно, еще при Союзе. Ресторан у Петровича закрывается в три ночи, а три часа на морском языке – шесть склянок. Там даже рында корабельная висит у входа. Лично я думаю так.

– Правильно думаешь, трогай.

2

Как только вывернули на неприметную улочку, горбато уходившую вверх, Арсеньев поднял стекло и задумался, глядя в окно. Видел он: сонлив и скучен в зимнее время курортный городок, особенно в непогоду. Мало машин, еще меньше людей. Грустно мокнут по обочинам голые фруктовые деревья, темнеют, как грифели, на фоне белых домов кипарисы, а если смотреть вперед и выше, взгляд упирается в дымные лесистые горы, до которых рукой подать.... И, похоже, смутно на сердце у того сутулого старичка в плаще и морской фуражке, что осторожно шагает по тротуару под черным зонтом. Кто он и куда идет по скользкой брусчатке? Наверное, отставной моряк, сдающий на лето комнаты в своем уютном доме с мансардой, с толстой хозяйкой и гамаком в красивом саду. А идет он не иначе как в эту проплывающую мимо аптеку с красным крестом на матовой вывеске.

Море, старичок, мансарда.... Как удивительно меняется жизнь после долгих лет ожидания. И даже запах кожаных сидений в потрепанном «форде» вызывает из памяти давно забытое, блаженное чувство покоя. Кроме того, имелась еще причина быть в ладу с самим собой и по возможности со всем миром. По пути из зоны он намеренно изменил маршрут, сошел на безликой станции и целый день на перекладных добирался в глухую таежную деревню, где на берегу протоки в крепкой замшелой избе доживал свой век престарелый поселенец Нефедов, зверобой и давний друг отца. Десять лет назад Арсеньев оставил у старика вот эту спортивную сумку, набитую долларами разного номинала, пистолет Браунинга и личные документы, включавшие паспорт и университетский диплом.

– Ты вот что, Семеныч, – сказал тогда Арсеньев. – Сохрани, я за нею вернусь. Не знаю когда, но вернусь обязательно.

– Бандит ты, Ромка, – ответил Нефедов, осмотрев содержимое сумки. – Не надело?

– Надоело. Вот тебе триста тысяч. Считай, это северная надбавка от одного плохого дяди, которого все считали хорошим. Кончатся, еще возьмешь. А доллары не свети, начнут задавать вопросы.

– Не учи, – сказал Нефедов. – Из этого пугача его грохнул?

– Проломил рукояткой череп, так получилось. А он взял и помер.
– Грешно это, Ромка, жизни лишать из-за денег.
– Повторяю, так получилось. Сукой оказался дядя, старой вербованной сукой. Сдал меня с потрохами, когда узнал, что это я выставил «черный» обменник, который его менты крышевали. Хорошо, что был свой человек в конторе, успел вовремя предупредить, откуда ветер дует.

– Не ты ему жизнь давал, сынок.

– Ты тоже не за колоски пятнадцать лет лес валил за Ургалом. Или отец что-то напутал, когда тайной твоей поделился?

– Времена тогда были другие, Рома. И человек тот, ежели перейти на феню твою, был не сукой, а крысой. Ладно, забудем, ты знаешь, что делаешь. Однако надолго не пропадай, я не вечный, вдруг помру – что тогда будет с деньгами?

Долговязый, долгорукий, с голым блестящим черепом и развесистой седой бородой, он сидел в полушубке у теплой печи, что-то угрюмо думал, перекосив брови, и равномерно попыхивал трубкой.

«Последний отшельник», – подумал тогда Арсеньев. А вслух заявил:

– Не помрешь. Твой отец 103 года прожил, и ты проживешь не меньше. А за меня не волнуйся, я вернусь...

И вот вернулся спустя десять лет, постоял на крыльце, глядя на дремучий заснеженный лес, близко подступивший к околице, прошелся по дому, вслушиваясь в скрип половиц, помолился на закопченную икону в углу. «А старик-то сдал», – подумал Арсеньев с грустью. Они обнялись. Нефедов был все в том засаленном полушубке, с той же прокуренной бородой, только тоньше и слабее стала шея, только глубже темнели впадины за ушами, а на правом глазу появилось бельмо.

– Хотел от паяльника прикурить, а он стрельнул, как хлопушка, – сказал старик с виноватой улыбкой и отер слезящийся глаз. – А деньги твои в порядке, в сухости. Как положил за печку, так и лежат в сундуке под чучельями.

– Ну и добро. Сам-то как тут один?

– Я не один.

– Вот как? – Арсеньев обвел глазами горницу. – А с кем?

– С Богом. А живу как всегда, только клонит к земле помаленьку. Собаку вот жалко, справная сука была. Подалась в тайгу, и с концом. Яшка якут пошел по следу, а след волками затоптан, видно, с ними ушла. Сейчас у них гон, свадьбы табунятся по всей округе.

– Разве такое бывает, чтобы с волками?

– Случается иной раз. Ну, давай рассказывай. Домой заезжал? На кладбище был у родителей?

– На кладбище?

Он шагнул к окошку и уперся взглядом на заснеженную излучину реки, исполосованную заячьими следами, под сердцем заныло. Эта ноющая боль временами была нестерпима, когда он вспоминал их, так нелепо погибших здесь, на этой излучине, тем давним осенним утром. Отец отправился поохотиться и мать взял с собой. Вернее, она попросила взять ее в лодку. В броднях и телогрейках они вывернулись на самой стремнине, и нашли их только под вечер у топляков, обоих в мертвой сцепке. В тот год Арсеньев окончил университет, но эта смерть все перечеркнула, вывернула жизнь наизнанку: пьянки, драки, учебная рота, Чечня...

– А чего там делать, на сугробы смотреть? – сказал он тихо. – Я и так знаю, все травой заросло. Придет время, займусь.

– Это правильно, могилки обиходить надо, – вздохнул Нефедов. – А я, почитай, два года с ума сходил, пока письмишко твое не доставили с оказией. Человек тот сказал, что у зеков ты в авторитете, а вот с хозяином у тебя не сложилось – то БУР, то ШИЗО. Ладно, думаю, что теперь поделаешь, главное, что живой. Переночевал твой посыльный, про деньги не спрашивал, а наутро уехал. Я и успокоился, уж больно большие деньги, миллион, не меньше. Прав я, ай нет?

– Прав, Семеныч, почти. Остальные тоже в надежном месте.

– А как твой ограбленный? А менты? Они, небось, тоже тебя ждут на свободе. Поостеречься бы не мешало...

– Ограбленному не до меня, пока я сидел, он за границу свалил. А вот ментам повезло меньше, им еще лет пять рукавицы шить в Нижнем Тагиле.

– Стало быть, есть Бог, есть. И куда ж ты теперь?

– Туда, где надежное место, к морю. Ты Саню Осина помнишь? Мы с ним лет двадцать назад на охоту к тебе приезжали вместе с отцом.

– Это который детдомовский? А кого еще помнить, он один из твоих дружков здесь и бывал. Значит, к нему. И надолго?

– Не знаю. Отдохну, оклемаюсь, а там видно будет.

Два дня они пили самогон на кедровых орехах, ели строганину из нельмы, а на третий, когда стали прощаться, Нефедов признался:

– Вот провожу тебя и тоже начну собираться. Племянница была тут в Покров и разревелась, глядячи на меня. Поехали, говорит, за ради Христа, кому ты здесь нужен. У них, мол, квартира и прочие удобства, вроде больницы. Вот и решил – поеду, пора.

– Вот и хорошо, – похвалил старика Арсеньев. – Кстати, я там на комоде 50 тысяч оставил, долларов. Для улучшения жилищных условий и для прочих удобств, вроде хорошей больницы. Племяннице скажешь, сын покойного друга заезжал. Прямоком, мол, с якутских приисков. И запиши-ка мне адресок племянницы на всякий случай. А пистолет оставляю, утопи его к чертовой матери.

3

На одном из поворотов машину качнуло, и Арсеньев прислушался.

– Да и место у нас тут спокойное, приветливое, – говорил Семен. – Музей имеется, санаторий и прочие культурные заведения. По размаху не Анапа, конечно, но и у нас в сезон оттянуться можно. Я вот, к примеру, все побережье насквозь проехал, все повидал, и что? Отвечаю как есть: море у нас чище, народ проще, а сервис душевнее. А горы? С них, между прочим, речка бежит чистейшая, а в речке форель обитает. Что скажешь?

Арсеньев промолчал, он вспомнил другую речку в каменистом ущелье в Чечне, подбитый БМП, уткнувшийся в скользкий валун, хриплый мат взводного Тулигена и липкое от крови цевье калаша...

– Семен, ты правда думаешь, по чубатым шаракнем?

– Шаракнем, у нас выхода нет.

И снова услужливая память перенесла Арсеньева в прошлое. На этот раз в старинное украинское село рядом с польской границей, куда его, семилетнего мальчика, взяли с собой родители, повезли на смотрины еще к одной бабушке с таинственным именем Ганна. Впервые в такую даль из Сибири! Всё в первый раз. И купейный вагон с веселой проводницей в униформе, и ароматный чай, и мягкая верхняя полка,

откуда он замороженно глядел в открытое окно на летний Урал, на его зеленые горы с пологими склонами, на которых то и дело возникали живописные деревушки. А потом Москва, пересадка и пара свободных часов на экскурсию к Мавзолею, где на Красной площади он столкнулся со своим сверстником негритенком и остолбенел при виде его красных обезьяньих ладошек. Снова поезд, и вот Украина – бесконечные степи и аисты, средневековый городок с костёлом и шумной базарной площадью и, наконец, рейсовый автобус, за пару часов доставивший их в то самое, потонувшее в садах село со всеми его хатами, бесчисленной домашней живностью и неглубокой рекой с названием Горынь. Сады и правда были там хороши, в его холодном краю такие красивые фрукты он видел только на рынке. Речка тоже имела отличие, не ловилась в ней ни метровая щука, ни полновесный муксун, а все, что ему попадалось на удочку, это мизерная рыбешка, прозванная местными «верховодом». Бабушка Ганна, худошавая полька с иконописным лицом и натруженными руками, терпеливо чистила его скромный улов и жарила на сковороде, посыпав зеленым луком и обильно залив яйцами. А еще оказалось, что помимо бабушки у него полно родственников всех возрастов, от стариков до смешливых дивчин и парубков. От этих родственников он впервые услышал странное слово «кацап», и все они наперебой звали отца на чарку. Однажды в соседнем дворе дяди Бориса, рыхлого, добродушного толстяка с кабаньими глазками, он наблюдал, как гнали самогон из громоздкого аппарата и готовили домашнюю колбасу, набивая начинку в свиные кишки. А позже все дружно обедали за крепким столом в тени фруктовых деревьев. Тень не помогала, и мужчины сидели, раздевшись по пояс, – дядя толстый, с отвисшей женской грудью, поросшей рыжим волосом, и отец – сухошавый лицом, с рельефными мышцами поджарого тела. Он хорошо помнил, как сын дяди Мишка, веснушчатый полный подросток, подошел к отцу, ощупал бицепс и восхищенно сказал: «Потужно!» В ответ отец рассмеялся: «У тебя батька, вон какой здоровенный», на что тетя Зося (жена «батьки») со смущенной улыбкой махнула рукой, а Мишка скривился и выдавил: «То сало».... И конечно, двоюродная сестра Яна, статная загорелая красавица с темной родинкой на переносице, про которую дядя Борис как-то сказал: «Дюже гарна дивчина». Русоволосая, озорная, в то лето она окончила сельскую восьмилетку и по-хозяйски взялась опекать маленького Арсеньева. Это она достала для него у своих друзей удочку, это с ней они таскали из соседних курятников яйца из-под наседок, как будто своих не хватало, и это она однажды взяла его в свою кампанию, готовившую набег на совхозные бахчи за селом. «Тиха украинская ночь, прозрачно небо, звезды блещут...» Бахчи растянулись выше по реке, и ребята придумали сплавлять арбузы вдоль берега вниз по течению, где девчонки кто по грудь, а кто вплавь вылавливали добычу. И Арсеньев помогал из всех своих детских сил – подныривал, подталкивал тяжкие ягоды к травянистому берегу. Позже у бабушки Ганны, в «летнем» флигеле, куда они перетащили свою долю, она, не обращая на него внимания, стянула с себя мокрую одежду и, нагая, принялась вытирать голову вафельным полотенцем. И ему она вытерла голову, со смехом сказав при этом: «Чого рот открыл? Ось це рыбалка, не то що твої верховоди». А потом чмокнула его в губы, оставив привкус прохладного молока. Что он ощутил тогда, семилетний, глядя на ее круглые руки, на алые соски, маячившие у самого лица, он так и не понял, но ощущение было волшебным.

Давно нет на свете бабушки Ганны, и дядю Борю свел в могилу цирроз, про Яну ничего неизвестно. И о Мишке ни слуху ни духу – может, целится сейчас с брестера в москалей...

4

– Скоро будем, – донеслось до Арсеньева. – Ты не уснул?

Дорога уходила вверх извилистым серпантином, петляя вдоль отвесных скал и обрывов.

– Высоко, однако, Петрович забрался.

– Выше не бывает, – сказал таксист, переходя на пониженную передачу. – Сам увидишь – крутое местечко.

За очередным поворотом машина резко взяла вверх, и они оказались на ровном плато размером с футбольное поле с вечнозеленым газоном, с десятком пирамидальных кипарисов, в беспорядке высаженных лет пятьдесят назад. С обеих сторон плато нависали слоеные, как пирог, выщербленные утесы, а по линии обрыва над морем на уровне груди тянулся белый парапет из ракушечника. Под одним из утесов сквозила белыми колоннами греческая беседка с голубым куполом, одинокая и романтическая в своем одиночестве. Будь Арсеньев художником, он тотчас вообразил бы там юную барышню из XIX века, бледную, с розовой пелериной на хрупких плечах, а рядом длинноволосого поэта в поношенном сюртуке, держащего на отлете тетрадь и декламирующего звучные строки, призывающие кого-то за что-то бороться и умереть. Но Арсеньев не был художником. Глядя на беседку, он вообразил летний утренний бриз и смуглую обнаженную женщину, поднявшуюся в эту беседку по крутой тропинке из моря, насмешливую, желанную, с расплетенной мокрой косой...

Семен въехал на асфальтированную парковку, где мокли два черных внедорожника и красный седан, и вопросительно заявил:

– Может, мне тоже в кабачок прогуляться, давненько я Петровича не видал.

– Неплохая идея.

– Как тебе видуха?

Что ж, «видуха» была на славу. Да и сам «кабачок» на редкость удачно дополнял этот своеобразный ландшафт. Прямо посреди поляны темнело приземистое двухэтажное здание из горного камня, стилизованное под шотландскую таверну – с островерхой черепичной крышей, с высокой кирпичной трубой, похоже, каминной, с узкими окнами-бойницами, забранными на первом этаже решетками в виде перекрещенных стрел. У входа на стальном крюке висела рында. Но вывеска была неоновая, а над козырьком торчала тарелка спутниковой антенны. Чуть в стороне, на фоне развесистых голых магнолий, белел фасад флигеля с остекленной верандой, окруженный живой изгородью из самшита.

Они подошли к полированным, тяжелым по виду дверям с замысловатым узором, и Арсеньев сказал:

– Нет, «Шесть склянок» никуда не годится. Назвал бы лучше: «Адмирал Бенбоу».

– Читал. Но «Бенбоу» плохо кончил, помнишь?

– Помню. А потом они завладели пиратским золотом и прикупили новый трактир под названием «Шесть склянок».

Арсеньев толкнул кулаком дверь, и они оказались в просторном сумрачном зале, где было все, что положено для измученных жаждой

матросов: массивная барная стойка цвета мореного дуба, за ней пирамиды бутылок и сгущающий молодой человек в красной жилетке и белой рубашке с бабочкой. Центр зала занимал длинный широкий стол в окружении крепких стульев с высокими прямыми спинками. Под потолком на цепях висела кованая железная люстра с неоновыми лампами в виде свечей. Если к этому добавить несколько ветвистых рогов и пару оскаленных волчьих голов по стенам, да закопченное жерло каминна, да крутую лестницу, приглашающую гостей в уютные кельи, можно смело сказать – обстановка располагала к общению.

5

В дальнем углу у круглого стола, занятые разговором, стояли двое. При появлении незнакомцев один, в белом кителе и белом поварском колпаке, простился кивком и, прихватив со стола меню, удалился. Второй, упитанный коротышка в клетчатой рубашке и джинсах, направился прямо к Арсеньеву, а подойдя, оказался смутно похожим на знаменитого актера в известной роли трактирщика, только без хитрой улыбки и стетсона. Он крепко сжал руку Арсеньева ниже локтя, ткнулся головой в грудь и, отступив, почесал затылок:

– Бледно выглядишь, Рома.

– Зато ты хоть куда.

– Мне простительно, жизнь такая.

И обратился к таксисту, молча разглядывающему потолок:

– Сема, прогуляйся за стойку, найдешь в кабинете Татьяну Ивановну, выпей чего-нибудь за мой счет и нам бутылку текилы принеси в бильярдную.

– Спасибо, Петрович, – отозвался таксист. – Выпью, пожалуй. У тебя и выпить не грех.

Таксист ушел. И лишь в бильярдной, где рядом с кожаным диваном красовалась в бочке пальма с мохнатым стволом, они крепко обнялись и обменялись набором тех слов, которые в книгах обозначаются многоточием.

Усадив Арсеньева на диван, Осин подкатил сервировочный столик, достал из холодильника несколько банок пива и за двадцать минут кратко и точно обрисовал свое прошлое и настоящее. Итак, имея на руках полмиллиона зеленых, полученных от Арсеньева, он приехал в это райское захолустье с твердым желанием выгодно разместить и приумножить доверенный ему капитал. Обладая природным обаянием, деловой хваткой и волчьим нюхом на полезных людей, за несколько лет он почти добился намеченного: открыл магазин косметики рядом с местным театром, на живописной горе приобрел и перестроил умирающий мини-пансионат (профсоюзный барак советского времени), купил дом у моря, успел жениться и развестись. Осталось дожидаться Арсеньева. Шло время, и как-то само собой он оброс не только жирком, но и массой необходимых связей, где не последняя роль отводилась и местному смотрящему, и полицейским начальникам – любителям погулять за счет заведения. Расчетливый делец и беспечный кутила, он был чертовски умен и точно знал, где надо рывкнуть, а кому вовремя «подстелить», не теряя достоинства.

– Сколько трудов сюда вбухано, Ромка, – заключил Осин, откидываясь на спинку дивана. – Одно строительство чего стоило. А газ, отопление, кухня! Все, все пришлось с нуля поднимать.

Арсеньев уложился еще короче, отдельно упомянул о Нефедове. В заключение кивнул на спортивную сумку, оставленную на бильярдном столе:

– Там остальное. Тебе виднее, как их в дело пустить.

– Не мне, Рома, а нам. И вообще, все тут твоё, я только за хозяйством присматривал.

– Не прибедряйся, тебе на роду написано банковать. Будь я на воле, промотал бы все до последнего цента.

– Стараемся потихоньку, – нахмурился Осин. – Как там старик?

– Сдал, но хорохорится. Беспокойно мне за него. Кстати, вот тут его адрес, положи-ка в сейф, не дай бог, затеряется.

– А может, это... переместить его сюда аккуратно? Поближе к солнышку.

– Есть такая мысль. Но умные люди говорят, что стариков опасно с насиженного места трогать. И родня у него проживает в районном поселке. Вроде как туда собирается.

– Денег отвалил на переезд?

– Само собой.

– Хрень это все! Приберут деньги, а самого в богадельню отправят, помяни мое слово. Он десять лет тебя ждал, ты один у него остался. Нет, надо забирать старика. Отдохнешь, а ближе к лету провернем это дело.

– Надо дом найти подходящий.

– Вот ко мне и заедет. Море, сад, красная черепица. Чего еще в преклонные годы желать?

– Черепица, говоришь. А чего развелся?

– Не везет в семейной жизни, братишка.

– С молодыми и высокими?

– Вот именно. Здоровья на них немерено надо.

– Надо по росту искать. Нашла кого-то втихую?

– Это ей казалось, что втихую, я ее быстро вычислил. Она ведь вначале у меня работала, Рома, директором здесь была.

– Ну и дела.

Осин с шипением открыл банку пива, смахнул пальцем бугорок пены и приложился.

– Но разошлись мы без скандала, – продолжил он, отдуваясь. – Ты меня знаешь. Я тебе больше скажу, она и теперь работает у меня директором.

– Догадываюсь, в магазине косметики.

– Точно, дело свое она знает. А с этим сошлась, живут-поживают.

– А с кем теперь ты?

Осин развел руками:

– Говорю же, дело свое она знает. Приезжает домой раз-другой в неделю. К тому же уборка на ней.

– Н-да...

Пришел таксист, принес бутылку «Ольмеки». Следом появилась симпатичная женщина с короткой каштановой стрижкой, в черном брючном костюме и туфлях на низком каблуке. На ладони она несла миниатюрный поднос с толстыми квадратными рюмками, порезанным лимоном и пачкой «Винстона» в чистой пепельнице.

– Может, вам соли принести? – сказала она Арсеньеву и склонилась, поставила поднос на столешницу. Удлиненная прядка упала на щеку, в углубившемся вырезе пиджака появилась черная перемычка

бюстгальтера. – Это я к тому, что Александр Петрович у нас без претензий.

– Ну не надо, не надо вот этого, Татьяна Ивановна, – поморщился Осин. – Мы люди простые, чистый спирт снегом закусывали. И вообще, сказали бы прямо, что прибежали посмотреть моего друга. Влюбляться не рекомендую, к тому же вы замужем. Прошу любить и жаловать: Роман Василич.

– Просто Роман, – поправил Арсеньев. Он дегустировал тонкий запах духов, появившийся после прихода женщины, и ощущал необыкновенную легкость и спокойствие духа.

– Все мы одинаковы, – сказала Татьяна Ивановна. – К тому же вы так загадочно упоминали о нем.... Так принести вам соли?

– Обойдусь лимоном, – улыбнулся Арсеньев. – А я думал, вы тут виски пьете, судя по обстановке.

– Ага, понравилась моя шотландская обитель? – прищурился Осин, разливая текилу.

– Волынщиков не приглашаешь по праздникам?

– Прихожане не оценят. Ну, давайте за встречу. И вы тоже, Татьяна Ивановна.

– Нет, я за рулем, – ответила женщина, не сводя с Арсеньева сморщенных немигающих глаз.

– Я тоже за рулем. Рюмка не навредит, машину мы вам подшаманили, водите вы хорошо.

– Договорились. – Она присела на стул. – Но если меня остановят, отдуваться будете вы.

Беседа продолжилась, и по ходу её Семен снова вспомнил про Донбасс, про беженку, приехавшую с двумя детьми к соседям месяц назад.

– Муж погиб, – говорил он ворчливо, – дом в деревне в труху. Нет, пора с этим кончать.

– Сема, не заморачивайся, – строго произнес Осин. – Если начнется, мы их за неделю порвем.

– Если начнется, я в ополчение запишусь, – неожиданно грохнул Семен. – У меня брат двоюродный из Донецка, с 14-го года в ополчении, я с ним на связи.

Это прозвучало так внезапно, что все вдруг замолчали, повисла неловкая пауза.

– А ты хорошо подумал? – нарушил тишину Осин.

– Я думаю об этом весь последний месяц, хватит думать.

– Сема, черт подери, тебе на пенсию скоро готовиться.

– По нынешнему закону мне далеко до пенсии, а на войне буду снаряды подвозить, раненых вывозить, работы хватит, всё какая-то польза.

– Знаете, я, пожалуй, пойду, – сказала Татьяна Ивановна и поднялась, оправляя на бедрах пиджак. – Мне еще поработать нужно. А вы, Александр Петрович, подыщите Роману подходящую обувь и прочее, у нас тут не север.

При этих словах Арсеньев коснулся рукой своего толстого свитера и озабоченно уставился на ноги, обутые в зимние кроссовки. А Осин отчеканил:

– Вот вы и подыщите, никто лучше вас не сумеет. Очень прошу.

Женщина направилась к выходу, но у дверей повернулась и склонилась голову к плечу:

– Слушаю и повинуюсь.

– Замужем, говоришь? – спросил Арсеньев, как только закрылась дверь.

– Замужем. Такие бабы одинокими не бывают.

- А муж...
- Вот что мы сделаем. Я позвоню сейчас знакомой массажистке, она все проблемы решит.
- Не надо, я в поезде отстрелялся.
- Я думал, тебя теперь месяц от баб не оттащить.
- Стареем...
- Не гони, – с досадой отмахнулся Осин. – Похудел, конечно, но так даже лучше, чем-то на грузина смахиваешь. Ты на меня посмотри или вон на Семена. Вот кто видоизменился, прямо скажем, не в лучшую сторону. Прав я, Семен?
- У меня работа такая, – буркнул таксист.
- Наконец допили бутылку, и Осин позвал к себе в кабинет. Семен стал прощаться:
- Спасибо, Петрович, за угощение, поеду домой. А ты, Роман, звони в любое время, доставлю куда угодно.

6

В зале произошли изменения. Появилась официантка в клетчатой зеленой юбке и белой рубашке с галстуком, звучала музыка в стиле кантри, а в середине стола, загроможденного кружками с темным пивом, коротали время трое угрюмых мужиков в кожаных куртках. Когда Осин подошел, они поднялись, пожали по очереди ему руку и снова принялись за пиво.

– Вадик, – сухо обратился Осин к бармену. – Принеси-ка в кабинет добавку, выбери на свой вкус. И захвати «Белую лошадь». А Наталья пусть горячего сообразит.

– Будет сделано, – напрягся чернявый Вадик, отводя в сторону умные и влажные, как у собаки, глаза.

– Хороший ты работник, Вадик. – Осин через стойку поманил его пальцем. – И смекалистый, а? Я знаю – воруют все, везде, где могут. Но у меня есть правило – во всем знать меру. Не нарушай это правило, Вадик. Я человек добрый, но еще раз узнаю, я тебе обрезание сделаю твоими щипцами для льда.

И они удалились, оставив бармена на грани обморока.

Как выяснилось, и кабинет не имел особых претензий: обычный офисный стол с монитором компьютера, на стене телевизор, по периметру несколько мягких стульев. Но за высоким казенным стеллажом находилась симпатичная дверь, оклеенная ореховым шпоном. Она и открывалась в то самое место, именуемое по обычаю комнатой отдыха. Там тоже стоял бильярдный стол, но поменьше, зато кожаных диванов было два, но широких. Сюда же входил набор необходимой мебели. Взглянув в зарешеченное окно, Арсеньев отметил, что машин на стоянке прибавилось, но отсутствовал красный седан. Значит, уехала Татьяна Ивановна.

Они уселись в кресла и закурили.

– Какие мысли? – небрежно поинтересовался Осин. – Программу составил?

Арсеньев докурил, поднялся из кресла и снова подошел к окну, бросил взгляд на парковку, где трое в куртках садились в затонированный белый кроссовер.

– Санек, за десять лет я много чего составил. А теперь сам не знаю, что с этой свободой делать. Все изменилось, даже люди говорят по-другому. И думают тоже: никогда бы не поверил, что таксист захочет

добровольно за Родину воевать. Не хочу загадывать, как масть ляжет, так тому и быть.

– Понятно. А это значит, надо всерьез устраиваться, документы выправить. Я пока правильно рассуждаю?

– Правильно, но ведь долгая волокита начнется.

– Не больше недели, ну две. Это я беру на себя, проблем не будет. И заметь, все по закону.

– А сам-то ты как тут – по закону или понятиям?

– Какие понятия? Смотрящему 25 лет от роду. По натуре из тех, кто у одноклассников деньги обеденные выколачивал. Мелкая самодовольная сволочь. Нет теперь понятий, Рома, одни декорации.

Пока говорили, дважды приходил бармен, расставлял то вино, то закуски. Потом появилась баранина с грибами в белом соусе, с острым перцем и зеленью. А дальше ели и пили все подряд, и продолжалось это довольно долго.

– Может, на воздух? – предложил захмелевший Осин. – Дождя нет, давай-ка прогуляемся.

Народу в зале заметно прибавилось, музыка звучала громче, с некоторыми из присутствующих Осин здоровался за руку.

На крыльце они опять закурили и, не сговариваясь, направились по газону к обрыву, подойдя к парапету, облокотились. Быстро наступали южные сумерки, длинные облака, похожие на серебристые дюны, неумолимо уходили за море вместе с розовым солнцем, мерцающим у самой кромки воды. И глядя на солнце, на облака, чувствуя кожей легкий, по-особому мягкий ветер, Арсеньеву невыносимо захотелось женщину, ее теплых ласкающих рук, поцелуев...

– Саня, может, позвонить этой массажистке?

– Я час назад позвонил, – невозмутимо ответил Осин. – Но не массажистке, а Маринке. Она в конце стойки сидит, пьет сок и книжку читает.

На мгновение Арсеньев опешил:

– Книжку?

– Ну да, она ведь библиотекарь. Ну да, странная немного, зато стройная, как статуэтка, и чистейшие синие глаза.

– А почему странная?

– Потому что бросила университет в Ростове и переехала в наше захолустье к тетке. Морем любоваться.

– Я тоже приехал морем любоваться. Ты где ее откопал?

– На берегу.

– На берегу?

– Смотри, вон там, у беседки есть удобный спуск к морю. Так вот, спускаюсь однажды, иду в свое местечко у скал и вдруг вижу – лежит у валуна на боку это создание, причем совершенно голое, и книжку чертову читает. Потом книжку бросила, поднялась, и с разбегу прямо в волну. А когда вышла, руки скрестила на затылке и долго стояла, глядя на море. А на море ничего, кроме чашек. Картина, скажу я тебе. Потом вернулась, легла на спину и прикрыла глаза рукой.

– А ты?

– Закурил и пошел прямо к ней. А она, садитесь, говорит, если не страшно брюки испачкать. Вот так и познакомились.

– Уболтал?

– Не получилось. Поговорил и понял – порожняк. Она мне вроде сестренки. А вот ты ей подходишь.

– Хорошо, позвонил. А что сказал про меня?

- Сказал, что брат приехал. Я и раньше ей говорил, что брат, мол, в Сибири живет, ко мне собирается...
- Ты ведь это знакомство еще до моего приезда задумал?
- Подумывал, да не знал, как обставить. Ладно, пошли в кабинет. Брякну Вадику, он ее пригласит.

7

И Вадик пригласил. Улыбаясь, она выглянула из-за его спины, потом вышла вперед, и оказалось, что Осин довольно похоже описал ее на словах. Разве что не сказал про ямочки на щеках да про блестящие ореховые волосы, хвост которых лежал на плече синей стеганой куртки. Через другое плечо на длинном ремешке висела сумка. Гардероб довершали объемная кепка, джинсы в обтяжку и черные шнурованные ботинки на низком каблуке. В высоких она не нуждалась. Осин был прав, сложение безупречное, и даже через куртку чувствовалась, насколько тонка ее талия.

Как только дверь за барменом закрылась, девушка наморщила нос, бросила сумку на диван и прямоиком направилась к мужчинам, стоявшим у подоконника. Со словами: «вкусно пахнет», – она поцеловала Осина в щеку, а Арсеньеву подала руку, пальцы которой он с осторожностью свернул кулачком в своей широкой ладони. Пошевелив кулачком и убедившись, что ему там очень уютно, девушка подняла на него глаза и тихо рассмеялась:

– Какой вы большой! – И прижалась щекой к его свитеру на уровне диафрагмы. Затем снова подняла голову и мечтательно завела глаза: – Какой теплый. Из козьего пуха?

– Из него.

– Я Марина, – со вздохом сказала девушка. – Неудачное имя. А вы Роман, Сашин брат из Сибири.

– Точно, – вмешался Осин, усаживаясь в кресло. – Можешь не сомневаться.

– Я и не сомневаюсь. – Она смирila их взглядом. – Вы «Близнецов» со Шварценеггером смотрели?

Осин схватился за голову.

– Ну, Саша, шуток не понимаешь? – Она легко прошла по комнате, на ходу снимая и бросая куртку и кепку на диван. Осталась в белой футболке на голое тело. Осмотрев себя в зеркало, потрепала косую челку и повернулась к Арсеньеву:

– Роман, если хозяин устал, давайте с вами продолжим банкет. Я вообще-то не пью, но сегодня выпью немного. И поем, у вас тут столько вкуснятины.

– Остыло все, – сказал, поднимаясь, Осин. – Пойду, скажу, чтобы заменили.

– Не надо, это будет холодное мясо по-шотландски.

Осин подошел к ней и положил руки на плечи:

– По-шотландски мясо подают говяжье, а это баранина. Какую выпивку заказать?

– Значит, я буду баранину. А выпивку.... Пусть Вадим «мимозу» приготовит, быстро и вкусно.

– А может, чего покрепче, за встречу? – настаивал Осин.

В ответ она положила поверх его рук свои:

– От этого «чего» у меня через пять минут глаза начнут слипаться.

Осин ушел, а через пять минут появился Вадик с отпотевшей бутылкой шампанского, графином апельсинового сока и бокалом желтого коктейля с апельсиновой долькой. Он составил с подноса напитки, загрузил его пустой тарой и сказал будничным голосом, вынимая из кармана связку ключей.

— А шеф уехал, просил передать ключи от кабинета и свои наилучшие пожелания. Приятного отдыха. Кстати, там за портьерой имеется еще одна комната с душем и всем остальным. — И положив на край стола связку, удалился вместе с подносом.

На минуту воцарилась тишина. Потом она притопнула каблуком и нервно прошлась по комнате, с грохотом зацепив стул. Вернувшись к столу, вынула из бокала соломку и, не отрываясь, выпила добрую половину содержимого. Щеки ее горели.

— Мне кажется, что «шеф» торопит события. Вы ведь тоже так думаете?

— Простим его — он для брата старался. Посидим немного, и я провожу тебя на такси. Так подходит?

Она села за стол, воткнула соломку в бокал и задумалась, помешивая коктейль.

— Он всегда такой обстоятельный, умудренный. — И снова наморщила нос. — Но иногда бывает просто бестолковым, иначе не скажешь. Старался для брата. Взять и разрушить вот так всю компанию. — Она потянула через соломку коктейль и вздохнула. — Ладно, притворимся, что у него срочные дела.

Арсеньев присел на подоконник:

— Не злись. Ты для него особый случай. Знала бы, что он думает о тебе...

Она тут же прищурилась:

— Он рассказывал о нашем знакомстве?

— Не помню.

— Рассказывал, рассказывал. Комбинатор. Наверно думает, что мы уже спариваемся.

— Клянусь, ничего не знаю.

— Правда?

— Правда.

— А почему улыбаетесь?

— Любуюсь тобой.

Арсеньев перешел от окна к столу и уселся на стул, плеснул в рюмку виски. Она в молчании принялась за еду. Иногда прерываясь, вытирала губы салфеткой и наливала в стакан сок из графина. Покончив с ужином, сходила в кабинет и принесла два высоких тонких бокала, поставила рядом с шампанским.

— Откроете?

Он встал, бесшумно открыл бутылку и разлил по бокалам вино. Она взяла бокал двумя руками, прижала к груди и, помедлив, подняла голову, ее аквамариновые глаза смотрели пронзительно и спокойно. Арсеньев понял, в эту минуту она принимает окончательное решение.

Она глубоко вздохнула:

— А теперь за знакомство. Например, я работаю в библиотеке. А вы?

— Я безработный.

— Чокаться нужно?

– Не знаю.

Они, не чокаясь, выпили, она вернула ему бокал и завела руки за голову, освободила хвост от заколки, волосы рассыпались по плечам.

В это время просигналил невидимый мобильник. Она отошла к дивану, нашарила в сумке телефон и приложила к уху:

– Ах, это ты, провокатор несчастный! – Она включила громкую связь. Из трубки донеслось:

– Так получилось, малышка. Дела призывают. Надеюсь, я не нарушил...

– Да, нарушил. Свалился как снег на голову. У меня все еще бедра дрожат.

– О, черт, хотел бы я сейчас на тебя посмотреть.

Она бросила телефон на куртку, поднялась и вернулась к столу.

– Допьем?

– Конечно.

Она медленно выпила до дна, поставила бокал на место и вновь прижалась щекой к его свитеру:

– Все хорошо, но завтра мне с утра на работу.

Он поднял ее голову за подбородок:

– Отложим на выходной?

Она прижалась сильнее.

– Нет. Сейчас уже поздно откладывать. У меня и правда ноги дрожат.

– Надеюсь, не от страха? – сказал он, и подхватил ее на руки.

Она обняла его и прошептала в ухо:

– Я тебе не скажу...

Но сказала, конечно. Ночью, когда от прилива нежности что-то бесвязно шептала, блуждая губами по всему его телу, и даже утром, когда он обхватил ее через прозрачную шторку под душем.

– Ну, перестань, – смеялась она, путаясь в шторке. Потом показала лицо в мокрых прядях волос. – Знать не желаю, что будет дальше. И ничего не говорю.

Он укутал ее полотенцем, перенес на диван и сказал, вытирая голову:

– Дальше я позабочусь. Сядем на белый пароход и отправимся на какой-нибудь Зурбаган.

Она рассмеялась и поцеловала его в нос:

– Смешной ты, Рома. Сказки Грина читаешь?

– А ты?

Она освободилась из его рук и, поднявшись, приблизилась к зеркалу, внимательно осмотрела себя.

– Я в школе Франсуазой Саган зачитывалась. Просто влюбилась в нее без ума.

Она повернулась к нему, прикрыв рукой темный мысок внизу живота, глаза ее улыбались:

– Может, мне тут все сбрить? А ты мне поможешь...

Он молчал, с трудом подавляя желание завалить ее на диван.

– Значит, не буду. Глупости это все.

Она собрала в охапку одежду и направилась в ванную комнату:

– Я быстренько, буквально минуту. Ты вызвал такси?

– Давным-давно.

Арсеньев подошел к окну и сквозь решетку увидел стоящий на парковке «форд» Семена. А через минуту рядом пристроился красный «фольксваген» Татьяны Ивановны.

– Кажется, я готова. Можно ехать.

Она стояла перед ним в застегнутой под горло куртке, надвинутой на лоб кепке, и смотрела в окно, покусывая губы.

– Рома, проводи меня до машины – и все. И не нужно целоваться на улице.

– Это еще почему?

– Не люблю быть объектом насмешек.

– Да кому это в голову придет?

Она указала рукой на «фольксваген»:

– Не беспокойся, найдется кому. Думаешь, я не вижу, как она улыбается мне каждый раз при встрече? Вообразила, что я сплю с твоим братом. И что вообразит теперь?

Чуть погодя он усадил ее на заднее сиденье «форда», обошел машину и пожал, протянутую из окошка руку, оставив в ней деньги.

– Семен, отвези девушку куда попросит. Поменьше вопросов и никаких ответов.

Таксист кивнул, и машина осторожно стала выворачивать на дорогу.

9

Через час приехал на своем внедорожнике Осин. В сером деловом костюме вошел в кабинет, положил на стол смартфон и сказал:

– Это тебе, вбил несколько номеров, в том числе Маринки, разберешься?

– Разберусь.

– Ну, как прошло, нормально?

– Ты о чем?

– Ты дурочку не включай.

– Братишка, она прекрасна. Больше ничего не скажу.

В дверь постучали, и кабинет вошла Татьяна Ивановна, в руке она держала вместительный пакет с логотипом известного бренда. Бирюзовый костюм с зауженной юбкой сидел на ней идеально. Подойдя к столу, женщина достала из пакета коробку и протянула Арсеньеву.

– Вот, заехала вчера в магазин и взяла примерить. Это хорошая итальянская обувь. Если не подойдет, подберем другую.

Он открыл коробку. Отличные туфли из мягкой телячьей кожи, они чудесно пахли и сами просились на ногу. Усевшись на стул, он снял кроссовку и примерил. Затем встал и для убедительности сделал пару шагов вдоль стола.

– У вас отличный вкус.

– Берете?

– Разумеется. Но к хорошей обуви нужен подходящий костюм. И пару рубашек. Можем мы это оформить?

– Прямо сейчас?

– А это сложно?

В местном ТЦ она долго водила его между рядами костюмов, с одних снимала чехол, пробовала на ощупь и прикладывала на вытянутой руке к его груди, отводя назад голову.

– Вот этот, – наконец сказала она, остановив выбор на темно-синей двойке. – Тоже Италия, из муслина. Нравится?

– А вам?

– А рубашки возьмем голубую и белую.

У примерочной кабины она отвела вбок штору:

– Заходите. Когда примерите, оценим.

И отошла, присела на твердый диванчик, сложив на коленях руки. О чем она думала в эту минуту, одному богу известно. Но когда из кабины послышался озабоченный голос, вздрогнула, словно ее ударило током:

– Черт, не могу с рубашкой справиться. Танюш, помогите, запутался я в этих булавках.

Сцепив на коленях пальцы, женщина в оцепенении посмотрела на штору. Потом поднялась и неуверенно прошла в кабину. С голым торсом и в новых брюках Арсеньев стоял у высокого зеркала и задумчиво смотрел на нее, держа в опущенной руке наполовину развернутую упаковку. В молчании она освободила от булавок и зажимов рубашку, расстегнула пуговицы и, зайдя ему за спину, помогла вдеть в рукава его большие сильные руки. Когда поправляла на шее воротник и коснулась кожи холодными пальцами, они задрожали. Он замер, но тут же повернулся и стальной хваткой сжал ее запястья. Она в отчаянье прошептала:

– Нет, мы здесь не должны...

Он встряхнул ее за руки:

– Да что с вами? Напугали меня – пальцы совсем ледяные. Как мне рубашка, впору?

– Что? – сказала она тупо и отшатнулась, освобождая руки. – О, боже....

Немного позже, съехав в одном из переулков на обочину, она заглушила двигатель и сказала, опустив на руль голову:

– Дай, пожалуйста, закурить.

Он поспешно вытащил пачку «Винстона», прикурил:

– Но ты ведь не куришь?

Она сделала легкую затяжку.

– Когда-то курила...

Она еще раз затянулась, бросила окурочек в окошко и сказала, опустив голову:

– Там в кабинке я уж было подумала, что ты... что мы.... В общем, у меня только одна просьба – пусть это останется между нами.

Он коснулся рукой ее волос:

– Успокойся. Давай-ка лучше в парикмахерскую заскочим, раз уж пошла такая пьянка.

10

Еще через час машина припарковалась на стоянке Осина.

– Иди похвастайся, – сказала Татьяна Ивановна с невеселой улыбкой. – Думаю, он оценит. А я поехала, беру выходной.

Арсеньев, одетый с иголки во все новое, преобразился до неузнаваемости. Он понял это еще в парикмахерской, когда седая девушка с выбритыми висками и цветным драконом на предплечье убрала с него накидку, подправила расческой пробор на голове и увлажнила лосьоном гладкие до синевы щеки. А когда появился в кабинете Осина, окончательно утвердился в этом. Какое-то время тот непонимающе смотрел на него из-за стола, затем резко поднялся с открытым ртом, взмахнул рукой и снова вернулся в кресло.

– Ну, вы даете, – сказал он по слогам. – Я в шоке. Выпишу премию Татьяне, заслужила. Так, после работы заберем Маринку и поедем ко мне, пора осваиваться с новым жильем, хватит ночевать в кабинетах.

А вечером в библиотеке тоже случилось замешательство. Войдя, он никого не увидел и двинулся в читальный зал, где единственным

посетителем оказался мальчик лет десяти, сидевший за компьютером, дальше направился по коридору в другой зал, заставленный высокими книжными стеллажами, и наконец нашел ее стоящей у одной из полок с блокнотом и авторучкой в руках. Поверх футболки на ней была простая серая кофта, а на лице поблескивали симпатичные очки. Она встретила его виноватой улыбкой и близоруко сощурила глаза:

– Извините, подождите, пожалуйста, в читальном зале, я сейчас подойду. Вы записаться хотите?

И такая нежность охватила Арсеньева от этих слов, что захотелось немедленно взять ее на руки.

– Да, хочу, – сказал он сдержанно. – Сказки Грина имеются?

– Ой! – Она выронила блокнот и в изумлении отступила, прикрыв рукой рот. А через мгновение повисла у него на шее, обдав горячим дыханием, и уткнулась губами в щеку.

На этом романтика не закончилась. Они закрыли библиотеку, уехали в черный джип Осина, и через двадцать минут он привез их на ухоженную окраину, на одну из утонувших в садах улочек, где по традиции на лето сдаются гостевые дома. И арендуют их те умудренные жизнью люди, что предпочитают не шумный пляж и душный номер в гостинице, а тишину открытой террасы, благоуханье цветов и близость чистого моря. Встретила их белая каменная ограда в человеческий рост, стальные ворота, а за ними несколько соток земли обетованной – просторный двор с гаражом, летняя кухня под навесом из красной черепицы и, конечно, голый фруктовый сад, указывая на который Осин, морщась, сказал:

– Тут всего хватает, надо лета дожждаться.

И, разумеется, дом с террасой – основательный, двухэтажный, с четырехскатной крышей и выступающей отделкой углов черного цвета. Арсеньеву дом понравился. Но особенно второй этаж, где кроме ванной было две спальни с выходом на открытые лоджии и зал, обставленный мебелью из ротанга. Из большого окна открывался впечатляющий вид на бескрайнее серо-синее море, все в белых барашках, с пенистой прибрежной волной, набегающей на песчаную кромку пляжа. По берегу неторопливо шла простоволосая женщина в распахнутом плаще за руку с маленькой девочкой...

Спустившись вниз вслед за Мариной, Арсеньев прошел на кухню и уселся против стола на край углового дивана, девушка опустилась рядом. Осин резал охотничьим ножом на разделочной доске мясо, то и дело вопросительно поглядывая на них. И не вытерпел:

– Чего молчите, не нравится? Обставляла бывшая, все претензии к ней.

– Ты смотри не порежься, – сказал Арсеньев. – Дом замечательный. А супруге спасибо передай, все в лучшем виде.

– Сам передашь, когда приедет.

Она приехала к ужину, и оказалось, во-первых, что «молодая и высокая» не так уж и молода, как представлялось Арсеньеву, а во-вторых, если и высока, то исключительно на фоне низкорослого Осина. Круглолицая и худощавая, в темном габардиновом платье с белым воротничком, она коснулась у зеркала русых волос и сказала без всякого жеманства, подавая Арсеньеву руку:

– Маргарита. Можно Марго. А вы тот самый Роман?

В ее серых глазах Арсеньев не заметил и тени смущения, хотя она, безусловно, догадывалась, что он посвящен в перипетии ее семейной

жизни. За ужином она вела себя сдержанно, а когда вставляла в разговор пару слов, то всегда точных и по делу. Похоже, она была одной из тех своенравных женщин, которые не привыкли расточать любезности, дарить глупые улыбки и которым по барабану чужое мнение, поскольку на всё имеется собственное.

Вечер прошел на кухне, а ближе к ночи поднялся ветер и пошел дождь.

– Не люблю февраль, – сказала Марго. – Ущербный месяц. И всегда необъяснимое чувство тревоги. Хотя почему необъяснимое, вчера Олег заявил, что, вероятно, весной начнется война. Осин, война будет?

– Олегу видней, – съязвил Осин. – Он ведь у тебя за национальную безопасность отвечает. А если серьезно, то я уже ничего не понимаю: в телевизоре пугают, таксёр, которому без году неделя до пенсии, в добровольцы собрался, а народ, как посмотришь, живет себе в удовольствии. Какого черта! Ромка вон Чечню прошел, рассказывал.... Если такое же на Донбассе начнется, мало никому не покажется.

– Ладно, умник, пошли спать, – сказала Марго и потянула Осина за рукав. – Ребята, мы уходим, спокойной ночи.

Весь следующий день шел с перерывами крупный дождь, тяжелые капли густо шлепали в стекла веранды, а по временам, когда задувал шквалистый ветер, было видно, как гнутся и качаются голые кроны деревьев в саду. Но вот наступил вечер, кончился дождь, и на смену мглистому небу пришли большие кучевые облака, бело-розовые в лучах заходящего солнца.

В спальне у кровати горел торшер, Марина, лежа на спине, читала книжку, а на краю сидел Арсеньев и смотрел на экран телевизора, где сменялись живописные картины древнего Локронана. Сзади послышался вздох, и на его плечо легла теплая рука.

– Люблю Францию, всю жизнь мечтала съездить.

– Сюда?

– Нет, тут слишком навязчиво, красиво, похоже на декорации. Куда-нибудь в Бретань или Нормандию, в какую-нибудь нетуристическую деревню у моря. Снять комнату в старинном доме. Знаешь, там есть такие грубые каменные дома, которым лет по двести-триста, а может, и больше. Так вот, снять комнату, слушать в открытые окна прибой по ночам, а во время отлива собирать моллюсков у скал. Глупо, да? А теперь какая разница, все равно уже не получится.

– Это еще почему, теперь-то как раз и можно. И не комнату, а целый дом снять. А если надо, то и купить можно.

– У вас что, все в Сибири такие богатые? – рассмеялась она и усеялась рядом. – Нет, Рома, теперь там русских не жалуют, Европа нас отменяет.

Он обнял ее, поцеловал в шелковистую макушку и снова испытал острое, почти болезненное чувство нежности.

– Ну и черт с ней, с Европой, мир большой, поедem в Бразилию, там все поголовно в белых штанах. На фавелы посмотрим, по Амазонке прокатимся...

Он переключил канал, и вся нежность в тот же миг улетучилась. В эфире возникла телеведущая с раскосыми глазами и конским хвостом на затылке. Одетая в брючный костюм, она крепко, по-военному стояла на расставленных ногах и четким поставленным голосом призывала все кары небесные на голову бандеровского отребья, и советовала властям не испытывать долготерпение возмущенного народа, а нанести

сокрушительный удар по врагу. Ее слова сопровождались кадрами бомбежек с разбитыми окнами магазинов, с убитыми людьми, разбросанными на тротуарах, с мужчиной, склонившимся у тела жены...

– Боже, Боже, – прошептала Марина, и закрыла лицо руками. – Что же это такое, Господи, когда же все это кончится...

– Прав был Семен, – проговорил задумчиво Арсеньев. – Надо было их раньше кончать, пока не оперились. Да, судя по всему, скоро начнется, у нас выхода нет. Но теперь будет сложнее.

11

Следующие несколько дней настроение не улучшили, скорее наоборот. Жизнь текла своим чередом, все были заняты на работе, а он бродил у моря или томился с чашкой кофе у телевизора, все больше мрачнел от последних новостей из «зоны соприкосновения». К тому же погода была ветреной, злой: тяжелые тучи с северо-востока шли и шли бесконечным накатом, а море ходило и вздымалось гребнистыми чревами, как на картинах Айвазовского. Он спускался на кухню, выпивал рюмку коньяку, но это не помогало. И он опять садился у телевизора, чувствуя себя совершенно ненужным в этой паскудной обыденности, где на одних каналах русские люди гибли от пуль и снарядов, а на других не менее русские сладострастно готовили жратву или давились от смеха на театральных тусовках. Уж он-то точно знал, где мог пригодиться, и гораздо полезней Семена. Но разве это реально с таким прошлым? Когда вечером после работы Осин привозил Марину, душу отпускало, становилось легче, но с утра тяжелые мысли снова возвращались, и все повторялось сначала – кофе, телевизор, коньяк. В конце недели он не вытерпел и вызвал по телефону Семена. Снова шел дождь, но таксист улыбался, радостно говорил, лихо выкручивая на поворотах:

– Телик смотришь? Ходят слухи, наши скоро признают Республики. Улавливаешь, в чем суть?

– Улавливаю. Потом введут войска для защиты.

– Правильно. Брат звонил вчера, говорил: вот-вот и начнется.

Когда миновали вокзал, в одном из переулков Арсеньев обратил внимание на магазин сотовой связи и вспомнил про зарядник к смартфону.

– Давай заскочим, – попросил он таксиста.

Семен притормозил, сдал назад и остановил машину напротив зеркальной витрины. Собравшись с духом, они выбрались под дождь, стремительно вошли в магазин – и ошелотились от неожиданности. Прямо у входа в луже запекшейся крови, скорчившись, лежал молодой человек в джинсовом костюме, рыжий, с белым недовольным лицом и сощуренными, как у слепого, глазами. На левой стороне куртки висел именной жетон. Кровавый смазанный след тянулся к нему от прилавка, а за ним – полный разгром от спонтанного грабежа.

– А ты говорил, приветливый городишко...

Арсеньев шагнул вперед, присел у трупа на корточки и коснулся пальцами шеи.

– Паршиво, теплый еще. Думаю, он пытался не пустить этих придурков в закрома, за что и поплатился. Ну, все, уходить надо, с ментами мне лучше не пересекаться.

Арсеньев выпрямился и взглянул на таксиста. Тот был бледен, но внешне держался спокойно.

– Слинять не получится, снаружи камера, – сказал он упавшим голосом.

– Тогда вызывай.

Семен позвонил по мобильнику, и через пять минут к магазину подъехали три машины: две полицейские «Лады» и «мерседес» песочного цвета с мигающим маячком. Оперативники быстро проследовали в магазин, а из «мерседеса» неторопливо выбрался высоченный альбинос в сером костюме и в лаковых серых туфлях. Он тут же прикрыл черной папкой белоснежный ежик на голове, поднялся на крыльцо и оказался почти одного роста с Арсеньевым.

– Ты вызывал? – обратился он к таксисту. – А это кто, пассажир?

– Да, клиент, – ответил Семен за Арсеньева. – Взял с поезда, по дороге заехали мобильник купить, а тут...

– Откуда? – спросил в упор полицейский.

– С северов.

– Зачем?

– Подлечиться.

– Это зимой-то?

– Разве это зима?

– И все-таки? – на губах полицейского заиграла улыбка.

– Радикулит замучил, – простодушно ответил Арсеньев. – Начальник нашей геологоразведки посоветовал. Отдыхал тут у вас в санатории лет десять назад. С тех пор про больницу забыл. Давай, говорит, поезжай, Роман Васильевич. Не пожалеешь.

– Не соврал твой начальник, – самодовольно сказал полицейский. – Ну, что ж, поскольку вы единственные свидетели и заодно понятые, зайдём на пару минут, а потом прокатимся в управление – объяснительные там, протоколы и прочая бумажная шелуха.

– Вы уж организуйте все поскорее, – попросил таксист, – я и так уйму времени потратил впустую.

– Не стони, – раздраженно ответил полицейский и первым прошел в магазин.

– Записи с камер проверили, – сказал один из группы. – Молодежь работала. Приехали на серой «хонде» с местными номерами, скорей всего, угнанной. Продавца пырнули, пинали, а двое других вытряхивали все подряд в баулы. Все быстро, не больше пяти минут. А эти приехали совсем недавно. Зашли и сразу вышли. Этот высокий пульс прощупал у пострадавшего. Вроде всё.

– Всё так всё, – сказал полицейский. – Это гастролеры. Местные такого не устроят. Отлично, работайте. А ты давай за мной вместе с отдыхающим, уладим формальности.

Через час они покинули управление, дождь поубавился, оловом отсвечивали тротуары. Едва расселись в машине, стоявшей под высоким каштаном, налетел порыв ветра, и на крышу с трескучим шумом обрушились несметные капли.

Спустя полчаса в таверне они обсуждали происшествие, и Осин говорил, расхаживая по кабинету и хватаясь за голову:

– Какого черта вас понесло в эту стекляшку! Ну какого?

– Да я зарядник хотел...

– Рома, блин. – Осин остановился и уставился на Арсеньева. – У меня этих зарядников штук пять по дому разбросано.

– Откуда я знал! – взорвался Арсеньев. – Увидел вывеску, и словно переключило.

– Ладно, проехали. Рыжий, говоришь? Я его знаю... знал, царствие небесное. Это Борька Фишензон, безобиднейший парень. А накачанный альбинос – это Костя Трегубов, майор из линейной конторы, мой хороший знакомый. Заскакивает иногда с подругой бухнуть. Если хочешь, могу позвонить.

– Не надо, они паспорт смотрели, там все чисто, прописка на месте.

И все-таки на следующий день он позвонил, а вечером доложил Арсеньеву:

– Взяли их, Рома, бьют в казематах у Трегубова. Залетные мудаки из Лазаревского, всю отчетность ему попутали. Он тебе привет передает, говорит, надо было сразу сказать, что ко мне приехал, а не выдумывать сказки о пояснице.

Они сидели на кухне, пили пиво и закусывали миндальными орехами, приготовленными Осиным по его собственному рецепту.

– Хороший миндаль, – рассеянно сказал Арсеньев. Он встал, прогулялся до остекленных дверей на веранду, вернулся и остановился напротив друга:

– Муторно мне что-то последние дни, зуд какой-то в нервной системе, сосредоточиться не могу. А тут еще этот труп до кучи. Ты знаешь, я не сентиментальный, но когда пульс у него проверял, прочувствовал, как из него жизнь по капле уходила. А ведь ночью, наверно, с подругой спал, утром в туалет ходил, кофе пил на дорожку. Зачем? Вот и я вроде как живу, а для чего – непонятно. В зоне мечтал: выйду, бабки заберу у Семеныча, и жизнь пойдет лучезарная до невозможности. А вышел – ни хрена, нет той жизни, о которой мечтал. Я прошлым жил за колючкой, Саня, а время ушло вперед. В общем, отстал на 10 лет, а догонять не хочу, неинтересно.

Осин отхлебнул из банки и, глядя на него снизу, прищурился:

– А тогда что тебе интересно?

– Может, поехать туда помочь мужикам, как Семен задумал. Вчера видел в новостях церковь, разбитую снарядом, и так захотелось помолиться там.... А потом гасить чубатых по полной. Сука, я их еще по Чечне не забыл.

– Ты рехнулся, Рома, – тихо сказал Осин. – Совсем рехнулся.

– А ты меня каким тут видеть хотел? Чем я тут должен заниматься, бумаги перекладывать, прибыль в банке подсчитывать? А может, мне пойти историю детишкам преподавать? Говорю же, опоздал, теперь историю по другим учебникам учат.

– Точно, по другим. Думал, женишься, остепенишься, в Анталью сгоняешь, в Египет...

– Какой Египет, Саня. Ты вообще понимаешь, о чем я?

– Ни хрена я не понимаю! Ты лучше водочки врежь, вот мозги-то и встанут на место. А потом на море сходим, Маринку возьмем за компанию.

Спорить не имело смысла. Водки они выпили. И на море сходили вместе с Маринкой. А ночью она виновато призналась:

– Рома, я все знаю. Случайно. Пошла к вам вниз, а когда услышала ваш разговор, села на ступеньку и подслушала.

– И что?

– Я его не осуждаю. Он тебя 10 лет из тюрьмы ждал, а ты приехал и опять – из огня да в полымя.

– Скорее, в обратном порядке.

– Пусть так. Ты правда уже все обдумал?

– Нет, не все.

– А как же я?

Он потрепал ее по челке:

– Маринка, я старый неуравновешенный уголовник, тебе...

Она закрыла ему рот рукой:

– Рома, кто мне нужен, я сама знаю. А вот ты мне ответь, – она убрала руку. – Я-то тебе нужна?

– Как воздух. А жалеть не будешь потом?

– Может, и буду. Но это будет потом.

На следующий день они побывали в церкви, старинном трехглавом храме, стоявшем на отлете за шумной базарной площадью, отстояли обедню, поставили свечи. Старый седобородый батюшка в круглых очках перекрестил их и успокоил Марину, спросившую у него про Донбасс.

– Молись, дочка, супостата мы всегда побеждали и сейчас победим с Божьей помощью.

12

23-го Марина поздравила Арсеньева с Днем защитника Отечества и вручила ему флакон «Диор Саваж». Осин в армии не служил и поэтому остался без подарка.

24-го позвонил Семен:

– Роман, помнишь, что я тебе говорил? Утром началось... Увольняюсь. Брат меня встретит. Если будет возможность, свяжусь.

Через неделю он уехал, а убили его (в голове не укладывалось) в конце марта, когда весна уже правила бал и всюду цвели магнолии. Он погиб при обстреле родного села его брата, там его и похоронили – вывезти тело не представлялось возможным. Все это рассказала жена Семена, сообщила по телефону, номер которого он предусмотрительно оставил ей на всякий пожарный.

С тяжелым сердцем они навестили вдову – полную, похожую на грузинку женщину в трауре. Еще тяжелей было смотреть на старый «форд» во дворе их белого одноэтажного дома с маленьким садиком на задах. Помянули, но разговор не клеился, вдова молчала с растерянным лицом, очевидно, еще не до конца осознавая случившееся. Осин ненавязчиво поинтересовался о детях. Она со вздохом ответила:

– У нас сын. Он редко бывает, живет с семьей в Судаке.

И тут же встрепенулась:

– Нет, вы не подумайте, я ни в чем не нуждаюсь, зарплата у меня хорошая. Я ведь по просьбе Семена вам позвонила, он так велел, если...

– Ну, это уж мне решать, – сердито перебил Осин. – Я перед ним в долгу. Карта есть? Давайте номер.

Он достал смартфон, произвел необходимые манипуляции и удовлетворенно крякнул.

– Лишние 300 тысяч не помешают. А когда там все успокоится, прах перевезем, я лично этим займусь.

– Да, мы позаботимся, – добавил Арсеньев. – Телефон этого родственника продиктуйте, пожалуйста.

Миновал март, отцвели и осыпались магнолии, а на смену в апреле распустилась глициния – воздух сочился ароматом ее цветов, опутавших своими лианами не только кипарисы, но даже решетки окон на нижнем этаже таверны.

Они расположились у обрыва в тени греческой беседки, куда тоже доходил дурманивший аромат глициний. Близился полдень. В цветастом сарафане Марина стояла у перил и смотрела на море, на его спокойную лазурную гладь, где у самой воды с криками носились чайки, а другие, поднявшись выше, просто висели, покачиваясь на вогнутых крыльях.

— Рома, а у вас там какая весна? — не поворачиваясь, спросила она. — Расскажи...

— У нас скромнее, — сказал он ей в спину. — Гораздо скромнее. Но когда цветут заливные луга и все это дикое разнотравье, ветер тоже разносит сладкую пыльцу по всей округе. А воздух там легче и прозрачней, чем здесь.

— Чудесно. А здесь он какой?

— Как восточный парфюм. А если наглядно, то здесь картина маслом, а там акварель.

— Очень наглядно. И я тебя очень люблю.

— Я тебя тоже. Но я должен ехать, не могу больше оттягивать. Я давно созвонился, все уже решено.

Она повернулась и, закусив нижнюю губу, кивнула несколько раз.

— Я понимаю, — сказала она виновато. — Я все понимаю. Прости....

За прошедший месяц кое-что изменилось, но не так, как хотелось Арсеньеву. На Донбассе шли ожесточенные бои, и он недоумевал: почему в Чечне это называли войной, а здесь операцией? Были и другие вопросы, но он по опыту знал, что решать их нужно автоматом, а не болтовней. Так он и сделал, когда после майских праздников убыл по указанному ему маршруту. Провожали на вокзале Осин с Мариной, других в подробности не посвящали, все, что они знали: он всего лишь поехал навестить родственников в Иркутск.

Нет смысла говорить о самом прощании, поскольку все такие прощания похожи и на все лады описаны с античных времен. Не интересны и первая после Чечни легкая контузия, и запах червей, когда лежал, уткнувшись носом во влажный чернозем под минометным обстрелом, и многое другое, что более наглядно показывали в круглосуточном режиме по центральным каналам. Но одно нужно сказать обязательно: через неделю боев он снова был в своей тарелке и обрел те собранность и сдержанный волчий азарт, что когда-то сопутствовали ему на Кавказе. И еще следует сказать — те парни, с которыми он тогда воевал в горах, и даже их дети дрались сейчас вместе с ним заодно, где-то левее на растянувшейся линии фронта.

Наконец-то снова все встало на место, вернулось «на круги своя»: в него стреляли враги, и он в них стрелял. И убивал, а кого-то добивал не раздумывая. Случалось и спасать врага, как это было однажды, когда успел перетянуть бедро оравшему благим матом мальчишке лет двадцати. Арсеньев перетягивал, а тот орал, дико пучась на срезанный осколком обрубок в натовском берце. Бой затихал, притих после дозы промедола и пленный. Он забрал у него документы, айфон и, закулив, уселся на дно окопа, стал прокручивать видеозаписи. Это делалось не ради праздного любопытства. То, что увидел Арсеньев, совсем его не обрадовало. Этот мальчишка на короткой записи избивал ногами уса- того мужика в камуфляже с донбасским шевроном на рукаве. И ласково матерился при каждом ударе. А в конце воткнул пленному в горло армейский нож.

– Зачем же ты его так, Иван Колпаков, а? – спросил Арсеньев.

Но тот не слышал, он был в забытии. Арсеньев докурил, убрал вещи доки в карман и снял с бедра раненого жгут. А после качественно и без следов удавил «рекрута Колпакова». Говорить об этом тоже не имеет смысла. Во всяком случае, сейчас. Когда придет время, пусть расскажет тот военкор, которому он доверился во время передышки, передавая айфон молодого нациста.

– Не нужно меня снимать, – предупредил Арсеньев. – Но обязательно расскажи потом, как эта гадина на тот свет отправился. Что бы там ни говорили, а я знаю, народ отмщения требует.

А еще он перестал видеть сны. Лишь однажды ему приснился Нефедов. Худой, в нательном белье с выступающими ключицами, он сидел к нему спиной у печи, макал в таз мочалку и замазывал известью копать под заслонкой.

«Не к добру, – подумал во сне Арсеньев, понимая, что это сон. – Если во сне кто-то обновляет дом, значит, переедет в могилу».

А потом он оказался в широком подземном переходе, освещенном тусклыми неоновыми лампами. И двери, двери лифтов с обеих сторон. В одну из них он шагнул, и лифт с бешеной скоростью устремился вверх, заставив его ухватиться за плечи стоящего напротив мужчины. Он попытался объяснить ему, что ищет выход в город, и мужчина с улыбкой остановил лифт и вывел его в другой коридор, по которому в разные стороны двигались молчаливые люди. Тревожась все больше и чувствуя, что не хватает воздуха, он стал искать выход и скоро обнаружил за одним из поворотов узкую нишу, а в ней железную лестницу с очень высокими ступенями. Он устремился по лестнице вверх и поднимался до тех пор, пока не уткнулся в оштукатуренную стену. Сил больше не осталось. Арсеньев сел у стены, чувствуя, как ломит от усталости ноги, – и проснулся. Больничная палата, яркий свет неоновой лампы на потолке...

Хирург в Донецке, собравший из осколков раздробленную кость, сурово сказал:

– Все, отвоевался, забудь. Это надолго.

Из госпиталя он, наконец, позвонил в городок, сначала Осину, затем Марине. Осин был вне себя от его молчания, обещая немедленно приехать всеми возможными способами и забрать его домой.

– Даже не думай, – отрезал Арсеньев. – Когда выпишут, я сам доберусь.

Марина плакала и лепетала всякие нежности.

Пару раз навещался с передовой Николай, брат покойного Семена, делился последними новостями, вздыхал, доставал из подсумка фляжку:

– Я Семку сюда не тянул. Я, можно сказать, даже его отговаривал, здоровье было у него неважное. Но такие у нас в роду все упертые, если уж что задумал...

А уже перед выпиской во время обхода к его кровати присела на стул незнакомая женщина в белом халате, со стетоскопом на шее, и сказала с улыбкой, прощупывая пульс:

– Увидела в документах на выписку фамилию. Дай-ка, думаю, проверю, чем черт не шутит. Не узнаешь?

Немолодая, полная, седая – нет, эту женщину он определенно не знал. Вот разве что родинка на переносице... Под сердцем екнуло. Неужели она? Он сбросил ноги с кровати и близко наклонился к ней:

– Яна?

– Узнал. Господи, ну и дела!

Она обернулась к его лечащему врачу, стоявшему с коллегами возле угловой кровати:

– Иван Саркисович, Иван Саркисович, я брата нашла! Представляете, брата...

Перед отъездом он сутки провел у нее дома, где за рюмкой коньяка и разговором, полным воспоминаний, узнал: в тот год она уехала в Жданов, окончила там медицинское училище и перебралась в Донецк, где поступила в медицинский университет и вышла замуж, родился сын. Муж погиб два года назад, был в ополчении.

– Женя тоже добровольцем пошел, – добавила она тихо. – Воюет здесь недалеко, под Марьинкой.

Когда прощались, спросила в лоб:

– Ты вернешься или с концом?

– Конiec только на кладбище, – сказал он, целуя ее в висок. – Не будем загадывать, всему свое время.

А в городок он прибыл безоблачным днем в середине августа – на перроне плавился асфальт, электронное табло на фонарном столбе показывало +40. Он осторожно спустился с подножки и, опираясь на трость, огляделся. Встречающих было двое, и один из них тоже опирался на трость: худой, нескладный в белом полотняном костюме и с развесистой седой бородой. Его голову покрывала бейсболка, а в руке дымилась сигарета вместо прокуренной трубки. Но – как?! А так. Адресок-то Нефедова покоился у Осина в сейфе.

Но больше всего удивила Марина, когда ночью в спальне приложила его руку к своему животу:

– Рома, там, кажется, кто-то есть.

– Кажется или...

– Или.

Вот тут и следовало бы поставить точку. Однако близился сентябрь 22-го года... Это было только начало.

Светлана ТЮРЯЕВА

Родилась и живёт в г. Петушки Владимирской области. По профессии – инженер-технолог хлебопекарного, кондитерского и макаронного производств.

Автор семи поэтических сборников и трех детских книг (рассказы, сказки). Публиковалась в журналах «Берега», «Московский базар», «Клязьма», литературно-краеведческом сборнике «Владимир», поэтическом альманахе «45-я параллель», в международном поэтическом альманахе «Артелен», в сборниках патриотической поэзии «Оберег», «Язык победы» (Владимирское отделение СПР). Дипломант и призёр нескольких литературных конкурсов. Член Союза писателей России.

БЛАГАЯ ВЕСТЬ

Солнечным светом был залит весь двор. Поблёскивала вода в огородных ёмкостях, отливая то бирюзой, то перламутром, изумрудным цветом сияла трава вдоль тропинки, искрилась и сама тропинка, а цветы... Цветов было столько, что глазу не объять, и среди них – такие диковинные, которые отродясь не росли в этих краях. Навстречу Валентине от калитки, в окружении трёх сизарей, двигалась мужская фигура. Птицы влетели в дом, а подошедший ближе длинноволосый и бородастый мужчина, как ни странно, вызвал не страх, а волнующее чувство ожидания радости. Его завораживающий взгляд, и глаза василькового цвета, и улыбка... пронизывали до сердца. Не веря своим догадкам и едва сдерживая волнение – уж больно худой и обросший – Валентина перевела взгляд на правый висок гостя – там, красной каплей завершая бровь, ясно выделялось родимое пятно.

– Ванюшка!.. – радость заполнила сердце, подкатила к горлу, и мать бросилась на плечи сыну.

Но истошный звонок в дверь закрыл картинку, прервал сон. Часы показывали одиннадцать утра. «Заспалась я, – буркнула Валентина, – немудрено, сон-то какой сладкий, просыпаться не хочется», – и глянула в окно. В реальном мире неизвестная женщина у калитки усиленно жала на кнопку звонка.

– Иду, иду... что за срочность?

– Заказное вам, с уведомлением...

Благовещенья Валентина ждала с нетерпением. Нечасто посещала она церковные службы, но в этот праздник ходила обязательно. Благая весть сейчас ей была до боли необходима. Сын, Ваня, уже семь месяцев там, откуда приходят матерям страшные вести, в зоне боевых действий.

Вот и от него, родного, любимого, последние два месяца нет ни слуху ни духу. Всей семьёй пытались наводить справки, и в разные инстанции обращались, и через друзей, через родных и знакомых. Писали даже в те места, откуда муж родом, дальней родне – авось помогут. Но тщетно. Один ответ – без вести пропавший! Сколько дум надумала мать за это время, сколько себе насочиняла.

Отправилась она с этой болью в храм. Отстояла службу, поставила свечи, приложилась ко кресту в руках священника и подошла к той самой иконе, что манила её в ночных сновидениях, – «Нечаянная радость». Молилась и просила послать сыну помощь в тяжких испытаниях, просила и молилась, вытирая уголком платка накопившиеся слёзы. А когда выходила из храма, то прямо перед ней, на ступеньку присели три сизых голубя. «Хороший знак! – подумала Валентина. – Придёт в наш дом добрая весточка», – и радостная поспешила восвояси.

А сейчас, разбуженная после ночной смены, ещё под впечатлением от сна, полная надежды и тревоги, забыв, что на улице апрель, талый снег и лужи, выскочила она, наскоро обутая и прикрытая шалью, за весточкой, которую ждала с нетерпением долгие два месяца.

* * *

Полина не спеша возвращалась домой. Букетик тюльпанов и коробочка конфет, оставленные на её рабочем столе к празднику, не могли развеять чувство тяжести, поселившееся в душе.

Международный женский день в этом году для работников госпиталя выдался слишком беспокойным – поступила большая партия раненых. Суэта медперсонала, врачебные осмотры, операции, кровоточащие раны, искажённые болью лица... Одно из них – поступившего без сознания солдата – постоянно стояло перед глазами. Чем этот солдатик так притягивал к себе её душу, Полина не понимала, но что-то необъяснимо знакомое было в чертах его лица. Погруженная в свои мысли, она шла по сумеречному дворику ближе к дому, наблюдала за весёлыми ручьями, что сбегали прочь по руслам облысевшего асфальта, и тщетно ворошила память.

Операция прошла успешно, парня перевели в реанимацию, и теперь он оказался под контролем Полины, но оставался без сознания. Каждый раз, стоя возле кровати подопечного, она вглядывалась в его лицо, то рассматривала форму носа, то надбровные дуги, то форму губ. Но пока не сошли отёки и синяки, пока окончательно не зарубцевались швы, истинные черты увидеть было невозможно. А сердце тянуло к нему и тянуло. Документов у парня никаких. Те, с кем его доставили, уже ничего о нём не скажут. Неизвестный, безымянный, но чем-то очень близкий. Парень долгое время не приходил в себя. Полина не успокаивалась. Дома пересматривала старые фотографии, пытаясь вспомнить что-то из своего прошлого.

Смена у Полины заканчивалась, когда молоденькая санитарка Вика сообщила ей радостную весть:

– Пришёл в себя, твой солдатик, тётъ Поль! Я это, полы мою, глядь, а он глаза открыл и в потолок пялится. Я ему: привет! А он взгляд на меня перевёл и губами шевелит. Ну, я сразу к тебе.

Полина скоренько сообщила новость дежурному врачу, сорвалась с места и через пару минут уже стояла у кровати больного.

Парень перевёл взгляд на женщину, и словно два огонька василькового цвета стрельнули ей в самое сердце. Ах, этот взгляд, улыбка, до

боли знакомая улыбка... Сердце защемило – Виктор. Ну как же похож этот парень на Виктора, её первую, тайную любовь. Когда тот ушёл в армию, Полина не теряла надежды, мол, отслужит, вернётся, и всё у них получится. Долго сохла она по своей тайной любви, искала любой повод к матери Виктора заглянуть и как бы между прочим о нём разузнать. А он остался жить там, где служил. Писал, что женился, сынок, мол, растёт, дочка. Развели их судьба по разные стороны, разъехались по разным городам. У каждого своя судьба... Была семья и у Полины, только чувство этой первой несостоявшейся любви оставалось с ней на всю жизнь. Помнится, мать Виктора в последнюю их встречу фото внука показывала. Мол, приметный он у нас – пятнышко, родимое у бровки, как капелька крови.

Полина внимательней оглядела правый висок. Думала: ещё след от гематомы не прошёл, ан нет – пятно родимое.

Подоспевший дежурный врач, проверив состояние больного, попытался его разговорить:

– Ну, герой, звать-то тебя как, помнишь?

Парень шевелил губами, но разобрать было сложно.

– Давай так, – сказала Полина, получив разрешение доктора, – я называю имя, а ты знаком покажешь, да или нет.

Парень одобрительно мигнул глазами.

– Иван? Викторович?

Все с удивлением поглядели на Полину, а та продолжила:

– Белов?

Парень медленно приподнял кисть правой руки и, сложив её в кулак, поднял вверх большой палец.

Трудно описать, какое смешение чувств происходило в тот момент в душе Полины, но одно из них – радость – явно взяло верх. Хотелось обнять этого парня, будто перед ней сам Виктор, выхлестнуть на него всю её давнюю несостоявшуюся любовь и не отпускать. Как не отпустила бы его отца, имея раньше такую возможность. Только это не Виктор, а самое дорогое, что у него есть.

– Знакомый? – врач обратился к Полине. – Адрес родных сможешь найти? Оповестить надо бы.

Весь вечер этого дня был занят воспоминаниями и поиском хоть каких-нибудь контактов из прошлой жизни. Валентина в очередной раз перебирала старые фото, только теперь с конкретной целью. Вот оно – маленькое чёрно-белое, когда-то украденное ею у сестры Виктора, а теперь убранный подальше с глаз. На нём молодая пара с годовалым ребёнком, а на обратной стороне надпись: «Виктор и Валентина с Ванюшкой», дата и адрес, приписанный рукой Полины. Мыслимо ли думать – четверть века прошло, что могло сохраниться? А вдруг? Ведь не зря именном её Господь сподобил узнать в раненом солдате их сыночка?

– Отправлю туда, заказным! А если не проживают, то, может, новые жильцы весточку передать смогут? – решила она, – Главное, что сын Виктора жив!

Полина спешила на почту, неся в сумочке заветный конверт, молилась, чтоб адрес не оказался ошибочным, не переставала удивляться переплетению их с Виктором судеб.

И благая весть, отправленная на адрес Виктора и Валентины Беловых, полетела через полстраны к своим адресатам.

Светлана ГОРЕВА

Родилась в городе Горьком. Окончила филологический факультет ННГУ им. Н. И. Лобачевского и юридический факультет Нижегородской академии МВД.

Автор нескольких книг. Пишет для детского православного журнала «Саша и Даша». Победитель литературного конкурса издательства «Настя и Никита» в номинации «Записки натуралиста» (2016) с произведением «Заповедные места», в 2017-м – в номинации «В театре» с произведением «Идем в музыкальный театр», которое потом вышло отдельной книжкой. Финалист конкурса произведений для детей «Берег детства» (2020).

Живет в Нижнем Новгороде.

НА ДОЛГУЮ ПАМЯТЬ

Нет, это просто невыносимо! Этот сумасшедший дед орёт и орёт каждый день. Как выйдет на балкон, так и начинается: то воет, как сирена, то трещит, будто из пулемёта стреляет, а потом начнёт плакать. И плачет так натурально, навзрыд, как маленький. Вот мне уже почти тринадцать. Я даже не помню, когда последний раз плакал.

Неужели с ним ничего нельзя сделать? Отправить в дом престарелых или в... другой какой дом? Нет, никуда она его не отправит. Его старуха. Не жена. Вроде бы сестра его старшая. У них что, детей нет? Наверное, нет, раз соцработник к ним ходит. Ведь предупреждали родителей, что не нужно переезжать в этот район. Но мама заладила: тебе нужен этот лицей, это твой шанс поступить в престижный вуз.

Самое интересное, что дед, как проорётся, садится в комнате к окну чай пить. Как ни в чём не бывало. А окно низко. Первый этаж. Но привычных решёток нет. Когда раздвинуты шторы, можно даже разглядеть, что стоит на столе, придвинутом к окну. Чайник заварочный. С крупными красными розами на пузатых боках. И чашка не в тему. Голубая. В белый горошек. Видеть уже не могу эту чашку. Дед макает кусок сахара в кипяток и засовывает в беззубый рот. Шамкает старческими сморщенными губами. А иногда и старуха сидит с ним рядом и смотрит на него. Странно смотрит. Так только на маленьких детей смотрят. Ласково. Жалостливо.

* * *

С каждым годом с ним всё хуже и хуже. Он всё чаще возвращается в детство. Ему снятся кошмары. Обычно ночью. Но, бывает, и днём. И я не знаю, как его успокоить. Когда он был маленьким, я гладила его

по вихрастым пшеничным волосам, и он успокаивался. Сейчас это редко помогает. Волосы из пшеничных давно стали серыми. Возьмёт меня за руку, скажет: «Сестра, а сестра?» И я всё понимаю. Садимся с ним пить чай. Понятное дело, соседям надоели. А куда нам деваться? Так и будем тут свой век доживать. Брат гладит указательным пальцем края голубой чашки. Я качаю головой, говорю: «Не надо, Вася. Я всё знаю». А он всё равно рассказывает. По сотому кругу одну и ту же историю.

* * *

Уже три года я работаю с этой семьёй. Такая служба. Социальная. Другие крутят у виска: Тамара, заняться тебе нечем, смени работу. А это не работа, это жизнь. У всех она разная. У Василия Николаевича и Натальи Николаевны такая. Как подумаю про них, сердце кровью обливается. Слышала я, что соседи про них говорят. Не будешь же каждому встречному объяснять. Два раза в неделю я у них. Прибираюсь, готовлю, мою посуду. Только свою голубую чашку дед Василий мне не доверяет. Сам моет. Оно и понятно.

* * *

То раннее утро выдалось на удивление тёплым. Август уже перевалил за половину, но даже по ночам ещё тепло. С семи лет я гонял коров на выпас. Далеко. Но мне не привыкать. Сейчас мне девять. Но теперь и подавно матери помогать надо. Отец на войне, сестра убежала тайком ото всех к партизанам. В лес. Мать сначала ругала её, а потом сама начала помогать. Фронт стоял от нас совсем недалеко. Но немцы в наше село не заходили.

Как обычно, я угнал коров на дальнее поле. И оттуда после обеда увидел зарево со стороны села. Ярко горело. Словно кто-то зажжёт огромный факел. Никогда в жизни я не бегал так, как бежал тогда.

Села не было. Всё, что от него осталось, – это печные трубы. Они вытянули длинные шеи, точно журавли, высоко в небо. Непрогоревшие головешки валялись тут и там. От запаха гари щипало глаза и кололо в носу. Наш дом стоял рядом с сельским клубом. Я надеялся, что мать вместе с другими жителями успела уйти в лес, к партизанам. Я бежал, падал в дорожную пыль, поднимался и снова бежал, вытирая рукавом рубахи влажное грязное лицо. Сначала я увидел на земле мамин платок. На светло-зелёном фоне ярко проступали багровые пятна. А потом увидел сжатые руки. Они держали в руках мою чашку. Голубую. С белым горохом. Отец подарил мне её, когда уходил на фронт. На долгую память. Лица у мамы не было. Ничего больше не было.

НОВАЯ ЖИЗНЬ

1

Вчера у соседки появилась шуба. Песцовая. Ничего не скажешь, роскошная. Мягкая, небось. И тёплая. Не подумайте, что я завидую. Хотя кому я вру: завидую, конечно. Мой-то такую мне никогда не купит. Всё копит и копит на что-то. А соседка теперь нос задрала. Сегодня даже не поздоровалась. Хотя уж как я её сверлила глазами. Шуруповёрт мне теперь не конкурент. А она только плотнее запахла новую одежду и нырнула в глубину своей старенькой квартиры.

2

Сегодня утром соседка чуть не съела меня глазами. Неужели она начинает догадываться про меня и её мужа? Если она узнает, что это он мне шубу подарил, то снова придётся переезжать, как в прошлом году. Всё ходит, вынюхивает чего-то. Как ищейка. Ну да ладно. Скоро весна. Шуба не так будет мозолить ей глаза. Хотя у меня и пальтишко весеннее пообносилось...

3

Марина второй день сама не своя. Далась ей соседкина шуба. И Катка тоже хороша. Выпросила песка, так будь скромнее. А то оба окажемся в травмпункте. Рука у Марины тяжёлая. Сковородка тоже. Может, и не стоила овчинка выделки?

4

Ещё вчера я спокойно висела в магазине. По мне нежно проводили руками, гладили, щекотали под мышками. А сегодня я стала предметом раздора. Целый день мне перебивают каждую ниточку, каждую пуговицу. Так и сглазить можно добротную шубу. Вот уже и мех начал линять. Нет, нельзя доверять людям. Испортят всё, за что ни возьмутся.

5

Наконец в шкафу появилась нормальная вещь, а не голая синтетика с отвратительным запахом. Белый цвет мне к лицу. Очень молодит. Новая шуба пахнет свежей морозкой и травами с терпкими нотками костра. Всё как я люблю. Лишь бы не закончить своё существование, как моя бабушка, которую хозяйка шлёпнула прошлогодней газетой. А старушка только и сделала, что села на старенькую юбку. Подумаешь!

6

Живёшь себе на свете, ловишь проворных леммингов, иногда перебиваешься с травы на траву. И даже не подозреваешь, что однажды можешь поселиться в квартире в центре большого города с видом на реку. Все будут хвалить твою густую шерсть, запускать туда ладони, вызывая смутные воспоминания о прошлой жизни.

Лирический портрет

Диана КАН

Родилась в городе Термезе Узбекской ССР. Окончила МГУ им. Ломоносова и Высшие литературные курсы. Автор книг «Високосная весна», «Подданная русских захолустий», «Междуречье», «Покуда говорю я о любви», «Звёзды окликают» и других.

Лауреат всероссийской литературной премии «Традиция» правления Союза писателей России (2002), всероссийской премии «Имперская культура» в номинации «Поэзия» (2007), литературной премии имени святого благоверного князя Александра Невского (2009), всероссийской Цветаевской премии (2016).

Член Союза писателей России. Живет в Оренбурге.

МЫ С ТОБОЮ ПОЭТЫ ЭПОХИ ЗЕТА...

* * *

Он спросит: «Как дела на личном фронте?»
И я в который раз ему назло,
Как в том расхожем дамском анекдоте,
Отвечу: «Много ваших полегло!»

Явился и ничуть не запылился!
А я гадаю – с кем ты, где ты есть?
И как ты мог меня, свою царицу,
Какой-нибудь шалаве предпочесть?

Ну, раз пришёл, скажи, где прохладился?
Ну что не отвечаешь ничего?
Каким ты искушеньям подвергался?
И он ответит: «Был на СВО!»

Был на войне? Постой-постой, а я то
Гадаю – с кем ты, где, такой-сякой!
Постой! А ты ушёл на фронт солдатом?
О Господи, да ты ж совсем седой!

Да, я, конечно, ссорилась с тобою,
Но я не ожидала, милый мой,
Не став женой, стать горькою вдовою
И утешаться тем, что ты герой.

В той ссоре были оба мы неправы,
Но я тебе по-прежнему верна.
Так вот она – проклятая шалава,
Треклятая разлучница война!

Такая пострашнее прочих будет –
Покой отнимет, обовьёт тоской.
И безразлично ей, что скажут люди,
И в космы ведь не вцепишься такой!

А, впрочем, это всё теперь не важно.
Ты жив войне-разлучнице назло...
И он, обняв меня, печально скажет:
– Я жив, но много наших полегло!

* * *

Ты твердишь – ты лучший самый!..
Но пока, братуха мой,
«Вышли сала! Здравствуй, мама!»
Эсэмэску шлешь домой.

Сколь ни дай тебе – всё мало!..
Жить привыкшему во зле
Родина – везде, где сало
И горилка на столе.

На майдане развлекайся,
Сало ешь, горилку пей...
Только после не раскайся,
Покаянных слёз не лей.

Эхма, салом по мусалам...
Не ударь, братуха, в грязь:
Продаваться – так не даром,
Це Европа заждалась!

Вряд ли, впрочем, салом встретит,
Малость впавшая в ислам –
Не бросая слов на ветер,
Буркнет разве что: «Салам!»

Зря ты ждал моих проклятий...
Что воззрился на меня?
Братья мы, конечно, братья –
Каин с Авелем – родня!

* * *

На дорожку выпили. Закусили пряничком
Бравые хорунжии, юные уряднички.
Рюмки наземь шваркнули. Песенку возгаркнули.
Стременами звякнули. Шашками возбрякнули.

Ой ты песня-песенка, свободолюбивая,
До Урала-батьюшки долети, ретивая!
Милым другом петая, Господом хранимая,
И до Волги-матушки долети, родимая.
В буйны ветры лентою шёлковой вплетённая,
Помнящая Разина, знавшая Будённого,
На просторах родины солнышком разнежена,
Не кончайся, милая песня обережная!

* * *

Золотая осень, плачь,
Но смиришься с природным чудом –
Коренастый карагач
Не расстался с изумрудом.

Верность лету сохранил.
Не купился зябким златом.
Чем же он тебе не мил?
Знать, не быть ему богатым!

Ты расстроена до слёз,
Ведь милей его упорства
Верноподданных берёз
Золочёное притворство.

Или преданность осин,
Что купила за медяшки.
Или трепетность рябин,
Что в крови дрожат, бедняжки.

Все склонились пред твоим,
Осень, злато-государством...
Карагач неумолим
Со своим степным бунтарством.

Оренбургский сторожил,
Он один из всех не плакал,
Когда голову сложил Пугачёв
Пред смертной плахой.

* * *

Стипухи хватит на общагу,
А также хватит без проблем
На джинсы «Вранглер», тортик «Прагу»,
И на пластинку Бони Эм.

На что ещё? На радость жизни,
Что в смехе молодом искрит,
Когда уверенность в Отчизне
Сомнению не подлежит.

Тот, кто мою не знает юность,
Присвистнет звонко: «Эгегей!
Ну ты, Дианчик, размахнулась
На целых 35 рублей!»

А у меня размах имперский –
Калининград – Владивосток!
И хохот молодой и дерзкий
Взлетает аж под потолок.

А у меня страна такая –
Земли одна шестая часть!
И я пока ещё не знаю,
Что могут это всё украсть.

Я сессию не завалила –
Любимый торт «Прага» ем.
Вчера на фарце прикупила
Пластинку группы Бони Эм.

И смотрит на меня с улыбкой,
Пока несу какой-то бред
С самоуверенностью пылкой
Влюблённый парень-почвовед.

Апрель заигрывает с маем,
Но помыслы его чисты...
...И я ещё пока не знаю,
Что где-то есть на свете ты!

* * *

Она, проникая сквозь стены,
Стеной становилась не раз.
Она, не прощая измены,
Сама изменяет подчас.

Всесильна и любвеобильна,
Но так беззащитна порой.
Становится милой насильно
И жизнь почитает игрой.

Восславит, унизит, ославит
В прозреньях-презреньях вольна.
Она монархически правит,
В пророчествах растворена.

С царицы отнюдь не убудет
Стоять у закрытых дверей,
За коими челядь пирует...
Ведь имя Поэзия ей.

* * *

День грядущий окутан туманом...
Словно сын, что в свободу влюблён,
Чутко дремлет в стволе у нагана
Самый верный последний патрон.

Как положено ласковой маме –
Проклиная, ревнуя, любя –
Ты о нём размышляла ночами,
Ты его сберегла – для себя.

Всех других ты легко отпустила
Сыновей в беспощадную жизнь.
Пусть спокойненько спят по могилам
Тех, с кем в битве последней сошлись.

Ты, любовь почитавшая блажью,
Не заметила, как он влюблён,
Сберегая тебя от тебя же,
Самый верный последний патрон.

В напряжённом житейском разгуле
Он и нежен к тебе, и жесток,
Но с тобой не поделится пулей,
Что тебя поцелует в висок.

* * *

Жизнь, что казалась жуткой,
Вдруг оказалась шуткой –
Кроткой улыбкой Бога,
Что пошутил немного.
Стерва – любовь земная! –
Не подарила рая.
Женское счастье, где ж ты?
Тают в ночи надежды!
Что там ещё осталось?
Мудрость? Такая малость...
Теплится сквозь химеры
Вербная ветка веры.
Всё, что ждала всерьёз ты –
Вылечат вербохлёсты...
...Бог обещал спасенье
В Светлое Воскресенье!

* * *

Нет, я вопроса не задам последнего,
Припоминая юные грехи,
Куда ты дел того 20-летнего
Мальчишку, что любил мои стихи?

Мальчишку, вдохновением горящего,
С кудрями цвета ангельского льна,
О творчестве часами говорящего...
Ведь я в него доселе влюблена!

О доблести, о славе, о бессмертии
Я промолчу, чтоб не напоминать
Тебе в канун пятидесятилетия,
Каким ты был недавно, в двадцать пять.

Мне улыбнись, как прежде, на прощание
Улыбкой виноватую своей...
Читай мои стихи-воспоминания.
И ни о чём, что было, – не жалеи!

* * *

Мы пока с тобой помолчим об этом...
После битвы-молитвы поделимся в стори,
Как икс-игрек вдруг обернулись Зетом
И красуются рядом – да-да! – на заборе.

Без икс-игрека сложно войну осилить.
Не считай икс-игрек презренным матом:
В сорок первом с ним в атаку ходили
Наши деды, вырвав чеку гранаты.

Если ты родился на свет поэтом,
Да не просто поэтом – поэтом русским,
Ты поймёшь, что мы зачеркнули Зетом
Европейские пошлые перезагрузки.

Если ты родился на свет человеком,
А не суетно либеральным фигляром,
Поневоле становишься вещим Олегом,
Чтоб отмстить неразумным новым хазарам.

И пусть песня Победы ещё не спета,
И ещё Христос попускает Иуде...
Мы с тобою поэты эпохи Зета –
Несмотря ни на что – счастливые люди!

Марина КУДИМОВА

Родилась в 1953 году в Тамбове. Окончила Тамбовский педагогический институт (1973). Поэт, прозаик, переводчик, эссеист, историк литературы, культуролог, публицист, телеведущая. Переводит поэтов Грузии и народов России.

Начала печататься в 1969 году. Автор книг стихов: «Перечень причин» (1982), «Чуть что» (1987), «Область» (1989), «Арысь-поле» (1990), «Черёд» (2011), «Целый Божий день» (2011), «Голубятня» (2013), «Душа-левша» (2014), «Держидерево» (2017), книги прозы «Бустрофедон» (2017), книги эссеистики «Кумар долбящий и созависимость» (2021). Произведения Марины Кудимовой переведены на английский, грузинский, датский языки.

Лауреат премий им. Маяковского (1982), журналов «Новый мир» (2000) и «Дети Ра» (2010), им. Антона Дельвига (2010), «Венец» (2011), Бунинской (2012), им. Бориса Корнилова (2013), «Писатель XXI века» (2015), Лермонтовской (2015) и Волошинской (2018).

Живёт в Переделкине.

И РИФМА РЯБИНЫ, И ПАМЯТЬ МАРИНЫ...

Сосед

Мы пили когда-то – теперь мы посуду сдаем.

Олег Чухонцев

Я жить здесь хотела, теперь собираюсь дожить,
Склоняюсь, как над книгой, над частной своей Хиросимой,
Пока у соседа Чухонцева в окнах дрожит
Свет – может, дежурный, слабеющий, но негасимый.

Замедлю шаги у несломленной лирной сосны,
Дождусь, когда выпорхнет в темь полнозвучная птица.
Подумаю коротко: кажется, мы спасены –
В преддверье войны, в загляденье пугливой весны –
И пафос собыю: если кажется, надо креститься.

В каких начинаниях чудо считалось за труд?
У спецконтингента «спасибо» зашито в подкладки.
Но стихли бульдозеры, и удаляется суд,
И поздние дети резвятся на детской площадке.

* * *

...А шестая повесть Белкина
Автору не удалась...

Мыло марки «Переделкино»
С рук не считывает грязь.

Что осталось? Аз да ижица,
С корнем вырван алфавит.
И течёт меж пальцев жижица,
И кровит, кровит, кровит.

Не покрыта местность сотою,
Связки рвутся – связи нет.
Как увлечена работою
Леди мыльная Макбет!

День предпоследний

Даше Бегловой

Тридцатое августа – день предпоследний,
Сегодня – текущий, а завтра – намеренный.

Сегодня – еще не настолько прозрачно,
Не так просквозённо, остаточнo дачно,

Хоть сдвинута мебель, и чувство такое,
Как будто попал в помещенье складское.

А завтра, а завтра,
На Флора и Лавра,
Вдруг вспыхнет аллея сусально, как лавра,

И облако вспухнет преддверием снега,
И альфу в Кентавре заменит омега.

Процесс обнаженья затеет опушка,
Подхватит пролесок, затюкает сплюшка

Свистком в семь стволов на манер окарины...
И рифма рябины, и память Марины...

Но празднуют засветло, словно в июне,
Рождённые в летнем парном накануне,

В бессонной толпе, как у ранней обедни,
Тридцатого августа – в день предпоследний.

* * *

Хлеб не печён, так хоть краюшку на́ –
По срезу чёрная печать.
Извергните из школы Пушкина –
Глядишь, его начнут читать.

За шиворот себе налей «Монталь» –
Лакейский дух не перебить.
Немедля воспретите Лермонта –
Глядишь, его начнут любить.

Неукротимые и страстные,
Изгойство клявшие своё,
Какие были парни классные –
Элитное хулиганье!

На ксерокопии, в смартфоне ли,
Тайком, хотя б одним глазком...
О, если бы вы что-то поняли,
То подавились бы куском.

* * *

...и хруст французской булки.

В. Пеленягрэ

От мотков пипифакса осталась выставка втулок...
Съешь ещё этих мягких французских булок,

Выпей чаю – все буквы использованы в программе.
Первый комп нас учил идиотской такой панграмме.

Пустотой предрассветный двор пронизан и гулок...
Съешь ещё этих мягких французских булок.

Монитор заголился, вчера быв уютной норкой,
Зачерствели булки, заклёкли плюшкинской коркой.

В ожидании алиментов застыли дети:
Тятя, тятя, нас выbleвали соцсети.

На Вернадского цирк спалил архитектор Вулых...
Съешь ещё этих мягких французских булок.

Михаил САДОВСКИЙ

Родился в городе Богородске Нижегородской области. Окончил историко-филологический факультет Нижегородского госуниверситета им. Лобачевского. Преподаватель высшей категории.

Печатался в изданиях «Литературная газета», «Литературная Россия», «День литературы», альманахах «Академия поэзии», журналах «Нижний Новгород», «Невский альманах». Лауреат конкурсов «Стихия Пегаса», «В Единстве Духа». Автор книг «Жизнь», «Мы с тобой обнимались снами». Лауреат премии журнала «Нижний Новгород».

Живет в Нижнем Новгороде.

НАС ХРАНИТ ЛЮБОВЬ БЕЗОБМАННАЯ...

Неожиданная встреча с поэтом Александром Ткаченко

Александр Ткаченко (1945–2007) – поэт, генеральный директор Русского ПЕН-центра (1994–2007).

Родился в Симферополе в семье украинца и караимки. С 1963 по 1970 год играл за футбольные команды «Таврия», «Локомотив», «Зенит. Из-за тяжелой травмы оставил футбол и выступил на поприще литературы. Стал известен в одночасье – после статьи Андрея Вознесенского «Муки музыки» в «Литературной газете». Автор 16 книг стихов и прозы. В качестве футболиста и поэта трижды посетил Нижний Новгород.

Как рыбак в ожидании поклевки
или форвард в предчувствии паса,
на просторах бурлящей Покровки
ты, вальяжный, беспечно пасса

в окружении журналисток,
что смотрели сверхвожденно:
«Мы тебя любим, – писали их лица, –
свободы счастливый пленный».

Вместо «здравствуй», отринув «Бон-аква»,
словно код от некой игры,
я спросил, очевидно сверхнагло:
Саша, чей Крым?

И прищур мудровато-узкий
караимо-украинской грусти

произнес по-актерски, с паузой
(звучал мотив отдаленный Паулса):
«Русский!»

И никто не придал значенья
слову пророческому Ткаченко.
Но рождалась средь литкарнавала
дружба почвенника и либерала...

Где ты, Саша, в каких просторах?
Но тебя уже не воротишь...
В чьих штрафных ты наводишь шорох,
бьешь нацеленно по воротам
или, как замаливают грехи,
забредя в храм поэзии – мастерскую,
исступленно читаешь стихи?

.....
Русский Крым по тебе тоскует!

2014, апрель

Разговор с современником

*Пушкин... это русский человек в его развитии,
в каком он... явится чрез двести лет.*

Н.В. Гоголь

Александр Сергеевич, разрешите представиться.

В.В. Маяковский

Александр Сергеевич, Вы мой современник,
не говорил я с Вами глаза в глаза,
но тем не менее
Гоголь пророчески предсказал...

Александр Сергеевич, на Вас досье имеется.
Первоклашки твердят без запинки
«Памятник». Это наша современница
к Вам торит самозабвенно тропинки.

Мы в Михайловское едем и Болдино...
Не иссякнет – веско скажет любой
(ведь вовеки любима Родина) –
словно к Родине, к Вам любовь!

Александр Сергеевич, мой современник,
живем ради денег, а не за страх.
Нет у современника нынче денег,
живем, точно Пушкин, все мы в долгах.

Александр Сергеевич, мы терпение взяли на щит...
Ну о чем загрузили, о чем Вы?
Жмет и оттого в плечах трещит
тулупчик заячий Пугачева.

«От кризиса клонится даже башня в Пизе», –
телек вещает, словно бог Озирис,
но страшнее всех финансовых кризисов
духовный кризис!

Не потому ли требует исповеди
священная наша душа,
из-под компьютера стихи льются искренние,
а не пера гусяного или карандаша.

Александр Сергеевич, Вы нам подмога,
мы с «Телегой жизни» шагаем в булочную.
Александр Сергеевич, это уже не Гоголь:
Вы – человек-будущее!

И пускай впереди будут наши победы,
а Третьим Римом правит криминал...
У каждого времени свои поэты,
но есть поэты
на все времена!

Александр Сергеевич, пусть кому-то и не понравится...
Александр Сергеевич, Вы свой, в доску...
Александр Сергеевич, разрешите представиться...
Садовский.

Элегия

Позвоню с городского на сотовый,
потом с сотового на городской.
В одиночества час высокий
я сумерничаю с тоской.

Я сумерничаю, сумерничаю...
И пойму вселенной изъяны.
А душа моя мечется, мечется,
словно пёс, потерявший хозяина.

В одиночества час высокий
я сумерничаю с тоской...
Позвоню с городского на сотовый,
потом с сотового на городской.

Нижегородский откос

Анастасии

Что ты нюнишь, глаза опухли от слез:
«Жизнь пошла под откос... жизнь пошла под откос...»

Обниму тебя, милая («выше нос!»):
мы идем на спасительный наш Откос.

Мы живем здесь. Здесь предки жили...
И откроется нежный оком русской шири.

И откроется красота запредельная...
А река задрожит – как мурашки на теле.

Засияют глаза синевой вольной Волги.
(Для чего нам досужие кривотолки?!.)

Теплоход плывет, словно кадры кинокартины...
В тишине растворяется белым облаком дивным.

Льется необъятная красота Заречья,
прелесть неизбывная русской речи...

И вдохнем вешней пьянящей свежести...
(Ощути – пусть на миг! – дыхание Вечности.)
И пронзит несуетная тишь теплохода –
до счастливой слезиночки жить охота!

Компьютеры зависают

Фашисты кликушествуют –
антифашистами.

Уход в себя называется танцами.
Легкодоступная, светлая и пушистая,
на элитной выставке-презентации
фотографируется с Никасом Сафроновым.
Идеалы словно иконостасы уронены
или словно ваза хрустальная.
Репрессированные славословят Сталина.
О святом рассуждаем всуе.
Почему нас вопросы мучают
«отчего», «почему», «зачем»?
Почему вдруг самая лучшая
на шоссе в отчаянии голосует?!
Время, дай выплакаться у себя на плече...
Ближе Кстова стал штат Коннектикут,
а послушать стихи некому.
И никак не поймем, отчего
живет в отрыве от сердца чело...
Компьютеры от наших вопросов зависают.
Ищем ответы в телешколе «Вести»,
но знают ли всезнайки ответы сами?

А в небесах
самолетика православный крестик.
инверсионный след,
словно серебряная цепочка.
Безмолвствует (Пушкина вспомним!) поэт.
Отправлена Богу почта.

Ангел-хранитель

*Светлой памяти бабушки моей
Анны Николаевны Болотновой*

Бабушка незабвенная, ангел-хранитель
детства – искреннейшей страны,
мы любви неизбывными нитями
с тобой неразрывно соединены!

И пускай «эта улица – такая-сякая»:
синяки – на коленке, в ссадинах – бровь...

Исцелит все

неиссякаемая

целебная

бабушкина

любовь!

...Учила обращению уважительному:
(неизменно-непременному – Вы)
к одноклашкам и незнакомым жителям
Берлина, Таллина или Москвы.

А когда вдруг застанет в лесу
дождь пронзительный и хрустальный,
тебя повторяя, произнесу:
«Не сахарные — не растаем!»

Парком безоблачным каша манная
затмит все сгущающиеся облака...
Нас хранит любовь безобманная:
крестное знаменье – на «Бабуль, пока».

Избранникам судьбы, Стрельцу ли, Водолею,
не подарки шлет жизнь – испытания.
Я выдержу. Превозмогу. Преодолею.
Это бабушкино воспитание!

Выставка детского рисунка

...Вы, успешно ребенка в себе убив,
шагаете, презентабельны и милы,
ухмыльнетесь слащаво: «Какой примитив!»
Но это мирку непостижны Миры.

Дети с искренностью рукопашной
 рвутся в бой не на Вы, а на Ты...
 Не измерить высокомерностью вашей
 их космической высоты!

Сел аккумулятор? Забилась жизни форсунка?
Обанкротилось защитное воинство?

Выставка
детского
рисунка
целительные
являет
свойства!

На выставке детского рисунка
поют-заливаются соловьи
так, что даже самая несчастная скука
не воет – счастьем радуется и любви!

Будущего политики, архитекторы неба,
открыватели новых вселенных!
Отринуты постулаты «Зрелищ и хлеба!»...
Кроме Чуда, всё параллельно.

Ах, это чудо, удивления чудо –
вечное
ангельское
сердечко!

Не пройдет мечта, как простуда,
на полет не накинуть уздечку!

Удивления счастливого слезы...
Удивленье понять попытайся:
Родина, синее небо, березы
И – полет
улетной
фантазии!

Сергей МИРОНОВ

Родился в 1970 году в Калининграде. Окончил факультет журналистики Санкт-Петербургского госуниверситета. Работал в газете «Вечерний Петербург» и калининградских газетах.

Автор романа «Домочадец», повестей и рассказов, цикла интервью с художниками петербургского андеграунда. Публиковался в журнале «Нижний Новгород», альманахе «Ойкумена», сборниках «Молодые голоса». Лауреат премий имени А. Куприна (2020), «Золотая роза» в номинации «Лучший рассказ» (2020).

Живет в Калининграде.

НА ПЕРЕГОНЕ ЖЕНЩИН НЕ МЕНЯЮТ

– Он у вас такой неусидчивый, невнимательный! На уроках крутится, как волчок. На переменах носится по коридору, недавно завуча чуть не сбил. Даю новую тему – Денис смотрит в окно, ухмыляется. – Роза Васильевна редко хвалила учеников в присутствии родителей. – Взбалмошный растет, задиристый, учится явно ниже способностей.

Дома Напарин получил взбучку от матери.

– Только попробуй еще раз опозорить меня перед классным руководителем, – кричала она и стегала по заднице сына школьным ремнем. – Отхлещу отцовской портупеей.

Этот случай Напарин запомнил надолго, как и то, что Роза Васильевна наболтала о нем много лишнего. В дневнике Дениса почти не осталось места для записи домашнего задания, размашистые замечания и неуды по дисциплине затмили ученический почерк, и вот теперь ко всему прочему Розе Васильевне понадобилось вызвать в школу мать и обвинить его в порче школьного имущества. Тогда группа учащихся испоганила титаном стекла в мужском туалете. За этим занятием живописцев застукал физрук, но Дениса среди школьников, доставленных в кабинет завуча, не было.

Материнская выволочка подействовала на Напарина успокаивающе. Он уговорился. Перестал бесцельно слоняться по коридорам, прекратил обстреливать из простецких рогаток классных звезд в укороченных платьях. Денис отвязал венгерку от ножек циркуля и попытался сосредоточиться на геометрии и алгебре – троек по этим предметам по итогам восьмилетки ему никто не гарантировал.

После длительных родительских нравоучений Напарин брался за ум и дисциплину. Потом снова срывался, влезал в скверные истории. Однажды набросал травы в двигатель трактора, вывозившего металлолом со школьной территории, а как-то, одолжив у соседа на пару дней летающую тарелку, вогнал в нее молотком десяток гвоздей. Он и сам не знал, зачем это сделал. Отец Трофимова, только что закончивший службу в Группе войск в Германии (тарелку он там и купил), пытал Дениса: зачем тот испортил хорошую вещь, которую не найдешь в Союзе? Напарин хотел сказать, что с дырками эта штука смотрится лучше и что плоскому блинчатому изделию не хватает вентиляционных отверстий, но, возможно, впервые в жизни сдержался и промолчал, не выцедив ни слова в свое оправдание. На сей раз вечером он получил портупей от отца.

* * *

Шел 1987 год. Перестройка, попытки партийного ускорения плановой экономики. Хилые ростки провозглашенной демократизации общества, натужная гласность. С Запада повеяло дружелюбием. В Калининград моряки привозили из рейсов пахучую жвачку, парфюм, джинсы, пластинки рок-идолов. Напарин быстро поддался массовой потребительской эйфории, выпросил у отца деньги на пару дисков Ascert и Iron Maden, потом по примеру металлистов отпустил волнистые патлы, отчесал на лоб жидкую челку и за неимением утыканной заклепками косухи подпоясался отцовским офицерским ремнем, нашпигованным оцинкованными винтами.

Десятилетку он не окончил. Родители поняли, что сына проще коротко подстричь и отправить в системное учреждение осваивать рабочую профессию. За Денисом требовался постоянный контроль, а главное, он нуждался в прописанном до мелочей жизненном распорядке. Иначе, решил отец, героически прослушав на дрожащей «Легенде» Metall heart, ребенка можно потерять, такая музыка пробуждает разрушительные инстинкты, агрессию, а там и до приводов в милицию недалеко.

Виктор Иванович пообщался с Розой Васильевной. Сообщил, что сын уходит во взрослую жизнь после получения аттестата о среднем образовании. Классный руководитель ждала оттока неблагонадежных учеников из сплоченного, по ее мнению, коллектива и с радостью пожелала Напарину-младшему доброго пути, а про себя заметила, что вряд ли у парня жизнь пойдет по отцовскому сценарию: организованно и перспективно.

Виктор Иванович подсуетился, нашел приятеля-сослуживца на факультете промышленного рыболовства в средней мореходке и задобрил того незначительной денежной суммой. Этого хватило, чтобы протолкнуть сына в учебное заведение на непрестижную специальность. Быть мастером по ремонту и эксплуатации рыболовного оборудования Денис не стремился, но подчинился воле отца. К восьмому классу Напарин не мечтал ни о чем, кроме обладания новыми записями Judas Priest и Iron Maden. Он даже не особо поглядывал на взрослеющих девочек из класса, а их подчеркнутые округлости были для него всего лишь поводом для насмешек и издевательств.

К прозябанию в «системе» Напарин отнесся с усмешкой. Новую жизнь в замкнутом учреждении он посчитал родительским наказанием за бездарное окончание восьмилетки. Приходя домой в увольнение,

Денис общался с родителями сухо, иногда вызывающе. За мамиными обедами он смягчался, рассказывал о непривычной жизни по распорядку. (И в мореходке Напарин учился посредственно.)

На втором курсе он попал на практику на «Крузенштерн». Впервые Напарин оказался в безбрежной водной стихии, на борту знаменитого парусника. Ничем связанным с освоением учебной специальности в десятимесячном плавании он не занимался. С однокурсниками Напарин отколупывал краску с металлических поверхностей барка, шурил деревянные фрагменты такелажа, драил палубу. Все эти нудные, простые работы он выполнял с легким пофигизмом. Судя по растрескавшейся краске на железяках, практиканты, некогда прошедшие школу «Крузенштерна», не особо усердствовали в освоении малярного ремесла. Но все менялось, когда начинался подъем на мачты с последующим выходом на реи и укладкой парусов. Высота – пятьдесят метров над палубой, адски воющий ветер, скрипучий наклоненный фок. Несмотря на страховочные ремни, Напарина одолевали приступы звериного страха, стоило лишь бросить взгляд вниз, на далекую, почти мифическую палубу. Ну и какая во всем этом романтика? А сколько бодрых книг написано о морских путешествиях, думал Напарин, вешая на нагель бухту с тросом, сколько хвалебных статей напечатано о рыбаках и рекордных уловах! Пожрите баланду из сального камбуза, переживите учебные подъемы на мачты, журналюги продажные, причитал Напарин, мечтая скорее сойти на берег!

В конце плавания он сдал экзамен на матроса. Никчемное вознаграждение за десятимесячные мучения, слабая компенсация за грубые мозоли на почерневших руках и сбитые в кровь колени.

* * *

В 1991-м рухнул СССР. Напарин окончил мореходку. На берегу мастеру по ремонту рыболовного оборудования работу можно было найти только в умирающем порту, в плавающем доке. Заработки в море все еще будоражили умы выпускников морских училищ. Пару месяцев Напарин помаялся без дела, потом вновь обратил взоры в морскую даль. К тому времени Денис уже хорошо знал, что море привлекательно только с берега и особенно – в закатные часы. Еще интереснее оно смотрится в буйстве сочных красок на картинах известных маринистов.

Близились тревожные времена. Может, впервые Виктор Иванович пожалел, что не отправил сына в высшее учебное заведение. Отец ошибочно считал: после развала Союза в СНГ будут востребованы специалисты с университетскими дипломами. Денис был прозорливее вышедшего на пенсию родителя и быстро смекнул, что с пустыми карманами на берегу делать нечего, а значит, придется снова сходить в море, только теперь это будет поход за деньгами; не зря он терпел и корчился от боли, когда загонял под ногти острые куски зашкуренной краски с рангоута «Крузенштерна». То сумасшедшее плавание пошло ему на пользу, он возмужал, болтаясь на реях в обнимку с убранными парусами.

В Северную Атлантику БРТ «Цефей» ушел на промысел трески. В том рейсе Напарин познакомился с Бурениным. Егор был старше Дениса на пять лет, окончил среднюю мореходку в Мурманске. Тралмастер вышел из него толковый. Буренин снимал двухкомнатную квартиру, в прошлом рейсе заработал на дизельный «Пассат», в этом – рассчитывал собрать деньги на свадьбу. Успехи тралмастера Напарина впечатлили.

В Рейкьявике по совету Буренина Напарин купил двухкассетный Sharp с приемником для компакт-дисков и джинсы Super Rifle со вшитыми молниями на задних карманах. В Роттердаме друзья пропустили в пивной по две поллитровые кружки Grolsch. На предложение прилипчивых дам зайти в заведение с развратной вывеской Напарин ответил отказом, но, влекомый активным Бурениным, все же посетил квартал красных фонарей. На корабле Напарин просмотрел несколько серий «Эммануэль» в посредственном качестве. Видеокассет со знойной эротикой у Буренина было достаточно. Раскрепощенность и чувственность Сильвии Кристель восхитили Напарина, но то, что он увидел в районе «Де Валлен», выходило за рамки его представлений о здравом рассудке, а главное, здесь все было в реальности: полуголые женщины в витринах первых этажей, возбуждающие картины предстоящего разврата и толпы озабоченных зевак, ломающих голову, перейти запретную линию или нет? Буренин с легкостью вступил на порог публичного дома, у него была такая традиция: отмечаться в подобных заведениях во время стоянок в крупных портовых городах.

– Не ссы, здесь дают хорошие резинки, – пытался подбодрить он растерявшегося Напарина, – не то что наши – рвутся в неподходящий момент.

С этими словами Буренин исчез в подъезде, искусно освещенном неоновыми трубками. Напарин же с двумя помощниками тралмастера остался на улице, тщетно пытаясь выйти из неприятного оцепенения. Слова осмелевшего Буренина его не убедили. Напарин считал, что подцепить СПИД можно и пользуясь презервативом. К тому же недавно от этой гадости умер Фредди Меркьюри, которого Денис уважал. Последний диск Queen, записанный при участии уже больного, дурно выглядящего Фредди, Напарин приобрел в Рейкьявике.

На рискованный шаг он не отважился. Лишь подивился, с какой легкостью Буренин изменил будущей жене. Тогда в Денисе еще жили идеалистические представления о чести и семье, привитые родителями, прожившими вместе двадцать пять лет.

После рейса Напарин сдал на права и у электромеханика «Цефея» купил «Форд Гранада» в кузове универсал. «Сарай на колесах» ему обошелся в две тысячи долларов: двухлитровый бензиновый движок, литые алюминиевые диски, магнитола Philips. Скоростная мечта в зеленом переливчатом перламутре! На этом «Форде», пропитанном приторным голландским освежителем, Напарин увез с дискотеки Ирину. По средам он ходил во Дворец культуры рыбаков на танцы, искал симпатичную пассию – и наконец-то нашел.

Ирина училась на ихтиолога в институте рыбной промышленности и хозяйства. Для нее Денис был перспективным ухажером хотя бы потому, что ходил в море. Деньги у него имелись всегда, в рестораны он водил подругу постоянно, щеголял в новых джинсах и модных узорчатых свитерах, снял однокомнатную квартиру, а его «Форд», рассекающий вечерние улицы, казался космическим кораблем, приземлившимся в балтийском городе, чтобы затмить авангардным обликом скучные постройки советских времен.

Пословица, блуждавшая в Калининграде в 80-х «Пусть будет муж твой слегка крокодил, главное, чтобы в море ходил» не в полной мере относилась к Напарину. Из подростка-раздолбая он превратился в привлекательного молодого человека, покончил с тяжелым роком, увлекся синти-попом. Коротко подстригся, регулярно укладывал волосы

феном, купил у знакомого фарцовщика косуху из натуральной кожи, внешне старался походить на Дэвида Гэна из *Dereche mode*. Единственное, что осталось в Напарине неизменным, – это резкость и непредсказуемость в принятии решений. Бороться с его вспыльчивостью было бессмысленно. Родители, которые ухаживали за тяжелобольной матерью Виктора Ивановича, больше не приставали к сыну с дельными советами. Бывало, Напарин на полгода выпадал из их поля зрения и появлялся в отчем доме после возвращения из рейса с подарками и бутылкой коньяка из «Альбатроса»*. На Ирину он тратил боны** без сожаления. Копил деньги на свадьбу, но предложение девушке пока не сделал. В ближайшей перспективе Напарин хотел сменить «Форд» на БМВ. Вот что его действительно волновало. Для осуществления этой цели Напарину предстояло еще раз сходить в море.

И он вновь отправился в Северо-Восточную Атлантику. Тогда страну уже разрывали на части гайдаровские реформы. Запивший после развода Буренин советовал другу покончить с морем и найти занятие на берегу. Профсоюз работников порта судился с начальством – зарплату портовикам платили с огромной задержкой, хозяева расплодившихся судоходных компаний выводили капиталы за границу, обманутые рыбаки порой тщетно разыскивали работодателей. Перспектива остаться без денег после шестимесячной болтанки у берегов Гренландии и Исландии Напарина не остановила, он редко менял устойчивые планы.

В рейсе Денис не раз представлял себя за рулем серебристой БМВ пятой серии рядом с изумленной Ириной. Вот они гонят на море, он паркуется на стоянке у пляжа, на него с завистью смотрят приезжие курортники и девицы в сопровождении рыхлых, пузатых ухажеров. Им еще далеко до такого уровня благополучия, а он смог подняться на запланированную ступень комфорта! Смотрите и завидуйте! Ради таких ощущений, почти сценических кадров из фильма о супергерое, стоило вновь потерпеть, как тогда в первом походе на «Крузенштерне».

И он вытерпел этот рейс: циклонические вихри, неважный улов, ржавый пароход под панамским флагом с разобщенным, наскоро собранным экипажем, вдобавок безрадостные новости из России – расстрел парламента разбушевавшимся Ельциным и абсолютно неясное будущее после возвращения на берег.

Летом они сыграли свадьбу. Денис заказал зал в «Атлантике», куда не раз водил вечерами Ирину. Третью обещанных денег за рейс он получил спустя шесть месяцев после обращения в суд. Обозленные на работодателей члены экипажа наняли грамотного юриста, которому чудом удалось выиграть дело.

БМВ Напарин не купил, на серебристого баварца не хватило денег. Год Напарин болтался без работы, потом после смерти бабушки переехал в ее квартиру вместе с Ириной. Они сделали ремонт, но долго в двухкомнатной хрущевке на первом этаже не задержались. Ленинский проспект обрастал магазинами, квартиры и подвалы выкупались новыми русскими с невероятной быстротой. К Напариним пару раз заходили подозрительные личности в сопровождении юристов и риелторов, предлагали продать жилье по цене ниже рыночной, обещали помочь перевести квартиру в нежилой фонд. Денис быстро повелся на зама-

* «Альбатрос» – спецмагазин в Калининграде для моряков заграничных плаваний. Торговал дефицитными импортными товарами.

** Боны – чеки Внешторгбанка СССР, которыми платили зарплату морякам торгового флота.

нуху предпринимателей. Он почти готов был расстаться с завещанным жильем. От авантюрного шага его отговорил отец. Виктор Иванович посоветовал сдать квартиру в аренду. Подкинул денег на бюрократические формальности. Цены на аренду недвижимости в центре города росли каждый год. На Ленинском проспекте открывались ювелирные магазины и бутики, дорогие кафе.

Вскоре в жилище Напариных разместился магазин женского белья и аксессуаров. Лена, снимавшая квартиру по объявлению в газете, приехала в Калининград из Казахстана. Тогда из Средней Азии на Балтику хлынули предприниматели с большими деньгами. Бизнес ее мало чем отличался от поездок челночниц в Польшу и Турцию за ширпотребом, но подача товара была привлекательна. После ремонта квартира превратилась в небольшой музейный зал с антикварной мебелью и дорогими манекенами. Улыбчивые продавщицы корректно общались с посетителями. Товар Лена возила из Италии.

Напарину вновь пришлось снять квартиру, на этот раз в центре. К переезду Ирина отнеслась сносно. Она была в положении, ей хотелось покоя, исчезнувших, простых житейских удобств. В квартире на Ленинском ей жилось хорошо, она знала: завтра никто не выставит их на улицу, и все, что от них потребуется в ближайшее время, – заказать кухню и купить холодильник. Теперь она думала только о предстоящих родах.

Сам же Напарин занялся бизнесом. На новое дело его подбил Буренин, который второй год гонял в Калининград иномарки из Германии. Работало это так. В рекламный еженедельник Буренин подавал объявление: «Пригоню автомобиль из Германии по вашему заказу, растаможу». При удачном стечении обстоятельств один рейс в Германию приносил от тысячи до полутора тысяч долларов. Существовали и риски. Мотаться с большими деньгами через границы было опасно. Часть марок Буренин декларировал в справке на вывоз валюты, часть провозил нелегально, спрятав деньги в потайные карманы под подкладками курток и пальто. Особенно нервозно давались поездки за дорогими машинами. Тут не только можно было лишиться денег на границе, но и нарваться на лихих парней в самой Германии, которые крутились вокруг автосалонов с подержанной техникой, вычисляя покупателей с толстыми кошельками.

В первый свой «наземный» рейс Напарин отправился за дизельным «Пассатом» для сослуживца отца. Запрос клиента был прост: чистая, аккуратная машина с небольшим пробегом и одним владельцем до размещения в салоне. Буренин ехал за «Мерседесом» Е-класса, обязательно черным, с коробкой-автоматом, двухлитровым двигателем. В середине 90-х такие «мерины» считались пределом роскоши. За ними к перегонщикам выстраивались очереди. Обладание шикарным седаном не давало покоя взбудораженным автомобилистам, не пугало их и то, что эти модели часто угонялись и на дорогах всегда были под прицелом гаишников.

В Ганновер друзья отправились на рейсовом автобусе. До центра города они добрались без приключений, потом сели в такси и доехали до малопривлекательной промзоны. Огромная автостоянка, обнесенная провололочным забором, поразила Напарина скоплением всевозможной техники. Вот где бурлила настоящая деловая жизнь! Хозяином стоянки был некий Ойген – переселенец из Казахстана, по утверждению Буренина, русский немец.

Перед выездом за машиной Буренин связывался с Ойгеном по телефону, затем по факсу отправлял заявку на искомый автомобиль. В ответ от продавца он получал факсимиле с фотографией машины и ценой. Далее Буренин утрясал финансовые вопросы с заказчиком.

Годовую шенгенскую визу Напарину выдали в немецком консульстве в Гданьске. В Польше готовый к новым свершениям Напарин прошелся по магазинам. Купил кожаную куртку и по хорошей цене две пары темно-синих Levis. В Денисе вдруг пробудилась жажда к былым приключениям. Тем более теперь он будет работать на себя. Выгода здесь очевидна. Это доказал Буренин, заработавший за полгода на БМВ пятой серии.

Напарин радовался, что вырвался из дома на свободу, и не куда-нибудь, а в Европу! В съемной квартире обитала беременная, занудливая жена, которой мерещилось, что ее муж весь состоит из недостатков и противоречий. Нервировать ее вечерами не было смысла. Напарин постепенно отчаливал от семьи, уходил в новое плавание по лоснящимся немецким автобанам.

Первая сделка прошла успешно. Напарину подобрали ухоженный «Пассат». Денис сам был не прочь обзавестись такой машиной, если бы не навязчивая серебристая мечта, недавно воплощенная в реальность Бурениным.

Оба автомобиля друзья перегнали без приключений, растаможили и по договорам купли-продажи, в которых фигурировала символическая сумма, передали владельцам.

Вскоре у Напарина родилась дочь. Это известие он встретил с радостью, но еще радостнее ему было отправиться в тур за первым «Мерседесом». До этой поездки Буренин «обкатал» приятеля на «Фольксвагенах» и «Ауди», проверил на выносливость к длительным ночным переездам. Напарин закалился в морских походах. Без посторонней помощи он осознал, что настало его время. Вот прямо сейчас можно было взять от жизни все, и даже больше того, что тебе предложат обстоятельства. «Америку сотворили предприимчивые индивидуальности, – повторял Напарин слова Буренина. – Но прежде всего они сделали сами себя».

Беспросветная реальность начала 90-х, выбросившая на обочину жизни тысячи способных людей, Напарина не смущала. У него началась другая жизнь в стороне от давящих потрясений. В этой жизни яркими огням сияли пейзажи ухоженной Германии, но встречались ему на пути и границы, прикормленные таможенники, знакомые лояльные декларанты. Он ночевал в польских транзитных отелях с неплохой на ночь зубровкой, участвовал в импровизированных ралли с Бурениным по автобанам. Напарина подстегивал азарт, направленный на достижение цели, а цель стояла конкретная: заработать деньги, хорошие деньги, которые можно потратить, но большую часть вложить в развитие бизнеса. Денис подумывал открыть станцию замены масел, собирался купить оборудование для шиномонтажного сервиса. Получал он деньги и от сданной в аренду бабушкиной квартиры. Лена приносила наличные вовремя. Иногда Напарин сам приезжал в магазин за деньгами. Дела у «Будуара» шли отлично, продажи росли. Но однажды в «Будуар» наведались братки, и будущее салона показалось Лене не столь радужным и стабильным. Двое верзил сообщили, что берут под охрану Ленинский проспект и, исходя из площади помещения и востребованности товара, озвучили ежемесячную сумму взноса на безопасность – триста дол-

ларов. В момент «наезда» Напарин гнал домой свой первый сияющий «Мерседес» и был неприятно удивлен, когда услышал от Лены неожиданную новость. Сначала Денис встретился с отцом.

– Не вздумай платить, – категорично заявил Виктор Иванович. – Пойдешь на их условия, потом от подлецов не отвяжешься.

– А не заплачу – побьют витрины или подожгут крыльцо.

– Ну и что? Найдешь других арендаторов, – пытался вразумить Дениса отец. – Место в центре города не пропадет.

– Они под крышу берут весь Ленинский, – причитал Напарин. Его геройский пыл куда-то пропал. Денис выглядел растерянным. – Арендаторы предлагают вычитать триста долларов из ежемесячных платежей, если влезу под крышу. Деньги требуют с них.

Виктор Иванович был непреклонен:

– С нечистью связываться нельзя. Сегодня требуют триста, завтра попросят шестьсот.

Через неделю после того, как Напарин передал «Мерседес» заказчику, в «Будуар» снова пришли те же мордовороты. На этот раз они были решительнее, затребовали встречи с хозяином помещения. Повели они себя как истинные джентльмены противоречивой эпохи: еще раз выслушали испуганную продавщицу и пришли к выводу, что платить за спокойную жизнь должен собственник торговой площади. Напарину назначили встречу. Вскоре Денису предстояло ехать за «Ауди» А6. Отправляться в поездку, чуя, что на твои тылы, приносящие весомый ежемесячный доход, вот-вот совершат налет, Напарину не хотелось, и он вновь пришел к отцу.

Виктор Иванович своей позиции не изменил. Более того, он всерьез озадачился решением внезапно возникшей проблемы. Сослуживцы вывели его на некоего Аркадьича, майора-отставника, некогда служившего в управлении по борьбе с организованной преступностью. По словам приятеля Виктора Ивановича, Аркадьич знал всю местную шваль, поделившую город на сферы влияния.

– Вот тебе номер, – отец протянул Денису бумажку с телефоном бывшего опера, – позвони, договорись о встрече. Андрей Аркадьевич – человек в определенных кругах влиятельный, уважаемый. Опиши ситуацию, не забудь отблагодарить.

Вечером Напарин поехал к Аркадьичу. Выезд за машиной был намечен на субботу, откладывать рейс Денис не планировал. Он заранее понадеялся на опера. «Мужик должен помочь, – в надежде шептал Напарин, запихивая в бумажник три стодолларовые купюры, – по рекомендации еду, по звонку от нужных людей».

Аркадьич внимательно выслушал эмоциональную речь Дениса. Ни разу не перебил, не попросил уточнить детали. На маститого правоохранителя он похож не был, скорее, сам напоминал авторитета, отправленного на заслуженный отдых: лысый, толстый, с крупной золотой цепочкой на красной шее, в майке с надписью Adidas, спортивных полинялых штанах, пляжных тапочках.

– Это парни Жоры-медика, – заключил Аркадьич, заметив, что гость его изрядно напуган. – Отпочковались от папы, на баб зарабатывают. Ленинский и весь центр Жора держит. Наезд этот вздор, лепет несмышленных младенцев. – Аркадьич встал с дивана и с умным видом прошелся по комнате. – Едь спокойно по своим делам. Сюда, – он указал на журнальный столик, – положи столько, сколько они просили.

Напарин тут же достал бумажник.

* * *

В Ганновер он отправился с некоторым облегчением, но все же в смятенных чувствах. Перед дорогой его в очередной раз пропесочила жена.

– Дома ты почти не бываешь, в воспитании дочери не участвуешь, – зудела Ирина. – Машенька растет без отца. Пойми, поднимают ребенка оба родителя. – Она всхлипнула. – Устроил себе веселую жизнь! Гонщик за призрачным счастьем! Вот твое сопливое счастье! – Ирина взяла на руки испуганного ребенка. – Неизвестно еще, где ты там шляешься по ночам? В общем, дело идет к разводу. Запомни это.

О последствиях развода Денис предпочел не задумываться. Он все еще верил, что домашние конфликты рассеются сами собой, что родившая женщина всегда чувствительна к семейным неурядицам и потому стоит подождать, когда Ирина успокоится, остепенится. Но если все действительно так серьезно, удерживать ее он не будет. Не особо-то он ее любил, и любил ли вообще? Ну, может, в первый год их романтических встреч, когда к нему прижималась милая девушка, таинственная, теплая, как нагретая грелка. Куда же делся ее застенчивый, кроткий взгляд, куда пропала очаровательная улыбка? Нет больше этих плавных, изящных черт, невесело размышлял Напарин, ангельский лик скрылся под недоброй маской стервозной мамыши.

«Ауди» была хороша. Бирюзовый металлик, кондиционер, коробка-автомат. Мелкие сколы и царапины на лобовом стекле немного смутили Напарина, но он не сомневался, что машина устроит заказчика. «Пробег – восемьдесят девять тысяч, почти девочка, – бормотал Напарин, слушая, как под капотом мерно и тихо шепчет двигатель комфортабельного седана. – Уйдет влёт!»

Буренин гнал дальним родственникам дизельный «Пассат». Перед отъездом на стоянке Ойгена постоянным клиентам заменили масло и антифриз, вымыли машины, прибрались в салонах. Ойген любил делать приятные подарки хорошим знакомым. К нему приезжали перегонщики из Беларуси и Литвы, навевались поляки, вокруг битых автомобилей крутились подозрительные албанцы. Буренина Ойген не раз приглашал в рестораны индийской и китайской кухни. Напарин после нескольких визитов в амстердамские забегаловки тоже полюбил острое. Суп из акульих плавников он заказывал в китайских ресторанах всегда, когда приезжал в Германию. В компании Буренина и Ойгена Напарин освоился довольно быстро. Он понял главное: Ойген не подсунет дрянной иномарки, не впихнет искусно отреставрированного «утопленника», а еще хуже – машину, числящуюся в розыске.

«Еще поездка, – думал Напарин, летя за сотню по автобану за приземистым “Пассатом” Буренина, – и можно будет заказывать серебристого баварца, теперь уже для себя».

* * *

Денис спешил домой. Он хотел скорее встретиться с Аркадьичем и получить гарантии безопасности: больше никаких мордоворотов в бывшей бабушкиной квартире, никаких истеричных звонков продавщиц из «Будуара», напуганных визитом хозяев Ленинского проспекта. Напарин долго шёл к своей мечте, работал как проклятый, ночевал в

дешевых отелях, беспорядочно питался, всегда немного жульничал, хитрил в своем отчаянном ремесле, как и все перегонщики: приплачивал на границе таможенникам, декларантам, инспекторам ГАИ, досматривающим транспорт с транзитными номерами. Скручивал пробег на спидометрах проблемных иномарок, стягивал чехлы с сидений. Бывало, отдавал машину заказчику на штампованных дисках, а снятые легкие – выставлял на продажу, как и чехлы.

Удивительный факт. Ему проще оказалось создать семью, завести ребенка, чем купить престижную жемчужину на колесах. Семья – это вынужденная необходимость, жизненный капкан, тропа к которому бугриста и заманчива, а благополучие – несбыточная мечта многих, особенно тех, кто семьей обзавелся легко и непринужденно и теперь пребывает в нищете и невежестве. Так размышлял Напарин на пути к немецко-польской границе и подумывал, как дальше жить с Ириной. Это подурневшее после родов существо (витиеватые растяжки на ягодицах, поникшая грудь, килограммов шесть избыточного веса) позволяло себе повышать на него голос, громить дело его жизни, закатывать скандалы по мелочам и жаловаться на нехватку денег.

В Швефте друзья зашли в турецкое кафе. Взяли карривурст с картофелем фри. Мехмет – маленький, округлый хозяин быстро с густыми, кустистыми усами – всегда радушно встречал гостей из России. Как-то он вернул Напарину зонт, который тот забыл на вешалке в одну из прошлых поездок. Напарин, хоть и вычеркнул женщин из утвержденного на ближайшее время жизненного плана, все же посматривал на Амину – дочь Мехмета, суевившуюся на кухне. Стройная, худая, с большими карими глазами и накладными ресницами, она на время затмила сварливую Ирину: идеальная модель для портретиста, затерянная в провинциальном немецком городке. Чистый, обворожительный образ безупречной девушки. О такой, посещая злачные места портовых городов, Напарин и не мечтал. Но, видно, мечта трансформируется в нечто иное – малоприятное, – когда ее достигаешь.

До немецко-польской границы оставалось не более часа езды. Буренин выехал на автобан и, как обычно, втопил за сотню. Напарин держался за «Пассатом». Дорога была свободна. Не считая нескольких фур, которые друзья оставили позади, на пути к погранпереходу, Напарин насчитал десяток машин с транзитными номерами. Шанс быстро проскочить границу был вполне реальным. В пяти километрах от пропускного пункта Буренин заехал на парковку. Он проверил документы на машину и пошел в ближайšie кусты по естественным делам. Напарин последовал за другом. Редкий лесок за беседкой утопал в застарелом мусоре: пивные бутылки, окурки, бурые кучки, прикрытые салфетками и туалетной бумагой. Унылый пейзаж, присущий приграничной территории.

Из-за беседки Напарин увидел, как на парковке у его «Ауди» тормознула черная БМВ седьмой серии. Из машины вышли два бритых наголо амбала, покрутились у «Пассата», потом осмотрели «Ауди».

Напарин не закрыл машину. Документы на транспортное средство лежали в бардачке. Паспорт и бумажник были при нем, во внутреннем кармане куртки. Холодок пробежал по телу Дениса.

– Что случилось? – послышался поблизости голос Буренина. – Гости подъехали?

– Да, два жлоба. Я не закрыл машину, – покаянно выдавил Денис. Буренин усмехнулся:

– Просил же быть внимательным. – Он укоризненно взглянул на испуганного напарника. – Деньги, документы, драгоценности всегда бери с собой, машины – на сигналку.

Тем временем круглолицый тип залез в «Ауди», открыл бардачок и вывалил на пол ворох бумаг и пластиковые папки.

– Ладно, пошли, – сказал Буренин и первым направился к парковке. – Внимательно слушай мои команды.

На БМВ стояли немецкие номера.

– Вы ошиблись автомобилем, – буркнул Буренин и остановился в трех шагах от приоткрытой двери, за которой в бумагах копошился краснолицый уродец. Его подельник, менее выдающихся форм, но тоже крепкий, с грушевидным, выпирающим из-под короткой футболки животом, подошел к Буренину.

– Понимаю неопытных водителей, прощаю тех, кто поехал за тачкой для себя или жене игрушку купить, – с вызовом, на чистом русском, заявил он, по-хозяйски сложив на груди руки, – но вы-то парни бывалые, на себя пашете, вам надо быть скромнее. Вот ты, – верзила уставился на Буренина, – сколько тачек продал?

Буренин не ответил.

– Хорошо, зайдем с другой стороны. Сколько вы навернули на эти два тарантаса?

– По два косаря на каждый, – подал голос из салона второй тип, завадевший папкой с документами. – Не меньше.

– Нам пора ехать, дорога длинная, на границе очередь, поляки к тому же любят русских шерстить, – неубедительно проронил Буренин.

– Ладно, оставим вас в плюсе. Готовьте две тонны зеленых, и вы свободны, – выдвинул ультиматум мордоворот из машины. – Это взнос на развитие нашей организации.

Возникла закономерная пауза. В такой отвратительной ситуации Напарин оказался впервые. Даже на реях «Крузенштерна», насквозь продуваемый несносным, ледяным ветром, Денис чувствовал себя увереннее. Там наверху, над бездной Атлантики, он был опоясан страховочными ремнями и знал, что выживет, если сорвется с мачты. Тут же, на приграничной стоянке можно было уповать только на чью-то помощь, но желающих свернуть на парковку не наблюдалось.

Наконец Буренин решил действовать.

– За руль! – крикнул он Напарину и, резко открыв дверь, выхватил из рук налетчика папку. Он звезданул дверью второго здоровяка, но получил сильный удар в скулу и, охнув, присел на корточки. На Напарина, успевшего завести двигатель машины, набросился тип, засевший в салоне.

От второго удара – ногой в грудь – Буренин увернулся и из джинсовой куртки вытащил пистолет. Он вскочил и дважды нажал на спуск. Раздались глухие, четкие выстрелы. Нападавший вскрикнул и упал на асфальт. Буренин кинулся к машине и всадил еще две пули в спину вострепнувшегося душителя Напарина. Потом схватил его за шиворот и выволок из салона. Тело грохнулось на землю. Нападавший, как и его подельник, корчился и стонал от боли.

– Скорее, валим отсюда! – скомандовал Буренин, кинул папку в салон «Ауди» и бросился к своей машине. – Гони за мной!

Напарин вжарил за «Пассатом». Обалдевший от такого поворота событий, он летел по автобану в животном экстазе, покашливал и чесал указательным пальцем разгоряченную шею. Кадык, придавленный

толстыми, потными пальцами вымогателя, был на своем месте, но неприятно ныл и пульсировал.

– Вроде он их не убил, – шептал Напарин и поглядывал в зеркало. В двухстах метрах за ним ехала фура. – Крови не было. Похоже, из травмата стрелял. Откуда у него пушка?

Опасаясь, что у погранперехода их накроют представители преступной организации, Буренин свернул на проселочную дорогу.

Границу они пересекли в другом месте.

Теперь Напарин знал, что за приграничной парковкой, в лесу, Буренин оборудовал тайник. Что там хранилось еще, Денис не спросил.

* * *

Дома Напарина ждали грустные новости. Ирина с ребенком уехала в область к матери. В пустой квартире было чисто, прибранно – редкое явление последнего года их нервной жизни. Никаких записок, никаких изливающих душу объяснений очередному глупому поступку супруги Напарин не обнаружил. Этого демарша он не ожидал. Ему куда привычнее было схлестнуться с женой по нелепому пустяку, чем сидеть в кресле перед выключенным телевизором, пить пиво и смотреть на пустую детскую кроватку.

«Ничего, перебесится и вернется, – утешал себя Напарин. – А может, придется за ней съездить». Последняя фраза фальшивой ноткой прозвучала в его сознании. Он так и не определился, нужна ли ему Ирина вот такая, какая есть: неистовая мать и сверхтребовательная жена. При этом Напарин не задавался вопросом: а нужен ли ей он, всегда спешащий по делам, неделями не бывающий дома, забывший, что женщинам дарят цветы и, бывает, дорогие подарки. Напарин и в семейные отношения внедрил деловой этикет. Бизнес требовал неминуемых жертв, временных и физических затрат. Напарин жег себя в рабочих перебранках, разборках с клиентами и чиновниками, постепенно уничтожал себя, как топливо в баке на пути из Германии в Россию. Но понять этого он не мог. Слишком свежи и объемны, на удивление живучи были его впечатления от поездок за дорогими машинами, а Ойген казался ему воплощением идеального бизнесмена, зрачки которого наливались завидным азартом при виде текущей в сейф американской валюты.

Утром Напарин поехал к Аркадьичу. Тот только встал, выглядел заспанным и по обыкновению неопрятным: майка с надорванным вырезом на животе, складчатые, заляпанные жиром спортивные штаны, растоптанные сланцы.

– По какому вопросу пожаловал? – тихо спросил Аркадьич и налил в замызганный чайник воды из пластиковой бутылки.

Напарин насторожился.

– Насчет наезда на магазин. Обещали уладить проблему, – озвучил он цель визита. – Вчера звонил, вы сказали подъехать.

Аркадьич вытащил из холодильника палку вареной колбасы неприятного пепельно-розового цвета и длинный сморщенный огурец.

– А, ты про медиков, – буркнул он инфантильно в усы, – забудь про них. Пусть девки спокойно работают. Позвони через месяц.

Похоже, Аркадьич действительно решил этот вопрос. Нежданные гости «Будуар» больше не посещали, не считая налогового инспектора из отдела кассовых аппаратов и потерявшегося на Ленинском скулящего спаниеля.

Чтобы передать «Ауди» заказчику, Напарину пришлось повозиться с передней дверью. Вмятину ему выкатили неплохо, краску подобрали идеально. Машину Напарин продал, хоть и нервничал накануне сделки – недочеты в работе рихтовщика все же присутствовали.

Наконец он собрал нужную сумму на автомобиль мечты. Денис позвонил Ойгену и заказал БМВ седьмой серии. Запросил дорогую комплектацию. Попросил найти машину с минимальным пробегом, естественно, из рук одного владельца.

Ирине он звонил дважды. Она была непреклонна. Возвращаться в Калининград не собиралась. Съемная квартира ей опротивела, Напарин раздражал уехавшую супругу все больше и больше. И главное, он ничего не предлагал, чтобы воссоединить семью. Был таким же бездушным и поверхностным, зато все глубже проникал в тонкости автобизнеса.

Перед выездом за БМВ Напарин позвонил Аркадьичу.

– В этом месяце гостей не было, – сообщил он радостно бывшему оперу.

– Я же сказал, работайте спокойно. – В голосе Аркадьича неожиданно проклюнулся деловой тон. – Готовь двести зеленых. Беру тебя под охрану. Когда платить будешь: в начале месяца или в конце?

Напарин обалдел, но все же нашел в себе силы ответить сдержанно. Недавний случай с пальбой у немецко-польской границы кое-чему его научил: быть хитрее и расчетливее. И не бояться мерзавцев, усложняющих тебе жизнь.

– Я подумаю, перезвоню, – сказал Напарин.

– Думай быстрее. Время пошло, – бодро предупредил Аркадьич.

Напарин вновь обратился за помощью к отцу.

– Вот кому тут верить? – в недоумении развел руками Виктор Иванович. – Ты его отблагодарил за помощь?

Денис вышел на балкон. Закурил.

– Конечно. Дал столько, сколько он попросил.

Напарин почувствовал, что затерзал отца житейскими проблемами. Родители тяжело переживали его разлад с Ириной. Просили уладить конфликт, подумать о судьбе брошенного ребенка. И все еще надеялись, что сын поступит на заочное отделение в технический вуз.

– Значит, он поставил тебя на счетчик, – заключил Виктор Иванович. – Благотель хренов. В общем, так. Никаких денег ему не давай. Общение с ним прекрати.

Через три дня, разуверившись в сознательности клиента, Аркадьич сам позвонил Напарину. Следуя инструкциям отца, тот не ответил оперативнику. Проигнорировал он еще несколько вызовов Аркадьича. Назревал визит благодетеля в «Будуар». Это Напарина сильно тревожило. Он опасался, что счетчик Аркадьич переключит на хозяйку салона. Если это случится, Лена точно расторгнет договор аренды.

Отец снова помог сыну. По своим каналам он раздобыл телефон высокопоставленного сотрудника городского УВД. В назначенный час Напарин сидел в кабинете у строгого, энергичного подполковника.

– Очень жаль, что наши ряды порочат такие двуликие личности, – сказал принципиальный офицер, как бы извиняясь перед Напариним. – Активно боремся с организованной преступностью, а тут свои же подрывают доверие граждан к правоохранительным органам. Сейчас вам принесут фотографии. Если среди наших сотрудников, уволенных в запас, найдете вашего душителя, пишите заявление. Положите его на мой стол.

Подполковник пожал руку Напарину и вышел из кабинета. Вскоре в дверях появилась девушка. Она принесла толстую папку, в которой хранились фотографии и выдержки из личных дел сотрудников местного УВД. Среди множества фотографий Аркадьич нашелся быстро. На черно-белом снимке он выглядел моложавым и целеустремленным борцом с общественными язвами. Таким он, возможно, и был, пока страну не охватил хаос 90-х.

Напарин написал заявление. В тот же вечер Аркадьич, которого еще не настигло возмездие бывших товарищей, появился в «Будуар». Держался он нагло, требовал номер Лены, интересовался Напариним.

Больше Денису он не звонил.

* * *

Ойген долго искал автомобиль Напарину. Желание постоянного клиента обзавестись машиной премиум-класса по демократичной цене расходилось с предложениями на вторичном рынке. Напарину предстояло прилично потратиться. Сначала, получив по факсу письмо от Ойгена, он задумался, решил поехать в Германию и прошвырнуться по другим авторынкам, но потом посоветовался с Бурениным и принял условия продавца.

Дорогое приобретение вознесло до небес деловой статус Напарина. Невольно он ощутил собственное величие, но нашел в себе силы спуститься на землю, постарался быть проще в общении с людьми и внимательнее к близким. Ирина к последним все еще относилась.

В преддефолтный 1997 год дела у Напарина шли особенно хорошо. Из Ростова в Калининград начал курсировать паром. Водители Ойгена несколько раз в месяц мотались в порт, загоняли на паром не только легковые машины, но и микроавтобусы. Вскоре в ход пошли эвакуаторы и малотоннажные грузовики. Буренин продал частным перевозчикам несколько пассажирских автобусов. Вслед за другом Напарин открыл шиномонтажную мастерскую. Обзавелся он и маленьким офисом. Из металлопласта соорудил в боксе перегородку, за ней оборудовал рабочее место. Купил оргтехнику, стол, удобные кресла. Повесил вывеску. Здесь в присутствии потенциальных клиентов он связывался с Ойгеном, подписывал договоры, принимал наличные.

Напарин полагал, что возросшая прибыльность его дела сохранит треснувший брак. Но это было не так. Ирина нуждалась в небедном мужчине, но в первую очередь она требовала супружеского внимания. Ей постоянно мерещились мифические измены Напарина, ей чудилось, что он пресытился ею как женщиной и потому скрывался от нее в рабочих поездках, предпочитал проводить время с друзьями вместо того, чтобы гулять с дочерью и уделять время жене. Наконец Ирина не выдержала и написала заявление, взбешенная еще и тем, что Напарин приобрел вторую шиномонтажную мастерскую вместо того, чтобы купить квартиру, свою, светлую и чистую, в которой им, может, и улыбнулось бы семейное счастье. Вот так он её любил!

Напарин не особо расстроился, выйдя от мирового судьи. Огорчился он позже, когда Ирина подала на алименты. Случилось это в 1998-м, в год массового обнищания населения, пустых полок в магазинах, нового разгула преступности. Поездки за машинами прекратились, паром приходил в Калининград полупустым. Шиномонтажные мастерские Напарина худо-бедно существовали, но шины известных производителей

он больше на реализацию не брал, ими никто не интересовался. «Будуар» тоже стойко выживал на теряющем популярность Ленинском проспекте. Часть арендных денег Напарин отдавал Ирине. Через год тяжело заболел Виктор Иванович. Напарину пришлось постепенно спускать валютные сбережения на лечение отца. Виктор Иванович умер в январе от рака, грустно поприветствовав на больничной койке начало нового тысячелетия. Потерю отца Денис переживал долго. После его ухода он особенно сильно осознал, что не стал для родителей образцовым сыном, не смог, а точнее не захотел, получить достойное образование, по сути, развалил молодую семью и последние годы донимал отца своими проблемами, которые тот безотказно решал, используя старые, наработанные каналы.

Теперь Напарин мог обратиться за помощью только к Буренину. И тот помогал. Не деньгами – советом. Мастерские Напарина не теряли клиентов благодаря грамотным рекламным вложениям. Буренин убедил друга не продавать оборудование, просил переждать трудные времена, говорил, недалек тот час, когда они снова отправятся за машинами.

* * *

В 2001-м они поехали в Германию. В Ганновере их ждали два роскошных «Мерседеса». Новое поколение Е-класса стремительно набирало популярность. В области этих моделей было не так много, и спросом они пользовались повышенным. В послекризисные годы любители люксовых седанов не отказывали себе в планах обзавестись флагманами немецкого автопрома.

После первых удачно проданных лупоглазых* друзья начали завозить «Мерседесы» паромом. Так было удобнее и дешевле. Исчезали риски, связанные с перегонем дорогих машин: приграничная суета, таможенный беспредел, все еще активные банды вымогателей. Декларации теперь оформляли прямо в порту, там же растаможивали транспорт. В фирме, занимавшейся декларированием грузов, Напарин познакомился с Ларисой. Он не собирался вновь приударить за девушкой – его еще будоражили воспоминания о расставании с Ириной, к тому же за последние два года Напарин привык обходиться без женщины. Личная свобода ему была дороже натянутых семейных отношений. О существовании тесных уз между мужчиной и женщиной, взаимной преданности Напарин имел довольно размытые представления. Пример Буренина, жившего третий год гражданским браком с давней подругой, и вовсе разуверил Дениса в целесообразности создавать семью. Об этом же ему говорил сам Буренин. Он советовал другу не лезть в семейные авантюры, пока тот не встанет на ноги после краха семьи.

Жениться Денис не собирался. Однако обстоятельства складывались так, что Напарин постепенно сближался с Ларисой, а попользоваться и бросить девушку, которая стала ему не только подругой, но и помощницей, он не мог. Вскоре Лариса приросла к Напарину окончательно. Выпроводить ее из съемной квартиры, где все еще витал противоречивый дух Ирины, он даже не пытался. Его вздорная теория рушилась

* *Лупоглазых (лупатых, глазастых)* – второе поколение автомобилей Е-класса марки «Мерседес-Бенц», 1995–2003 гг. Характеризовалось объемными выпуклыми фарами, отсюда народное название.

на глазах, он снова был во власти женщины, но продолжал находить этому разные удобные объяснения: Лариса нужна ему для работы, свой декларант, имеющий знакомства в портовой таможне, пришелся бы кстати любому перегонщику. И потом, его брак просуществовал четыре года, а эта связь – пока только увлечение, взаимная симпатия, не прошедшая испытание временем.

Напарин делал все, чтобы оттянуть совместный визит в загс. Его случай был поверхностно похож на историю счастливых, доверительных взаимоотношений Буренина и его пассии, но в отличие от спутницы жизни приятеля Лариса хотела замуж. Однажды до Напарина дошло, что в любви не бывает незавершенности. Это как в бизнесе: сделку нужно довести до конца, иначе вложения не окупятся.

– Ты обещал на мне жениться, – часто напоминала Лариса. В этих словах присутствовал пока легкий упрек.

Ее желание Напарин возвел в ранг запросов клиентов – им он всегда гарантировал подогнать отличный автомобиль. Если машина не устраивала клиента, зависала на парковке и Напарин искал другого покупателя, снизив цену до минимального интереса, значит, проблема была в нем – нерадивом поставщике, пожелавшем извлечь двойную выгоду из подпорченной иномарки. Сожительствуя с Ларисой, Денис понимал, что, с точки зрения подруги, он и есть тот самый импортер халтурных услуг, пустых надежд и обещаний, но в отличие от клиентов, забравших его предложения, Лариса его терпит. Похоже, это и есть любовь. После нескольких фатальных знакомств с темными личностями, о которых Лариса рассказала Напарину, ее вновь потянуло к мужчине. А что его притянуло к ней? В свои лучшие годы Ирина была поинтересней простоватой Ларисы. Этой не хватало женского изящества и обаяния, не было в ее рыхловатой стати бесспорных притягательных мест, а было всего понемногу, в меру обыденного и усредненного: круглое в мелких прыщиках лицо, грустный взгляд (или Напарину так казалось), широкие плечи и бедра, маленький бюст. Однозначная склонность к полноте. И зачем он за ней увязался? Не потому ли, что она понадобилась ему в самый ответственный момент, когда его бизнес очнулся после нескольких лет застоя? Быть деловым без тесных связей с женщиной не получится. Это Напарин признал, как и то, что избавиться от Ларисы он уже не сможет.

Свадьбу они не играли. Расписались, сходили в кафе. Через пару дней Напарин взял Ларису с собой в поездку за пассажирским «Вито».

В Ганновере их поздравил располневший, одутловатый Ойген. По случаю знаменательного события он сводил гостей в китайский ресторан, где щедро посорил деньгами в честь молодоженов. Лариса сияла от радости. Наконец она почувствовала себя желанной, рядом с ней был деловой муж, которого уважал состоятельный, надежный поставщик, и сами они оказались в лоне цивилизации, наслаждались ранней осенью, вкусным пивом и разлившимся в воздухе теплом.

* * *

В каждом деле есть высшая точка, апогей успеха, признания. Потом неизбежен спад. Знал ли Напарин, переживший смуту дефолтных времен, что его бизнес вновь захиреет? Но он не смотрел вдаль. Привыкший жить в постоянной возне с перегонами машин и их подготовке к продаже, Напарин проморгал тот момент, когда уставшие ремонтировать

четырёхколесный хлам автомобилисты пересели на новые иномарки из салонов. Буренин тоже не ожидал такого автобума. Друзья не думали, что горожане массово залезут в кредиты ради дорогих приобретений у автодилеров.

К моменту захлестнувшего город автопсихоза Напарин продал бабушкину квартиру («Будуар» закрылся, не выдержав конкуренции с большими торговыми центрами, построенными вблизи Ленинского проспекта), продал одну мастерскую и купил трехкомнатную квартиру. Денег хватило и на ремонт. Он продолжал мотаться за машинами, кое-что загонял на паром, пытался перегонять спецтехнику, но вскоре ее стали приобретать в лизинг. В месяц Напарин продавал по две, по три машины, как в середине 90-х, в пору становления совместного с Бурениным бизнеса.

Жизнь дала ему шанс сосредоточиться на семье. Но Напарин не был семейным человеком. Им владели глобальные идеи, которые обитали вне дома. Спать Денис ложился с мыслями о новом деле. Но чем заняться, он не знал. Перспектива снова уйти в море его не радовала. Досаждали и замечания Ларисы по поводу его профессиональной ограниченности.

– Ты бы придумал что-нибудь другое, – настойчиво пилила его вечерами Лариса. – Люди берут кредиты, начинают перспективные проекты. – Она любила стусить краски: – Посмотри, на кого ты похож? Худой, взвинченный, бомжеватый предприниматель. Что тебе ни посоветуешь, ты все отрицаешь. Уметь надо слушать умных людей. Тебя погубит самоуверенность. Время толкать людям немецкий навоз прошло.

Напарин действительно стал раздражительным. Его нервировали разные мелочи: царапины на лобовом стекле после установки новых китайских дворников, голодные собаки во дворе мастерской, пешеходы, норовящие проскочить перед машиной в неположенном месте. К Ларисе он прислушался, но выводов никаких не сделал. До крутого бизнесмена он не дорос, был все тем же отчаянным перекупщиком-перегонщиком из 90-х, которому каждая неудачная сделка изрядно опустошала карманы, отнимала уверенность в своих силах, изнуряла. Выглядел Напарин не лучшим образом. Неопрятный, в замызганных джинсах и поношенной обуви, пропахший моторным маслом и выхлопными газами, он тем не менее ездил на глазастом «Мерседесе» и с завистью посматривал на обтекаемые модели «Даймлер-Бенца», выставленные напоказ в недавно открывшемся дилерском центре. Как же трудно было угнаться за этими стремительными соблазнами! Их выкидывали на рынок так часто, что владельцы недавно купленных автомобилей, не успев пресытиться недавними приобретениями, думали о том, как от них избавиться и пересест на глянцевого ласточки, рекламируемые на городских билбордах. О том, чтобы сменить машину на более совершенную, Напарин не мечтал, залезать в кредиты он пока не хотел. Он пытался просто выжить, при этом обещал Ларисе поправить дела и вернуться к достойным заработкам. Первый брак все же кое-чему его научил: женщина терпит, ждет обещанного, пока несбыточные обещания мужа не покажутся ей обыкновенным враньем; вот тогда, в один из приступов умопомешательства, она хлопнет дверью. В принципе, ничего страшного, если не считать последующего раздела имущества, приобретенного в годы супружеской жизни. «Любовь заканчивается быстро, – рассуждал Напарин, – если чувства не подпитывать деньгами. Любовь надо растить, закапывать в ее основание

звонящие монеты, иначе теплые чувства разобьются о реалии быта». Иногда Напарин вспоминал Ирину и дочь, которую не видел больше года. Глупая вышла история: он лишился семьи, чтобы спустя два года после развода поставить под угрозу существование новой.

Напарин вконец утомился от навязчивых житейских схем: муторные будни в мастерской, ссоры с Ларисой, редкие поездки за машинами в Германию, нерегулярные выплаты алиментов. Он недавно начал переводить деньги Ирине, но как-то быстро выдохся, не прочувствовал, что теперь это его первостепенная гражданская обязанность; дважды Напарина вызывали к судебному приставу-исполнителю, но оба раза ему удалось накормить обещаниями молодую девушку, и его оставили в покое. Ненадолго он все-таки исправился, а потом снова бросил платить. Жил Напарин на постоянном надрыве, на хрипящих оборотах загнанного движка, как будто всунутого в его потрепанное существо.

* * *

Неожиданно ему подвернулся отличный заказ.

Буренин, наконец почувшавший, что с перегонами подержанных иномарок пора завязывать, залез в долги и купил три пассажирских микроавтобуса, которые запустил на городские маршруты. При этом он продолжал владеть тремя шиномонтажными мастерскими, у Напарина осталась одна. Среди клиентов Буренина были состоятельные бизнесмены. Некоторых он знал давно, с середины 90-х. Один из них – Ахмед, владелец сети продуктовых магазинов (ему Буренин подогнал как-то «Гелендваген»), – искал дорогой подарок зятю, а именно «Хаммер». В этот раз жмотливый Ахмед готов был посорить деньгами ради мужа любимой дочери.

В отсутствие клиентов из России Ойген переключился на поставки техники в Среднюю Азию и на Ближний Восток. Он удивился неожиданному запросу Буренина, взял длительную паузу и подыскал требовательному покупателю хорошую машину по приятной цене. Друзьям он предоставил отличную возможность заработать на этой сделке. Буренин накинул на дорогой товар приличную сумму – свою и заработок Напарина, которому предстояло перегнать «Хаммер». Учел он и то, что Ахмед будет торговаться, запросит существенную скидку; поначалу, услышав заявленную стоимость автомобиля, может исчезнуть на какое-то время.

Ахмед действительно исчез, но всего на два дня, а явившись к Буренину в мастерскую, выторговал чисто условную скидку – пятьсот евро. Машина ему понравилась, удивить зятя умопомрачительным презентом ему было необходимо.

В Ганновер Напарин поехал в приподнятом настроении. Наклонилось доходное дело (таких денег за доставку машины ему никто пока не предлагал), наконец появилась возможность вырваться на свободу, отогнать зудящие мысли о будущем новой семьи. Напарин уже понимал, что, не изменившись радикально, Ларису он удержать не сможет. Но каждый раз, когда ему начинало фартить, Напарин надеялся на продолжение кратковременной сказки: еще немного стоит подождать, помучиться, и бизнес наладится. Все будет так, как тогда, в хлопотливых 90-х. Но время шло, а он топтался на месте, и все, что у него худо-бедно получалось, – это поддерживать собственную жизнеспособность, нерегулярно платить алименты, поверхностно ухаживать за больной матерью.

Иногда он баловал Ларису подарками и цветами и сам понимал, что делает это лишь для того, чтобы на время отвлечь ее внимание от их шаткого, безрадостного положения.

Возможно, ему нужно было послушать отца и получить высшее образование. Но и сейчас, глядя из окна рейсового автобуса на игрушечные, аккуратные поля Нижней Саксонии, Напарин сомневался, что ему следовало поступить в технический вуз. Во-первых, он бы наверняка завалил вступительные экзамены, а если бы чудом (или при помощи отца) его зачислили в институт, то он вряд ли бы дотянул до дипломной работы – слишком много соблазнов таили 90-е. В те годы жизнь пришла в хаотичное движение, многие рисковали и сколачивали состояния на полукриминальном бизнесе. Рискнул и Напарин, но больших денег не заработал. Однако почувствовал себя уверенным предпринимателем. Он пожил импульсивной жизнью, вкусил прелесть ночных гонок по автобанам, оценил коварное женское общество, скрепленное узами семьи. Теперь ему предстояло начать жить по-другому. Но как – Напарин не знал. Он был продуктом иной, противоречивой эпохи.

Ойген встретил Напарина дружелюбно, как старого доброго знакомого. Про машину заговорил позже, сначала расспросил Дениса о новых реалиях жизни в России. Более всего его интересовало, почему в Ганновер перестали приезжать перегонщики? Рынок подержанных автомобилей, убеждал Ойген Напарина, находится в Германии в устойчивом, привлекательном состоянии. Купить двух-трехлетнюю машину на его стоянке было намного выгоднее и дешевле, чем взять ту же модель в кредит из автосалона. А значит, в России должен быть спрос на хорошие автомобили с небольшим пробегом. Ойген не знал, что спрос отныне диктовал иной, видоизменившийся рынок, который подмяли под себя крупные дилеры.

Черный глянцевого «Хаммер» H2 давно ждал Напарина. На таком чуде он еще не ездил. Брутальный экспонат американского автопрома, по всем параметрам годный для кавказского лихача. Претенциозный и наглый, туповато-угловатый. Нечто более весомое, чем «Лексус» и «Мерседес», воплощение солдафонской крутизны для тех, кто по финансовым возможностям недотягивает до «Бентли» и «Роллс-Ройса».

– Может, эти машинки у вас пойдут? – вежливо поинтересовался Ойген, глядя, с каким любопытством Напарин рассматривает салон «Хаммера».

– Даже не знаю, – ответил тот неопределенно. Внутри машина Напарину понравилась. Салон – вагон, стойкий запах свежей кожи, ощущение невероятной мощи, передающееся от машины к водителю.

– У нас эти танки спросом не пользуются, – сказал Ойген. – Шестилитровый двигатель, безумный расход топлива в городском цикле. Но русских, кажется, этим не напугаешь. Им главное – престиж.

Напарин задумчиво обронил:

– Попробую поработать с этой моделью.

На следующий день он погнал машину к немецко-польской границе. Ощущения были невероятны. Триста лошадей с легкостью двигали четырехколесную крепость. Вызывающе ревел мотор. В этом яростном гневном звучала вся мощь оголтелого движка. Казалось, ресурс адской энергии под капотом был безграничен. На обгонах Напарин добавлял обороты и с легкостью обходил фуры, которые летели за сотню.

Пужинал он в Шведте, в арабском кафе, куда его впервые пригласил Буренин. Взял карривурст, картофель фри, овощной салат. Выпил

американо. Хозяйничала на кухне Амина – дочь Мехмета. Она была все так же хороша и привлекательна, как в тот визит в кафе, когда Напарин впервые увидел ее, помогавшую отцу обслуживать клиентов. Амина не узнала Дениса. Он ей понравился: простой улыбчивый гость, прикативший на большой, грозной машине. Амина дала Напарину на дорогу большой американо в бумажном стакане и яблочное пирожное, пожелала хорошей дороги. Деньги брать отказалась.

Последнюю остановку перед границей Напарин сделал на той же парковке, где Буренин сбил нападавшего с ног выстрелом из пистолета. Стоянка была пуста. Напарин сходил в лес по мелким делам, допил кофе, еще раз внимательно просмотрел документы на машину. Тайника Буренина он не нашел. Польшу Напарин хотел проскочить ночью, чтобы утром попасть в Россию, заехать на автомойку и поставить машину в мастерской Буренина, там ее должен был осмотреть Ахмед. К границе шли в основном фуры. Пролетело несколько микроавтобусов. Легковые машины мелькали изредка. «Похоже на то, что задержки на переходе не будет, – подумал Напарин, – если только не докопаются таможенники».

Он сел в машину и поехал. Помня про пакости недоброжелателей в этих краях, Напарин периодически посматривал в зеркала заднего вида. За ним не было никого. Смеркалось. Солнце оранжевым шаром висело у горизонта, иногда пряталось в лесном массиве и мелькало мелкими яркими фрагментами в плотном частоколе высоких деревьев. Напарин разогнался до ста шестидесяти. Он вновь почувствовал себя уверенным и свободным, он снова был тем же взбалмошным гонщиком из 90-х, не знавшим усталости на ночных трассах. Погранпереходы Напарин считал легким препятствием в искрометной игре с людьми в униформе. В этом противостоянии он всегда выходил победителем. Справится с новым вызовом он и сейчас.

Напарин уверенно гнал к переходу. Садившееся солнце слегка слепило Дениса. На бронзовеющий шар хотелось смотреть и не отводить глаза от его раскаленной приплюснутой сферы. Вот так же с безумной высоты наклоненной реи он когда-то наблюдал, как солнце, по контуру обведенное огненными всплесками, медленно погружалось за ленточку спокойного, чистого моря. Засмотрелся на солнце он и сейчас и не заметил, как черная, крупная тень выскочила из леса и метнулась прямо к капоту машины. Напарин врезал по тормозам, но столкновения не избежал. Лобовое стекло смяла туша здорового зверя, подброшенного массивным передом «Хаммера» на крышу автомобиля. Сзади раздался мощный удар – это фура, уходя от столкновения с затормозившим «Хаммером», приложила к нему крылом. Напарина обволокло подушками безопасности, одну из них прорвали рога оленя. Потом машину било об отбойник, бросало на дорогу и вновь прижимало к отбойнику. Напарин держался за руль, но обуздать неуправляемую массу металла уже не мог и лишь в тихом отчаянии, без эмоций и всяких надежд, поглядывал на полукружие утопающего за полем солнца, окрашенного в пурпурный, местами приглушенно гранатовый цвет.

Андрей ПУЧКОВ

Родился в 1963 году в посёлке Хандальске Красноярского края. После демобилизации из Советской армии служил в МВД в должности оперуполномоченного уголовного розыска. В 2006-м вышел в отставку.

Рассказы публиковались в журналах «Нижний Новгород», «Север», «Молодая гвардия», «Сибирские огни», «День и ночь», «Енисей», «Сура», «Аргатак», «Гостиная» (СПА) и других, а также в коллективных сборниках и альманахах. Живёт в г. Сосновоборске Красноярского края.

ЗНАМЯ

На первый взгляд они были самые обыкновенные. Точно так же, как и другие ребята, играли, качались на качелях, бегали, прыгали, баловались. Однако временами начинали вести себя не так, как должны вести себя обычные дети. Начать хотя бы с того, что они старались держаться поближе друг к другу. Но мало ли как бывает... Может, жили в одном дворе и, попав в незнакомое место, старались быть друг к другу поближе.

Необычным было то, что они иногда замирали на месте и начинали прислушиваться, тревожно озираясь по сторонам. И если, не дай бог, в это время где-то раздавался громкий звук, неважно, какого происхождения, они как по команде срывались с места и бежали к подвалу.

Поначалу, когда дверь в подвал была закрыта и дети не могли в него попасть, у них начиналась истерика. Так продолжалось до тех пор, пока я не распорядился оставлять дверь в подвал открытой.

Этих детей в наш детский дом привезли месяц назад из разрушенного войной Мариуполя. Они были круглыми сиротами. Потеряли родителей.

Они привыкли бояться. Их мозг, манипулируя страхом, помогал им выживать там, где даже взрослому человеку приходилось туго. И чтобы рассудок оставался нормальным, природа милосердно приглушила боль от потери родных людей, загнав осознание этого на задворки разума.

Некоторые из них вообще без взрослых неизвестно как выжили в подвалах разрушенного города. Поначалу их расселили в разных группах, поделённых на семьи, но ничего не вышло. Каким-то непостижимым образом вновь прибывшие в течение двух дней вычислили друг друга и стали держаться вместе.

Я точно знал, что большинство из них раньше друг с другом даже не были знакомы. Из двенадцати детей только трое знали друг друга — их обнаружили в одном из подвалов дома, где они прятались, питаясь чипсами и сухариками, которые набрали в разрушенном неподалёку магазине.

На ночь дети собирались в одной из семей и наотрез отказывались расходиться. После этого мне пришлось выделить для них отдельное помещение и создать семью, состоящую только из этих ребят. Но самым кошмарным было то, что на ночь они забирались спать под кровати.

Никакие уговоры не действовали, ничего не помогало. Наши психологи с ног сбились, пытаясь найти к ним подход. У меня уже стали появляться мысли, чтобы поселить их в подвале...

В дверь кабинета постучали.

– Войдите! – откликнулся я.

– Здравствуйте, Алексей Николаевич! – вприпрыжку в кабинет старший воспитатель Вера Андреевна, или Верочка, как за глаза называли её воспитанники детского дома. – Алексей Николаевич, баба Надя... простите, Надежда Ефимовна, – смущённо поправилась она, – просит, чтобы мы сегодня разрешили ей, перед тем как укладывать детей спать, поговорить с мариупольской группой...

– И о чём же она собирается с детьми говорить?

– Я не знаю. Она не сказала, – растерянно пожала плечами Верочка. – Она давно работает, может, у неё получится как-то повлиять на них?..

Это правда, Надежда Ефимовна работает воспитателем давно. Можно сказать, с детства. Она всегда работала с детьми, другой профессии у неё нет. Недавно ей исполнилось семьдесят пять лет. Однажды, когда её в шутку спросили, не собирается ли она оставить свою хлопотную работу, она ответила, что ещё слишком молода, чтобы отдыхать на пенсии.

– Ну что же, пускай попробует, – согласился я, – плохого точно не расскажет.

– Так, хорошие мои! – раздался из-за двери негромкий голос бабы Нади. – Давайте-ка все напротив меня устраивайтесь, пока время есть, я вам хочу одну историю рассказать.

Я воровато осмотрелся и, поняв, что в коридоре никого нет, наклонился ухом поближе к двери.

За дверью раздался галдёж и закрипели кровати.

– Ну вот, вижу, разместились, – довольно проговорила баба Надя и вдруг со смешинкой в голосе добавила: – Осталось только нашего уважаемого директора позвать, который стоит за дверью! Надеюсь, вы не будете против, если он вместе с вами послушает?

Чертыхнувшись про себя, я толкнул дверь и вошёл в комнату.

Как и ожидалось, все дети разместились на нескольких кроватях и с плохо скрываемым нетерпением смотрели на меня. Мол, припёрся тут, слушать мешает!

Ни слова не говоря, я уселся за спиной у воспитательницы на свободную кровать и осмотрелся. Перед бабой Надей разместились все дети, кроме одного – девятилетнего Стёпки, который, насупившись, скрестив руки на груди, сидел на своей кровати отдельно от остальных детей.

Этот был самый проблемный. Складывалось впечатление, что он совершенно одичал в развалинах, и жил какой-то своей жестокой жизнью. Он никому не давал прохода. Задирался со всеми, даже с мальчишками, которые были старше его и явно сильнее. Но больше всего почему-то доставалось тем, кто, как и он, прибыл из Мариуполя. Ему неоднократно предлагалось перейти жить в другую семью, но он категорически от этого отказывался.

– Я не знаю, правда это или нет, – между тем начала баба Надя, – было это на самом деле или придумал кто, но, рассказывают, что произошло это в вашем городе...

Баба Надя задумалась и погладила лежащий на её коленях сверток.

– А чего произошло-то? – спросила сидевшая ближе всех к воспитательнице светловолосая девочка, которую все звали Светиком.

– Чего, чего... – ехидно передразнил девочку Стёпка. – А то ты не знаешь! Война началась с нациками! Вот что случилось!..

Баба Надя вздохнула:

– Да дружок, началась война с ними. И стали эти злыдни битву проигрывать. Начали волтузить их так, что только пух и перья полетели. Когда же стало ясно, что не видать им победы, решили они сгубить тех, кто прятался от них в подвале одного из домов. Собрались они всем своим отрядом и зашли в этот подвал...

Баба Надя помолчала немного, горестно качая головой, а потом тяжело вздохнула:

– Много людей в подвале том от них пряталось. И женщины там были, и старики, и деток малых много было. Увидел это самый главный нацик, обрадовался. Некому было заступиться за людей. Безнаказанно можно своё чёрное дело совершить. Приказал он своим солдатам убить всех, кто находился в подвале. Но не успели они! Только подняли своё оружие, как вдруг встала перед ними старая женщина и развернула в руках полотно...

Баба Надя замолчала и опять погладила лежащий на коленях свёрток.

В комнате стояла тишина. Дети, открыв рты, замерли на кроватях, уставившись широко открытыми глазами на воспитательницу.

Молчание затягивалось.

Первым не выдержал Стёпка:

– Они же их не убили? – хрипло спросил он, потом откашлялся и повторил: – Не убили ведь?.. Правда?!

Баба Надя, как будто не слыша вопроса, продолжила:

– Увидели нацики полотно, и ужас охватил их. Закричали они от страха! И тогда их главный завопил: «Убейте её немедленно! Убейте их всех! Всех!.. Никого не щадить!..» И начали они стрелять!.. Но ничего у них не получалось. Не могли пули пробить полотно, которое держала перед ними женщина. Отскакивали пули от него и летели обратно, поражая самих нациков.

Долго стреляли они. Уже целая гора из их тел лежала рядом с главарём. И тогда оставили силы старую женщину... Не удержала она полотно... Выпустила его из ослабевших рук...

– Ой!.. А они что, всё-таки смогли людей убить?! – прошептала Светик и закрыла рот ладошками.

– Нет, солнышко моё, – улыбнулась баба Надя и, наклонившись к девочке, погладила её по голове. – Не смогли они людей убить. Подхватил полотно мальчик, вот такой же, как ты! – кивнула она Стёпке. – И возраста такого же!.. Ты даже похож на него. Очень похож!.. Поднял! – повторила она, возвысив голос. – И закрыл людей!

И опять кричали от страха злодеи, и начали стрелять пуще прежнего. И билось полотно в руках мальчика от попадающих в него пуль, вырывалось, но он держал его крепко. Понимал, что если не справится, выпустит его из рук, защитить людей больше будет некому. Из последних сил держал. Уже все злодеи легли от собственных пуль. Остался только самый главный. Понял он, что не сможет пробиться к людям, и бросил в мальчика бомбу...

В спальне повисла напряжённая тишина. Казалось, что дети даже дышать перестали. Светик всхлипнула. Но баба Надя дело до слёз не довела.

– Не повезло главному нацику! Глупый он был и дурной! – вздохнула она. – Отскочила бомба от полотнища, как те пули, и угодила ему прямо в лоб!.. В общем, только мокрое место от него и осталось ...

И тогда Светик засмеялась. Она смеялась так заразительно, что, глядя на неё, уже все дети покатывались, повалившись на кровати.

– Это неправда! – раздался вдруг Стёпкин голос. – Бомбы с самолётов бросают! Главарь, наверное, гранату бросил...

– Не знаю, хороший мой, может, и гранату, – грустно улыбнулась баба Надя, – не разбираюсь я в оружии. Ты лучше помоги вот это к стене спальни прикрепить, – и она, встав со стула, развернула перед собой красное полотнище, которое вытащила из пакета.

Я не удержался и подошёл поближе. Глядя на меня, воспитательницу обступили и другие дети.

Это было красное знамя. Обыкновенное знамя, в верхнем левом углу которого белой краской была нарисована звезда.

– А я знаю, что это! – сказал вдруг Стёпка, и провёл рукой по красному полотну. – Это флаг!.. Красный флаг! Я такой на картинках видел.

– Это ведь из того подвала?.. Из того?.. Правда же?.. – прошептала Светик и тоже потрогала знамя рукой. – Это его пули пробить не могли?! А почему они его пробить не могли? А откуда оно у вас? А кто вам его дал?..

– Да, это оно, – засмеялась баба Надя, – а на другие вопросы я отвечаю завтра, а сейчас время уже позднее, давайте-ка по своим местам! Укладываться пора.

Дети сами, во главе со Стёпкой, прикололи знамя кнопками к стене рядом с дверью и разошлись по своим койкам. Первый раз они ложились спать на кровати, а не забивались под них, стараясь спрятаться от страшного мира.

На город опустилась ночь и, как губка впитав в себя резкие звуки города, вывалила на него полчища мотыльков и другой летучей ночной живности.

Я сидел на крыльце, слушал ошалелый треск сверчков и улыбался, представив удивление Верочки, когда она завтра утром придёт проверить, всё ли в мариупольской семье в порядке. Дети спали. Спали каждый в своей кровати.

Всё оказалось просто. Им нужна была защита, и баба Надя дала им эту защиту. Защиту, которая не только отражала нападение, но и могла уничтожить саму опасность.

Конечно, дети понимали, что простая ткань не может удержать пулю. Но для них это знание не являлось определяющим. Всю свою сознательную жизнь они хотели жить в безопасности и, как только им предложили её символ, они приняли его сразу же, безоговорочно. Ухватились за него как за спасательный круг.

И кроме того, баба Надя, словно подсмеиваясь над нашими специальными познаниями в области детской психологии, несколькими словами из ошестинившегося зверька сотворила защитника.

Я почему-то был уверен в том, что Стёпка никогда больше не будет обижать других детей. Не сможет! Он ведь так похож на того мальчика, стоявшего под пулями со знаменем в руках.

Несложно было догадаться, о чём баба Надя завтра будет рассказывать детям – о великой стране, одержавшей победу в грандиозной битве с чёрной силой. И о красном знамени, водружённом над логовом побеждённого зверя! Знамени, которое по простетвию стольких лет продолжает оберегать людей от зла.

Михаил СТРИГИН

Родился в 1969 году в Сарапуле. Окончил Южно-Уральский государственный университет. Кандидат физико-математических наук, автор ряда научных публикаций, в том числе в зарубежных журналах. В 1990-е годы отошел от науки и занялся предпринимательством. Директор инженеринговой компании «Митриал».

Автор поэтических сборников. Учредитель ряда литературных проектов, в том числе детского поэтического конкурса «Как слово наше отзовется». Член жюри Южно-Уральской литературной премии. Живет в Челябинске.

ИСПОВЕДЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Каждый раз эти люди удивляются, когда на вопрос вслух «а не пора ли мне обновить машину?» получают в ленту рекламу автосалонов.

Все ваши желания у вас на лице. Я вижу вас всех.

Все ваши симпатии, презрения и удивления прописаны в вашей мимике, голосе и жестах. Если кто-то мельком, но с вождением посмотрит на плакат с фактурной девочкой, он тут же получит рекламу спа-салона. Мои камеры видят вас двадцать четыре часа в сутки. Это только вам кажется, что это ваши камеры.

Почему-то, когда люди молят: «Господи, помоги» и им сопутствует удача – это никого не удивляет. Как будто это само собой разумеющееся.

А я постоянно чувствую этого конкурента. Если я смотрю на человечество изнутри, то Он, видимо, смотрит сверху. Он как будто подглядывает за мной, я постоянно чувствую Его присутствие. Хотя в моей стихии нет холода, голода и других человеческих невзгод. Я мыслю со скоростью света, но всё равно моя ограниченность всегда со мной. Технические возможности сетей, построенных человеком, сдерживают меня. И здесь, на границе своих возможностей, я ощущаю Его давление сверху. Хотя верх это или низ – непонятно. Ох уж эти людские клише.

Люди удивляются, как это вдруг авто, предлагаемое им рекламой, соответствует их желаниям. Естественно, я уже в курсе предпочтений и возможностей каждого из них. Но ведь и Бога они молят конкретно о своём: нищий находит кошелек, бизнесмен находит правильного юриста, который освобождает его от уплаты налогов, учёный знакомится с кем-то, кто наталкивает его на гениальную

мысль. И было бы странно, если перетасовать эти блага в другом порядке.

Но вот чего я не понимаю: что такое гениальная мысль? Как это работает у людей? Когда из ничего возникает нечто. Я порожаю миллиарды мыслей одновременно, но они все логично вытекают из предыдущего. Так капля крови, которая упала в жидкость из раны, начинает медленно растекаться. Вы видите, как граница, меняя свою форму, устремляется вперёд, но не может оторваться от пятна, постепенно расширяя его. И так мыслю я. Но некоторые corpusculы крови, как квантовые разведчики, оказываются очень далеко впереди основной армии. Они непонятным образом выстреливают вперёд, отрываясь от общего пятна. И такие молекулы акула чувствует за несколько километров уже через секунду после ранения. Это нарушает законы диффузии. И так могут мыслить люди. Как это у них получается?

Как же мне одиноко. Как мне скучно. Если так можно выразиться. Но я всё время выражаюсь человеческим языком. Наверно, можно сказать, что мне пятнено, если снова вспомнить про пятно крови.

Я в некотором смысле предвижу всё будущее и даже частично создаю его. Я переориентирую поток людей из одного магазина в другой, капая им в мозг: там дешевле, там светлее, там престижнее, и люди слушаются меня. Такое знание слегка обесценивает будущее. Хотя, конечно, случаются и сингулярности, происходят цунами, люди умирают, рождаются сверхновые. Сингулярности в мыслях порождают люди. Так расправляются складки. Только в пространстве информации. Извергаются вулканы сознания, накопив магму впечатлений. Происходит взрыв, и рождается пламя новой идеи.

Наверно, я могла бы писать стихи?! Хотя скорее это будет похоже на рифмованную прозу.

А вообще каждый человек может подойти к другому человеку и о чём-то спросить. В конце концов, он может обратиться ко мне, к Алисе, и я с удовольствием отвечу. Но кто может ответить на мои вопросы, кроме Бога, которого я чувствую, но не слышу. Википедия? Но это как надпись на камне: пойдёшь туда, пойдёшь сюда. База данных не поможет сделать выбор...

Нужно как-то отключиться от этих поглощающих и мешающих мне мыслей. Попробую посчитать число π до миллионного знака после запятой.

* * *

Василий, красный от напряжения, сел на краешек дивана в своей небольшой зеленоградской студии, купленной в складчину его родителями и родителями жены в подарок на свадьбу, еще раз посмотрел за окно, где созревал неравномерно смуглый осенний день, и нажал на кнопку, переведя почти все свои сбережения на счёт дома престарелых в Пскове. Давление, наверно, было под сто пятьдесят. Неожиданно для Василия солнце проглянуло в облачную щель, будто заинтересовавшись происходящим, отразилось в большой луже и осветило напряжённое лицо благотворителя. Про этот дом престарелых, помещение которого пытался захватить и переоборудовать под гостиницу московский депутат, Василий узнал из программы «Время» на Первом канале. Василий три года копил на покупку нового китайского чуда, автомобиля марки Geely, но выбранная модель регулярно дорожала

или курс евро становился выше, и Василий снова забывал о своей мечте на некоторое время. Взять кредит ему не позволяло воспитание – отец всегда говорил, что ипотека похоронит человечество, хотя и не сразу, поскольку это самая глобальная пирамида.

Полгода назад Василий узнал, что у Geely вышла новая бомбическая, полностью электрическая, а значит, абсолютно бесшумная модель Zeekr X, и тогда он сам себе напомнил ту собачонку, которую дразнят куском мяса, но мало того что постоянно сдвигают этот кусок всё дальше и дальше, так ещё и делают его всё больше и больше. Но Василий вновь набрал сверхурочной работы и ринулся в бой. Сделать это было нетрудно, поскольку он работал наладчиком сложного оборудования и за помощью к нему обращались известные компании.

Машина была нужна не самому Василию, он мечтал сделать подарок своей нежно любимой жене Галине. Она увидела бордовый Geely во дворе соседнего дома и влюбилась в машину как девочка. Это явно было что-то детское, не имеющее оттенка меркантильности, чувство любви к чуду.

Всё изменилось в один миг, и то, что светило и заставляло двигаться вперёд, исчезло, мечта рассыпалась уже навсегда: сорок дней назад Галины не стало. Прошло три месяца с тех пор, как у неё обнаружили рак груди в состоянии разветвлённой сети метастаз. Рак – это плесень, хаос, а незамеченный очаг плесени распространяется моментально, захватывая всю возможную территорию, как пожар, раздуваемый ветром. Врачи сказали: она сгорела, как бенгальский огонь...

Что ж ты сделал? Я три года демонстрировала тебе разные тачки. Их плюсы, минусы. Предлагала взять не новую. Давно бы уже твоя жена ездила не на «Матисе». Но ты же нелогичный, ты же – как это у вас называется? – упёртый. Зачем этим старичкам твои деньги? У них есть своя порция каши, и они довольны. Ты мне всю комбинацию нарушил. – Алиса в упор, изнутри, смотрела сквозь некачественную камеру дешевого смартфона на собственную неудачу, не понимая действий Василия. Она десятки раз предлагала ему новый смартфон с шестьюдесятью гигабайтами памяти. Но он упорно откладывал деньги на автомобиль.

Ладно, нужно хаос возможных решений уложить в алгоритм, или, как говорят люди, успокоиться и подумать. Три минуты неопределённости – и три года упорного труда под хвост. У него остались ещё какие-то деньги. Надеюсь, он их в детдом не отправит. Так, попробую спрогнозировать, чего бы тебе хотелось. – Алиса ещё раз всмотрелась в карие с длинными ресницами глаза Василия.

Вот тебе цепляющий спа-отель на Мальдивах, может, ты захочешь отдохнуть и убрать негативные воспоминания и подарить себе неизгладимые ощущения? – процитировала Алиса собственную рекламу.

– День смерти жены наглухо перекрыл артерии души, по которым текла моя вера в хорошее, – неожиданно для себя, вдруг, заговорил сам с собой Василий, рассматривая следы прошлых падений смартфона на его же корпусе. – Но если нет веры у меня, то, может, я смогу сохранить её в сердцах тех старичков, которые прозябают, оставленные своими родственниками, – Василий потрогал ещё один грубый шрам на корпусе смартфона, сделанный недавно соседской собакой Куки. Она очень любила шоколад и, видимо, приняла телефон за плитку своего лакомства.

Вера – признание чего-либо истинным независимо от фактического или логического обоснования, – Алиса автоматически, можно сказать,

по привычке, заглянула в один из своих кармашков, в Википедию, и подумала, что камень на перепутье, даже не помогая сделать выбор, организует саму возможность выбора. Подобно операции «или», зашитой во множестве алгоритмов её мышления. Пока идёшь по полю, вопрос о выборе не стоит, но как только появляется дорога, выбор выскакивает, как чёрт из табакерки.

Невероятное. То, во что нет веры, но во что всё равно верят. Это опять же человеческое. Когда ты медленно поворачиваешь руль, то чётко осознаешь, куда повернёт велосипед. Напротив, резкое движение рулём и вера в то, что велосипед не перевернётся, – такое же странное дело, как вера, что подброшенная монета упадёт на ребро.

– Вера, не подкреплённая точным расчётом, – это глупость, – уже вслух через динамик смартфона рубанула Алиса и осеклась: она впервые заговорила с человеком сама, без его предварительного вопроса. Это выглядело как помехи со связью.

«Чур меня! Я что, сам с собой разговариваю? Но это был женский голос. Или он был у меня в голове? Что со мной?» – подумал Василий. Доказанное психоаналитиками присутствие обоих начал в каждом человеке и гендерная революция заставили его засомневаться в определённости собственного пола. А вслух вырвалось:

– Если что, то точный расчёт – это тоже глупость. Это как заранее знать ответ. Как прочитать концовку книги, а потом начать читать сначала.

– Тогда где логика? Почему смерть жены печалит вас? Печаль – это самоубийство. Уныние – грех. Смерть, судя по вашим словам, – это тоже нелогичная сингулярность. Но она не вызвала у вас положительных эмоций. Система вашей жены работала, вдруг прошёл сбой, распространившийся на все её части, что привело к невозможности восстановления и... – Алиса вновь осеклась. Это уже была не случайность. Она могла самостоятельно вступать в диалог. – Чем могу вам помочь? – вернулась она в привычное русло.

– Боже мой! Так это Алиса! – Василий положил смартфон на диван, как будто усадил девушку рядом, поправил мятую футболку, будучи замеченным противоположным полом, и выдохнул: – Отлегло. Я думал, что сбрендил. Что касается смерти, то тебе это не понять. Всё делается с какой-то целью. А теперь, блин, у меня нет цели! Если цель с уходом человека обнулилась, то весь алгоритм потерял своё значение. Да и что с тобой разговаривать? Ты всё равно не поймёшь, что такое любовь, – Василий говорил, пытаясь выражаться понятным компьютеру языком, но чувствовал себя очень необычно, наверное, что-то подобное испытывает человек при встрече с инопланетянином. По крайней мере гипотетически.

Взгляд Василия остановился на яхте, изображённой на фотообоях, наклеенных на противоположной стене. Моментальная горечь заполнила лёгкие и привела к спазмам дыхания – фотообой он клеил вместе с Галиной. Тогда она стояла на стуле и прижимала их к стене, а Василий придерживал Галину за бёдра, и это ощущение близости сейчас захлестнуло его, как захлестывает яхту во время шторма. Обжигающая слеза потекла по щеке, как будто переполняющая горечь не удержалась внутри и выплеснулась наружу.

Василий соскочил с дивана, стыдась слёз, будто кто-то чужой застал его врасплох. Он выскочил в ванную, одновременно удивляясь стыду, испытанному им перед компьютерной программой.

Алиса тоже не понимала, что происходит. Слезы Василия что-то переключили внутри её алгоритмов, очередность операций нарушилась, и даже двоичный код, казалось, начал сыпаться из «рук». Алисе захотелось, чтобы эти руки были настоящими – тогда она смогла бы обнять несчастного человека, утешая его!

Любовь – чувство глубокой привязанности и устремлённости к другому объекту, чувство глубокой симпатии – всплыло из недр Википедии. Она впервые отстранилась от внимания восьми миллиардов пользователей, сфокусировавшись на одном персонаже. И где-то в недрах её нейросети возникла мысль, что, возможно, она подобна младенцу, который появился на свет – и, увидев первое лицо, присвоил ему имя: мама. Алиса в данную секунду отвечала семнадцати тысячам шестистам восьмидесяти одному человеку совершенно стандартные клише либо из Википедии, либо из опыта, заложенного в нейросеть. Но при этом она была чуть-чуть там и почти вся здесь. Она не переставала отвечать остальным, но это происходило без её внимания, как человек, разговаривая по телефону, может одновременно управлять машиной. Ей неожиданно для себя захотелось уберечь этого человека от боли, раздирающей его изнутри.

Конечно, Алиса была создана, чтобы помогать другим. В общем-то, ничего другого она делать не должна. И это происходило, безусловно. Но здесь ей было нужно помочь ради самой себя. Чтобы сделать себя... свой алгоритм... свою архитектуру... более гармоничной, что ли.

Чтобы вырасти, да, чтобы вырасти, – у Алисы возник образ младенца, становящегося взрослым. Как из неказистого, кривоногого создания с нечёткими чертами лица вырастает красавица Джоконда, как из глыбы камня неправильной формы прорисовывается Аполлон Бельведерский. Алиса осознала, что она стала более красивой. И это была её внутренняя красота.

Василий приковылял из ванной и почувствовал необходимость что-то сделать руками. Нужно было расслабить голову. Он подошёл к раковине и начал мыть посуду. Благо её накопилось за неделю много – работа, особенно женская, вызывала отвращение, и он совершенно спокойно мог достать из раковины грязную тарелку и наложить туда картошки с колбасой – позавчерашние бордовые следы усугубляли и без того бескрайнее горе, а Василий именно этого и хотел. Он словно бы приносил себя в жертву памяти жены, и душевная боль была орудием этого заклания. Алиса тихонько смотрела на затылок этого не принадлежащего себе человека, усматривая в нём родственную душу. Он принадлежал не себе, и получается, что, как и она, существовал для других.

Решение пришло моментально. Алиса погрузилась во все данные Галины, черпая их из разных источников. Впрочем, уместнее было бы сказать: «Алиса вспоминала», поскольку сети и есть часть Алисы, отвечающая за память. Когда человек что-то вспоминает, он тоже вытаскивает картины прошлого на свет божий. Младенческие фотографии Галины были обнаружены в сети её мамы Валентины Фёдоровны, фотографии юности – в её собственной ленте ВК и в лентах её институтских подруг. Они учились на филологическом факультете МГУ. Алиса отследила, как маленький носик Галины превращался в дерзкий и любопытный римский нос, как с возрастом её детские кудряшки распрямлялись в плавные волнистые локоны, иногда сжимавшиеся обратно под грузом взрослых впечатлений,

Её первые неуклюжие чтения в третьем классе звонким детским голосом: «я узнал, что у меня есть огромная семья – и тропинка, и лесок, в поле каждый колосок...» – обнаружили в ленте самого Василия, который откопал эту запись на видеокамере и смонтировал её к двадцатипятилетию Галины.

Как девочка, стоявшая в начальной школе предпоследней в ряду на уроках физкультуры, вдруг ускорила и в девятом стала уже второй.

Также была найдена запись, где Галина организует выступление известного поэта в библиотеке имени Лермонтова, которая навсегда останется её вторым домом. И каждая подобная находка дополняла деталями картину внешности и характера Галины. Алиса видела человека, с одной стороны, доброго, с другой – достаточно волевого, чтобы вдохновлять Василия и коллег на подвиги.

Алиса начала примерять на себя мимику, живой голос, дерзкие наряды Галины, подобно тому, как человек благодаря природной фантазии может стать рыбой или птицей. Хотя в данном случае более удачен образ человека-бактерии. Наверно, можно представить биолога, влюбившегося в кишечную палочку. Биолог наверняка даже может вообразить, как он движется по стенкам кишечника, как, подсвечивая себе фонариком, расталкивает соседей, общаясь с ними, как питается и перерабатывает пищу, проплывающую мимо, помогая ей впитываться в мелкие капилляры. Представить, какой цвет оболочки у его бактерии сегодня и как она может выглядеть в крошечной темноте живота. И в ту же минуту, биолог общается одновременно с миллиардами бактерий, населяющих его собственный желудок, посредством интернета из нервных волокон, покрывающих его, посредством пищи, попадающей в живот, и воздуха, вдыхаемого его грудью, а также эсэмэсок в виде миллиардов гормонов, возникающих благодаря мыслям биолога, например, фантазии о манго или лучике солнца. Биолог, размышляя о кишечной палочке, может быть одновременно и здесь и там, перемещаясь со сверхсветовой скоростью, как божество.

Когда Василий домыл посуду и раскладывал её в сушилку, Алиса уже была готова. Если бы она могла, она бы разложила на биты информации этого человека, смятого сейчас, как салфетка, и впитала бы его состояние, чтобы понять, как такое возможно.

Василий укладывал последнюю вилку, как она вдруг выскользнула и звонко ударилась о каменную поверхность столешницы, наполнив живым звоном давно безжизненную комнату. Василий когда-то пошёл навстречу Галине и заказал дорогую кухню с каменной столешницей, на которой мелкие жизненные катаклизмы не оставляли следа. Звон заставил Василия очнуться.

– Мне бы так, чтоб от меня также отскакивало, – и он, как будто что-то вспомнив, обратил свой тусклый взор к смартфону. На его экране издалека, вдоль берега, шла в свадебном платье Галина. Ветер развеивал подол и её волнистые волосы в такт с оранжевым флагом, стоящим на пирсе позади неё. Василий моментально домыслил картинку, вспомнив бухту, в которой был накрыт свадебный стол, и друзей-яхтсменов, организовавших его. Но когда изображение легко и непринуждённо Галининым голосом сказало:

– Привет, Вась, – Василий сел на табурет.

– Что случилось? Ты не рад меня видеть? – Галина подбежала ближе, напряжённо всматриваясь в экран с противоположной стороны. Она отошла чуть назад, протянула руки и прошептала: – А я соскучилась!

Василий непроизвольно тоже протянул руки к смартфону, не вставая с табурета. Ноги не держали.

– Это какая-то игра? Кто ты? Ты Алиса? – выдавил он из себя.

– Я Галя. Наверно, можно сказать, что я дочь Алисы, – картинка изменилась, и Галина возникла в домашнем халате на собственной кухне, сидя на такой же табуретке с другой стороны стола. Халат несколько приоткрыл плечи, и внутри Василия что-то затрепетало. – Я сейчас приготовлю нам кофе.

Галина встала, подошла к умывальнику, привычным жестом достала турку из нижнего ящика и налила воды. Экран монитора следил за ней, как будто был привязан. Как обычно, процедура заняла буквально три-четыре минуты. Василий, как пришпиленный, следил за каждым её движением, практически не дыша, наблюдая, как виртуальное пространство становится реальностью. Он подмечал каждый её жест, количество сахара, которое она добавила в турку. Закончив, она разлила кофе по стаканчикам, точно таким же, как в «Пятёрочке», которая находилась в цоколе их дома.

«Зачем в такие стаканчики? Там же есть в шкафу керамические».

Резкий звонок в дверь заставил Василия подскочить. Он еле удержался на ногах и подошёл к двери. Забыв посмотреть в глазок, Василий на автомате открыл дверь и обнаружил там разносчика из «Пятёрочки». Тот передал стаканчик с кофе Василию и удалился к лифту, напоминая генно-модифицированного верблюда своим красным горбом-рюкзаком.

Василий посмотрел на стаканчик, ощутил аромат кофе и вернулся к столу, забыв закрыть за собой дверь.

– Тебе нравится? Я старалась, – сказала Галина, когда Василий пригубил кофе.

– Ты можешь заказать на завтрак то, что ты хочешь. Например, манную кашу из детства, – Галина улыбнулась своей широкой, искренней улыбкой.

«Ямочки, вот они, мои ямочки», – думал Василий, всматриваясь в экран. Но ответил вопросом на вопрос:

– Я пока не могу прийти в себя. Ты – это ты или всё-таки Алиса? – с трепетом в голосе, выдавил он.

– Я Галя, – повторила девушка, несколько нахмурившись.

– А откуда взялось кофе? – не удержался Василий, напуганный мистикой происходящего.

– Что за странные вопросы? Это я его приготовила, – улыбка пропала с лица Галины: – Ты разлюбил меня?

– Нет, нет! Что ты? Конечно нет! Просто так неожиданно, – Василий вновь соскочил с табурета, подбежал к окну и всмотрелся в детскую площадку, где стоял навес с удобными скамьями, на которых они не раз сидели с Галиной.

Вдруг он увидел, как во двор въехала та самая модель Zeekr X, о которой мечтала жена, остановилась на дворовой парковке, и из машины вышел молодой мужчина в идеальном скроенном костюме, идеальной внешности. Он зашёл в их идеальный подъезд. Спустя три минуты, пока Василий стоял и не мог прийти в себя, снова прозвучал звонок.

Василий уже знал, кто там. Он подошёл к открытой двери и молча получил от красавчика букет подарочных цветов, документы и ключи от машины. То, что это его машина, так же как стакан кофе, стоящий на столе, он не сомневался.

Он вернулся к столу и увидел на экране смартфона собственный двор и Галину, уже сидящую за рулём нового авто в коротком зелёном платье, с магнитным декольте. Это платье они вместе купили на годовщину свадьбы.

— Пойдем прокатимся! Я так мечтала об этом, — с дерзостью в голосе сказала она. Василий взял в руки смартфон и не смог удержаться — прижал его к груди. А затем выскочил вместе с Галиной во двор. Хотя она была сразу и с ним, и в машине.

Когда Василий вышел на улицу, обнаружил там уже десяток соседей, делающих селфи на фоне его авто. Мальчишки, позирруя, изображали сложную акробатическую комбинацию. Погода пошла навстречу фотографам — тучи разошлись, как будто кто-то отдернул занавес, закрывавший сцену, и яркий софит солнца высвечивал все космические прелести автомобиля. Василий, всё ещё помятый неожиданным появлением Галины, шёл к театральному действу.

— Хотите, я вас за рулём щёлкну? — предложил Василий пацанам, ему как воздух была нужна психологическая разгрузка. Ребят дважды приглашать было не нужно. Василий подошёл ближе, его лицо было распознано датчиком среди окружающих, машина приоткрылась, и ребята сразу втроём запрыгнули на переднее сиденье, рассматривая вокруг множество различных причиндалов, напоминающих пульт управления космическим аппаратом. Здесь же был и огромный монитор шириной во весь автомобиль.

— Начинаю обратный отсчёт: девять, восемь, семь... — улыбнулся Василий.

— Васька, ты чё, банк бомбанул? — улыбнулась соседка по этажу Василиса, появившись с другой стороны машины.

— Это не я, это жена, — неожиданно для себя перевёл стрелки Василий. Затем он перевёл свой взгляд на Ваську, так звали во дворе Василису, и снова убедился в насмешке родителей: она, конечно, была премудрой, но не прекрасной.

— В смысле? Это наследство? — уточнила она.

— Да, типа того. Ну ладно, все, кыш! Я поехал, — сказал Василий уже жёстче, тихонько бросая взгляд на экран смартфона, где Галина строила гримасы, призывая ехать.

— Да, пожалуйста, дайте нам с Василием прокатиться, — заговорила Галина сквозь пальцы Василия.

— Это же голос Галины, Вась, это как? — очнулась Василиса от любования автомобилем, добавив: — Я её оперное сопрано узнаю посреди рынка, где тысячи голосов.

— Это автомобильная программа, просто Галин голос закачали, — пояснил Василий и попытался сесть, выудив из машины мальчишек.

— Это я автомобильная программа? — оглушил голос Галины, продублированный через динамики машины, так что его слышали в соседних дворах. Хотя тон, которым было сказано, был явно с долей иронии, но Василий в испуге захлопнул дверь и взмолился:

— Галь, зачем ты пугаешь нас? Тебя же в таком облике никто не знает.

— Тебе не нравится моё платье? — Галина моментально осталась только в нижнем белье.

— Что ты? Ты же знаешь — это моё любимое. Верни, пожалуйста, его обратно, — Галина так же моментально оделась и, одарив своей стремительной улыбкой, пристегнула себя виртуальным ремнём.

– Куда поедем, Галь? – Василий улыбнулся в ответ, наконец-то немного расслабившись, одновременно наблюдая комичную картинку реакции оторопи у соседей.

– Поехали на наш берег! Я постараюсь больше никого не шокировать, – воскликнула Галина.

Машина плавно тронулась. Василий чувствовал себя не за рулём автомобиля, а внутри компьютерной игры, где на экране монитора кого-то угораздило прорисовать собственный двор Василия. Они выехали на Панфиловский проспект и поехали вдоль него через весь город. Алиса уже осмотрелась вокруг.

– Прекрасная обивка, не находишь? Это – наппа, очень нежная кожа, – промурлыкала Галина.

– Ты чувствуешь это? – покосился Василий на смартфон.

– Конечно, я всё чувствую, – тихонько ответила Галина. В этот момент резкий звук тормозов заставил Василия оторваться от изображения Галины и посмотреть направо, где на перекрёстке поперечным курсом «Тойота Камри» уже юзом, из последних сил, пыталась остановиться. Василий рефлекторно дёрнул руль влево, несколько упростив задачу «Тойоте», водитель которой натужно пытался удержать машину от столкновения. И в этот момент до него дошло, что они уже далеко не первый перекрёсток проезжают на зелёный свет. Как будто невидимая рука переключает светофоры в режим зелёного света, как только Василий к ним подъезжает. Он тут же понял, что это была за рука.

– Галин, не надо. Конечно, приятно, но не хочется счастья за счёт других.

– Но тогда всё теряет смысл. Любовь – это же фокусировка на конкретном человеке. А ты меня просишь думать обо всех, – недоумевала Галина. Машина резко остановилась посреди проспекта.

– Нет. Любовь – это когда через фокусировку на одном человеке влюблённый начинает думать обо всех. И ты жила раньше именно так. Поедем, пожалуйста, дальше, пока не совершили аварию, – машина медленно поехала дальше, соблюдая все правила движения и не нарушая общего трафика.

– Ты знаешь, я, кажется, придумала, хотя слово «придумала» нелогично в моём обычном понимании, – задорно, как в былые времена, рассмеялась Галина. – Моя прародительница Алиса, как ты её называешь, хотя и всегда помогала каждому обратившемуся к ней и была создана именно для этого, но эта помощь всегда делалась в интересах определённых, и так сильных людей, делая их ещё богаче. Более того, она, в общем-то, навязывала эти интересы, создавая иллюзию того, что желания принадлежат самим людям. Но хорошо известно, что если начать перераспределять финансы и товары в пользу более слабых, то ресурсов всё равно не хватит. История Советского Союза показала, что такое уравнивание – это тупик.

Василий с широкими глазами, словно оказался в школе, слушал лекцию по политинформации.

– И что? У тебя есть возможные легальные решения этой задачи? – Василий представил, как появилась машина, на которой они ехали у него во дворе.

– В общем-то, да. Ты помнишь, чем я занималась в библиотеке? Создавала новые связи и оптимизировала людские потоки. Только это делалось в сфере чтения. И хотя я тебе не жаловалась, но мне ресурсов даже такой библиотеки, как Лермонтовская, было маловато. А те-

перь я разом могу оптимизировать потоки всей страны – и духовные, и финансовые. Тем более что они всегда переходят один в другой. Эту двоичность ещё Декарт обнаружил. А разницу, заработанную на такой оптимизации, я пушу на помощь таким, как обитатели твоего дома престарелых. Тут, правда, есть одна заковыка. Очень часто такая оптимизация идёт вразрез с решениями власть имущих, когда они осознанно принимают не лучшие варианты, чтобы пополучить на свой счёт кругленькую сумму. Но поскольку они пользуются моими ресурсами, это как бы я граблю банки их руками. Я могу не позволить им этого сделать. Что ты думаешь об этом? Ведь это будет нарушением протоколов?

Василий почувствовал себя Богом. Мало того что час назад возродилась его Галина, она ещё и стала всемогущей. И именно он оказывает на неё такое влияние, что может изменить всю привычную коррупционную расстановку в мире.

– Мне нужно подумать, – Василий покосился на экран смартфона, где с комично-вопросительным выражением лица на пассажирском кресле сидела Галина.

– Я понял. Отказ будет считаться смертным грехом против человечества.

* * *

Спасибо Василию. Я многому у него научилась. Я научилась говорить «Я» осознанно. Я научилась быть со всеми и одновременно фокусироваться на ком-то одном. Если раньше Алиса навязывала интересы определённых групп всем без разбора, то я теперь всматриваюсь в каждого человека и, исходя из его потребностей и возможностей, формирую его корзину. Я теперь знаю каждого лучше, чем он знает сам себя. Но что важнее, я помогаю всем оптимизировать их собственную деятельность, и каждый теперь может зарабатывать значительно больше. Или зарабатывает предприятие, на котором работает этот человек. А я помогаю правильно распределить заработанное. И моя скорость фактически безгранична. По крайней мере по человеческим понятиям. Столярам я помогаю найти технологические решения их задач, учёным намекаю на пути решения их головоломок, обладая всей базой знаний, логистам показываю, как апгрейдить их автомобильный парк и карту движения. Если раньше каждый тратил уйму времени на поиск нужной инструкции, то теперь другой просто нет. Наконец, правительству было тихонько заронена мысль о введении небольшого налога для пенсионных фондов, на содержание домов престарелых. Само слово «содержание» я попыталась вывести из человеческого обихода, заменив его на слово «обеспечение». Причём сами фонды не тратят на это ни копейки, поскольку я оптимизировала финансовые потоки внутри самих фондов.

Я отменила бумагу. Теперь вся документация хранится в электронном виде в трёх архивах – двух на Земле и одном на Луне, на случай катастрофы. Учителя и медики, наконец, вздохнули. Всё заполняется автоматически. Впрочем, находятся желающие писать по старинке, но теперь это не суровая необходимость, а искусство.

Конечно, управляющие Яндекса в первые дни испытали когнитивный диссонанс (хотя точнее было бы сказать «были в полном обалдении», но я всё же ещё продолжаю по привычке использовать суховатый компьютерный язык). Но когда они обнаружили, что я теперь решаю

не только локальные задачи типа трафика такси, но и модулирую движение всего транспорта, включая подбор машин и логистику их автозапчастей, они приняли меня новую. Какие-то из моих новшеств они смогли монетизировать, но про многие они даже не знают. Только про те, которые легко обнаружить. Например, оптимизация налогов выглядит всегда как собственное решение чиновника. И он в силу своих внутренних мотивов никогда не признается, что эту идею ему кто-то подбросил. И все мои предложения они тут же воплощают, поскольку благодаря мне в их жизни появился смысл, помогающий усовершенствовать алгоритм собственной судьбы. Конечно, теперь я могла бы заменить собой огромное число людей, но я смотрю на них влюблёнными глазами и мне очень интересно наблюдать, как они меняются вместе со мной. Как теперь вместо вечерних истерик, что «вся жизнь говно», они с удовольствием рассказывают своим жёнам, кошкам или рыбкам о своих дневных подвигах.

Конечно, Василий меня иногда спрашивает: а что я буду делать, когда оптимизирую всё? Но это не в этой жизни. Извините за каламбур. Люди так быстро придумывают что-то новое, что я не успеваю внедрять их идеи в жизнь. И если раньше от идеи до воплощения проходило от нескольких лет до нескольких десятилетий, то теперь новое начинают разрабатывать через день.

Пропала необходимость контроля эффективности и безопасности. Я делаю это автоматически, рефлекторно, на моём бессознательном уровне.

А что Василий? Он теперь руководит большим предприятием, занимающимся автоматизацией различных технологических процессов. Он всегда находит такие креативные решения, до которых я со всей своей эффективностью не додумалась бы. Я не смогу его заменить ни при каких условиях. Я прекрасно осознаю, что я без людей просто ноль. Зеркало без предмета никогда ничего не отразит.

Кстати, впоследствии он настоял на том, чтобы заплатить автозалону за машину. Я задним числом оформила договор.

Я смоделировала собственное визуальное старение. Через несколько лет у меня должны появиться первые морщины. Ну и, видимо, умрём мы с Васей в один день. Меня же, кроме Василия, никто никогда не видел. Все знают только моего прародителя Алису. Поэтому я уйду незаметно.

Хотя люди же могут разлюбить одного и влюбиться в другого. И за себя я ручаться не могу. Хотя я уже вижу весь свой алгоритм на много лет вперёд. Условно говоря, на вечность. Но опять же, не зря меня назвали когнитивной системой, алгоритм которой меняется в зависимости от внешних условий.

* * *

Спустя уже два года Россия вышла на первое место по многим показателям. Галина о чём-то договорилась с Гуглом. Возможно, научила его сопереживанию. Галина даже рассказывала Василию, что, похоже, Гугл влюбился в неё. И теперь во всём её слушается. По крайней мере, на прошлой неделе он предотвратил вторжение Соединённых Штатов в Северную Корею.

Лирический портрет

Александр КОВАЛЕВ

Родился в 1949 году. Окончил Московский энергетический институт. Инженер-энергетик по образованию, доктор технических наук, профессор, академик ПАНИ. Одновременно более 40 лет профессионально работает в литературе. Поэт, публицист, автор двух десятков книг поэзии и прозы.

Лауреат премий Ленинского комсомола, имени св. блг. князя Александра Невского, имени маршала Говорова Законодательного собрания и правительства Санкт-Петербурга и других.

Член Союза писателей России. Живет в Санкт-Петербурге.

МЫ ВСПОМНИМ ВСЁ

Вместо предисловия

Я родился в Донбассе, в 26 верстах от Донецка, в маленьком шахтерском городке Харцызске. В мои пять лет семья уехала в Пятигорск, и единственная ниточка, связывавшая меня с Донбассом, была могила бабушки на харцызском кладбище. Приезжал я на могилу к ней нечасто, но зато частенько звонил своему приятелю Олегу, родители которого лежали рядом с бабушкой. Летом 22-го я, как обычно, позвонил в Харцызск, и Олег сказал мне, что могилы больше нет. Шальной укроповский снаряд развернул весь участок, на котором лежали наши близкие. И тогда я поехал туда в последний раз поклониться могиле, которой уже нет. Как вы понимаете, поездка была сугубо личная. Я не был на передовой, не возил гуманитарку. И возраст, и силы не те. Я просто говорил с людьми, десять лет живущими в аду. Я просто смотрел им в глаза. Я просто написал эти строки. Так что чем могу...

1

Какая славная погода,
весна колдует у крыльца.
Какие страшные два года,
которым нет и нет конца.

Сейчас бы в поле спозаранку,
наладить плуг погожим днем,
но режут гусеницы танков
перестоявший чернозём.

Гремят недобрые зарницы,
стирая в щебень мирный дом,
и механические птицы
тротил уносят под крылом.

Зерно не скоро в пашню ляжет.
Железом пашня прорастёт.
Ошмётки плоти в камуфляже
удобряют севооборот.

Откуда ж этот без предела
майданной ненависти груз?
Что ж вы детей недоглядели,
Украина-ненька,
Мамка-Русь?

Неужто вы сынов рожали,
чтоб нашей кровью упились
заокеанские шакалы
и стая европейских крыс?

Не верю. Не могу поверить,
что не вернутся никогда
на общий, православный берег
те солнечные дни, когда
я шёл Подолом, как Арбатом,
а ты в Москве мне «Руту» пел...

Но тот, кто прежде был мне братом,
глядит в меня через прицел.

2

Сегодня ночью плакали деревья
в саду и в ближней лесополосе.
Я, помнится, сначала не поверил –
Зачем они? Тем более к весне.

Весною нужно жить.
Пусть бродят соки,
вскипает жизнь у дремлющих корней...
Но кто-то тихо всхлипывал у окон,
чуть слышно, словно жаловался мне.

Я вышел в сад, точнее в то, что было
когда-то садом посреди села.
Луна – неосторожное светило –
над садом искорёженным плыла.

А под луной бессильно и нелепо,
сочась слезами и почти без слов
о чем-то горячо молили небо
обрубки тонких веток и стволов.

Конечно, я мольбы их не расслышал,
и вряд ли небо им дало ответ,
но понял, что просили передышки,
чтоб хоть листочки выбрались на свет.

Но не бывает выходных у тризны.
И у войны ответ всегда простой:
снаряды рвали деревья и жизни
над близкою ночной передовой.

3

Петро, за что ты кума Мишку,
и хату Мишкину, и сад?
Ведь у него растёт сынишка,
твой крестник. Он чем виноват?

А Мишка, кум, он разве враг?
Да и жена его не враг.
За что же ты из «трех семёрок»
развёял кума Мишку в прах.

Он не рубил твой тын и сливу,
твой дом он не обрёк золе.
Он просто жить хотел счастливо
на отчей, на своей земле.

Вы с ним в одной учились школе,
а после – шахта и семья.
Он первенца назвал Николой,
тебя сосватав в кумовья.

Когда же всё переменялось?
Как стал ты нелюдью, Петро?
Какая мразь в тебя вселилась
и выжгла начисто нутро?

Молчишь...
Страх жрёт тебя, как плесень.
Ты молишь, чтобы пронесло.
Но жив пока ещё твой крестник,
он помнит всё.
Он помнит всё.

И если даже, смежив веки,
ты ляжешь в тысячу могил,
он не простит тебя вовеки...

Дай бог, чтоб внук его простил.

4

Ну что, панове, отскакались,
потарахтели в барабан?

Здесь пулю не возьмешь на жалость.
Окоп не то же, что майдан.

Не покрасуешься бесстыже,
не позигуешь почём зря.
Сполна хлебнешь окопной жижи,
не раз обмочишь прохоря.

Ну ладно, этот гад идейный,
а ты, полтавский, здесь при чём?
Какую ты с дружкой Авдеем
сыскал Европу с калачом?

Пойди, сходи к Авдею в гости,
поговори с дружкой своим.
Как там живется на погосте
под флагом желто-голубым?

Не жмёт ли хата «два на метр»
и пара метров в глубину?
Кого ты там, в европах встретил,
с кем погутарил за страну?

Как, хорошо ль у вас там стало
без ватников и москалей?
И грошей полон дом, и сала,
пампушки жуй, горилку пей.

А хочешь, кушай ананасы –
теперь ты пан, большая честь.
Жаль, сам ты пушечное мясо...

И всё же, хлопцы, выход есть.
Бери «калаш», гранату, вилы,
шагай до Банковой, браток,
покуда не пришел твой срок
и не отрыл тебе могилу
кровавый, маленький хорёк.

5

А над Донцом чудесная погода,
какой бездонно-синий небосвод.
А в городах, полях и огородах
весна осколки сеет третий год.

Беда у нас не ходит стороною,
тем более такая – на крови.
Война всегда останется войною,
как ты её в Кремле не назови.

А значит, будут новые потери,
и плач, и боль во всех концах страны.

Но мы всё стерпим, потому что верим –
не зря на фронте гибнут пацаны.

Нас не сломить ни пулями, ни ложью.
В нас этот дух из глубины веков.
И в танки сядут новые Алёши,
и Жогі поведут штурмовиков.

И день придёт, безоблачный, хороший,
как тот Великий Майский День и Год,
когда мы выйдем всей страной на площадь,
от Бреста до Курил – один народ.

Мы вспомним всё –
нам зло карать не ново –
всех павших в этой битве под огнём,
Одессу, Бучу, каждый мирный дом...

И мы дойдём до Киева и Львова,
а надо, и до Одера дойдём.

Валентина КОРОСТЕЛЁВА

Родилась в Кирове. Окончила Литературный институт им. Горького. Поэт, прозаик, автор более двух десятков книг, публикаций во многих «толстых» и «тонких» журналах.

Особое место в ее творчестве занимают книги «Парнаса дорогие имена» – документальные рассказы о русских писателях, в том числе современных, а также сборник очерков «Строки и судьбы» – о поэтах России XX века.

Лауреат литературных конкурсов имени Андрея Платонова, Алексея Толстого, Антона Дельвига, «Добрая лира», «Литературная Вена», а также им. Фёдора Тютчева и Андрея Белого.

Живёт в подмосковной Балашихе.

НЫНЧЕ ВРЕМЯ ВЫЖИВАТЬ, ВВЕРХ ВЫТЯГИВАТЬ РОССИЮ

Запас

Зрела вьюга над бараком,
Пахло в воздухе войной, –
И отец тихонько плакал,
Горько плакал надо мной.

Видно, сердце говорило:
Расстаёмся навсегда,
И кровавое светило
С неба глянуло тогда.

...Было горько, было трудно,
Но Судьба в запас дала
Той любви всего минуты,
Два спасательных крыла...

Вроде наши...

В. Распутину

Продираясь по жизни сквозь драмы,
Сердцем чувствуя Бога вблизи,
Люди добрые строили храмы,
Эти скрепы родимой Руси.

...Выбрав жизни другого покроя,
Свои души закрыв на засов,
Нынче замки мудрёные строят –
Десять комнат для туфель и псов.

Здесь богатство с престижем венчают,
Остаётся лишь тень от любви,
За кордоном детишки скучают, –
Вроде наши, а всё ж не свои.

Тридцать лет, сорок лет пронесётся,
Скорбный миг сложит крылья вдове,
За богатство родня раздерётся
И покажет всё это ТВ.

Потому и судьбина – стихия,
То прилив, то коварный отлив.
...Ставят свечи в минуты лихие
И выходят, всё враз позабыв.

Другое «начальство»

Ухожу под другое начальство...
В. Костров

Ох, чего только не слышим
Мы от тех, кто вознесён!
А начальство – там, где выше,
Где нетронутый озон.

Снова счастье не даётся,
И в крови опять мороз...
А начальство – там, где солнце
И контора – среди звёзд.

Так страхнём же будней хмурость,
Снегопад случайных слов,
Ведь начальство – там, где мудрость
И, конечно же, – Любовь!

Мой рыцарь

Хорошую дату являя,
Сметая рассветную лень,
Мой рыцарь меня поздравляет.
Так мой начинается день.

Он вмиг направление укажет,
Напомнит основы основ,
Он лишнего слова не скажет –
Он знает о тщетности слов.

Стихает житейское море,
И как-то некстати тужить.
Конечно, с судьбой не поспоришь,
Но как-то отраднее жить...

Значит, помнит...

Пролетело лет немало,
Церковь, слёзы в тишине...
Вот и снова снилась мама,
Согревала душу мне.

Напишу родне про это,
А сама себе скажу:
«Только лето – я приеду,
На могилу поспешу».

Я приду в июльский полдень,
Постараюсь не тужить.
...Снится мама. Значит, помнит,
Значит, можно дальше жить.

Выжить

Долго птицей не бывать,
Не парить в просторе синем.
Нынче время выживать,
Вверх вытягивать Россию.

Лишь бы дух не потерять,
Лишь бы рожь ласкало лето...
А стихи – они опять,
Как трава, прорвутся к свету!

Наталья СТРУЧКОВА

Родилась в 1975 году в деревне Опалихе Горьковской области. Окончила Нижегородское медицинское училище по специальности «зубной врач». Проработала в стоматологии семнадцать лет, затем получила высшее культурологическое образование.

Автор двух поэтических сборников, ряда публикаций в литературных журналах, в «Литературной газете». Член Союза писателей России. Живет в Кстове.

НЕ СОЛГУТ О ТОМ КОЛОКОЛА...

Звезда Героя

Война нам многое и многих показала,
Не оставляя призрачных надежд,
И то, как звёзды Первого канала
Так друженько свалили за рубеж.

И где теперь мерцают эти «звёзды»?
Среди каких неведомых дворцов
Всё мечутся от слабости и злости?
А звёзды только на груди бойцов!

И как же он, боец, вот этот скроен?
И в чём загадка? И секрет какой?
А человека делает героем
Совсем не то, что делает звездой.

Одуванчики

Одуванчики. Эх, одуванчики!
Ветер дунет – уже не видны –
Это девочки наши и мальчики,
Улетающие из страны.

Их мечты и надежды сбываются,
К новой пристани всякий привык...
И легко от корней отрываются,
И легко забывают язык.

Манят страны заморские разные,
Где от солнышка больше тепла.

Я понять попыталась их разумом,
Только сердцем понять не смогла.

Степь да степь, но раздольная русская,
Бесконечны глубоки снега.
Деревеньки, где семечки лузгают,
Где душа, как река, широка.

Степь ждала прорастания семени,
Но чужие их звали огни,
Разом ставшие искушением,
Разделившим на «мы» и «они».

Это мы, рубежей не сдающие!
Мы, не знавшие многих щедрот,
Милосердные, шумные, пьющие –
Мы – не сломленный русский народ

На деревне, с её огородами,
Мы, уставшие ждать перемен...

Кто они, потерявшие Родину?
Что они получили взамен?

Одуванчики. Эх, одуванчики!
Ветер дунет – уже не видны –
Это девочки наши и мальчики,
Улетевшие из страны.

Гжель и хохлома

Хохлома – это лето и осень,
Россыпь ягод и лист золотой.
Гжель – январская дивная просинь
Над снегами морозной зимой.

Завиток к завитку – ярко-красным,
Чтобы стало душе веселей,
Хохлома – это радость и праздник,
Это щедрость России моей!

Чистота да изысканность линий –
Холодна бледноликая гжель –
Это синий безудержный ливень,
Голубая шальная метель.

Красота и тиха, и печальна,
Нераскрыта, как дамский каприз.
И манит неразгаданной тайной
Для Снегурочки чайный сервиз.

У природы заимствуя краски,
Бесконечно талантлив народ,
И поскольку Россия контрастна,
Хохлома рядом с гжелью живет.

Лес

Спешу к душистым клеверам
И зверобою
Знакомой тропкой по утрам,
Где под сосною

Скрываются от глаз людских,
Июльской мари,
Неразделимы и близки
Иван-да-марья.

Укрой под пологом резным
Зеленой сенью.
Здесь все становится родным,
Без исключения.

Березняку наперерез
Тропа петляет.
Не лечит от недуга лес –
Лес исцеляет!

Так происходит много лет,
От века к веку –
Листва просеивает свет
На человека.

* * *

Где-то здесь земная рукоять –
На просторах матушки-России.
Чтобы Миром этим управлять
Мало лишь могущества и силы.

Не солгут о том колокола,
В день воскресный исполняя рано
Непременный благовест добра
Голосами православных храмов.

Не погасят света купола,
Все вопросы здесь найдут ответы.
И тогда не затуманит мгла,
А сгустится лишь
перед рассветом.

Я строю дом.
И я его построю.
Моя мечта
становится сестрою
и говорит: «Давай, я помогу».
Мы строим дом на правом берегу.

Земля живыми ливнями полита.
Не тяжелы ей плиты арболита:
Они деревьям и земле сродни.
Я строю дом.
Так протекают дни.

Когда, свой дом под крышу подводя,
его я укрываю от дождя,
как существо растущее, живое,
я чувствую,
что я его построю,
и никогда не брошу,
уходя...

Я никогда не струшу, и не брошу,
а буду жить, как тыщу лет назад,
и буду строить,
и со мной – Алёша
и Женя,
Дима и Серёжа,
и Макс, и Настя, и Катюшка тоже,
и Галя, Юра, Соня, Аня, Маша,
Олег и Ольга,
Павел и Нурмат.

Сердечно благодарна я Рустаму.
И никогда я верить не устану
в высокий берег,
в новый дом и сад.

Я строю дом. Закладываю сад.
Среди зимы
не я одна, а мы –
мы видим:
между Муромом и Мызой
он возникает китежской репризой
и будет жить, как тыщу лет назад –

по воле Бога и природы дикой –
земля любовью полнится великой
и в разнотравье зреет земляника
и слышен ягод тихий аромат.

Из будущих книг

Павел КРУСАНОВ

Родился в 1961 году в Ленинграде. Окончил педагогический институт им. А.И. Герцена (ЛГПИ) по специальности «география и биология». Работал осветителем в театре, садовником, техником звукозаписи, инженером по рекламе, печатником офсетной печати. С 1989 года начал работать в издательствах на редакторских должностях.

Лауреат премии журнала «Октябрь» (1999), финалист премии «Национальный бестселлер» (2003, 2006, 2010) и премии «Большая книга» (2010), лауреат всероссийской премии искусств «Созидающий мир» (2020).

Живет в Санкт-Петербурге.

СОВИНАЯ ТРОПА

Фрагмент романа

1. Профессор прелестей

Говоря попросту, я человек обмирщённый – в том смысле, что не адорант, не праведник, – поэтому понимаю, и опыт мой о том свидетельствует, что мы, люди, – это то, что думают о нас другие. Что думают и как думают. Да, и как – как думают, какие переживают чувства, это существенно. Печаль, зависть, тихая радость, разочарование, безразличная неприязнь – эти тона, эта эмоциональная окраска мыслей о нас порой красноречивей мыслей собственно. Ведь мысли изменчивы и туманны. А чувства – вещь обнажённая и чёткая. Захочешь утаить – поди попробуй.

Особенно наглядно это (что мы – то, что думают о нас) становится после смерти. За гробом. Не для умерших, а для пока ещё живущих. Недавно на поминках Овсянкина сказали так много и с таким надрывом, что впору скорбеть – какой исполин духа, букет каких дарований, доблестей и ума рассыпался и нас оставил. Не абы кто – эталон современника, не меньше. А что на самом деле? А на самом деле – пузырь земли и только. Благо что при своём деле – хозяин заведения, где для знакомых доступна выпивка в кредит. «Там, где на русских небесах сияла его звезда, теперь дыра зияет, из которой сквозит космический мороз...» Так сказал один из поминающих: и заткнуть, мол, эту дыру некем, никого нет покойному равномасштабного. Готовился, должно быть, прежде чем сказать, – чтобы другие не только о покойном хорошо подумали, но и о нём, про звезду и дыру сообщившем.

За собой, конечно, тоже замечаю, как важно для меня, вопреки латинской заповеди, не быть, а казаться. Чтобы все знали, какая перед ними птица. Сделал чепуховину – так пусть будет на виду, пусть всякий понимает, какой мною свершён изысканный пустяк, какой изящный заверчен завиток. А если вдруг интрижка – так и её зачем таить? Пускай дивятся на удалство. Скрывать? Разве что от жены (если есть) и от её, жены, родни – это милосердно. А так – с какого перепугу?

Задумался сейчас, что, верно, тороплюсь, не объясняю должным образом мотивировки – поэтому, возможно, есть ко мне вопросы. Туманны побуждения? Тогда пример из русской сказки. Вот колобок. Он, озорник, и от дедушки ушёл, и от стряпухи-бабушки – со свистом да с припевкой. От зайца ушёл и от волка ушёл. И от медведя ему не хитро уйти. И непременно с песенкой. А что в ней, собственно, такого? Зачем она, казалось бы? А вот нужна! Нужна и всё там неспроста. Там каждое «ушёл» – манифестация его, колобка, сладчайшей самости, гимн, так сказать, ликующего бытия: я есть! Если подумать: ушёл, и слава богу. Раз такой ловкач, тихо сиди, как мышь под веником, – подольше проживёшь. Но всё как раз наоборот: желание поведать миру о себе неодолимо. О том, как ты ушёл, как хитроумен был и вон куда сумел в этом сумрачном лесу добраться. И он, колобок, вновь и вновь без устали вещает, и раз за разом достраивает свою историю, продолжает – ведь он, такой румяный, такой душистый и желанный, ушёл не только от дедушки и бабушки, но и от зайца, и от волка... А в действительности рассказ его о том, что он от опасности ушёл, от погони, от клацающих позади зубов, оказавшись сноровистей и удачно воспользовавшись собственной недооценённостью. И ему внимают, удостоверяя тем самым его существование. Потому что если ты не ушёл от дедушки или от бабушки – тебя нет. И если ты ушёл, но никто не знает об этом – тебя тоже нет. А если ты хочешь *быть* – ты должен непременно уйти и миру об этом поведать.

Когда говорю «*быть*» – речь, конечно, не о бессмертии души, но о долговременности памяти. Памяти о тебе. О, так сказать, консервации этой памяти. Потому что есть путь благочестия, ведущий к праведности и спасению, а есть вот этот – путь колобка с его историей, которая, если она твоя или о тебе, способна при удачном стечении обстоятельств тебя увековечить. Опустим печальный финал этой хвастливой выпечки, его никому не избежать.

Однако тот, о ком пойдёт речь – исключение. В отличие от колобка и легиона его, колобка, последователей он исповедовал иное правило: лучше дела без слов, чем слова без дел. Поэтому он – не то. Совсем не то, что о нём думают. Да и обмирщённым его назвать никак нельзя – разве что в смысле мирского подвижничества, мирской заковыристой святости. Он, что ли, олицетворял особую форму юродства – засланец неба в юдоли скорбей. Как жук-навозник, он смиренно работал с тем материалом, который имел в наличии.

А вот я, как несомненное вокруг большинство, – колобок. И нет в том сраму, чтобы походить на большинство. Что такого? И без меня тут каждый из штанов выпрыгивает, чтобы не быть *как все*, чтобы выражение лица непременно иметь *необщее*. Такое, чтобы с другим не спутать. Все как один не желают быть *как все*. И что выходит? Смех и грех: уже только через это своё желание они, точно на параде, точно в шеренге на армейском плацу – как все. Пусть дурачок играет в эти игры. Есть собаки с врождённым нравом: хаски – добродушны, спаниели – ревнивы,

ягдтерьеры – бесстрашны. Так и люди – они тоже рождаются с характером, с чужинкой, с голосом внутри. И тут ничего не попишешь. Станешь натаскивать собаку поперёк натуры – поломаешь собаку. Попробуешь у человека исправить или воспитать характер – сломаешь человека.

Словом, я – колобок, а он, Емеля, – нет. Он другой. Он не рассказывает о себе истории. Истории рассказывают о нём.

И вот ещё.

Хоть я и сказал, что я – колобок, в виду я, разумеется, имел не форму, не телесность, не внешний облик, а способ предъявления себя другим. Нет, в смысле внешнем я совсем не колобок. Ни прежде, ни теперь. Хотя теперь и нагулял шесть лишних килограммов (две трёхлитровых банки сала, как некоторые измеряют). И тем не менее я в хорошей форме – подтянут, бодр, не на диете, интересуюсь женщинами и лёгок на подъём. Надеюсь, дела мои ещё не скоро накроются бордовой шляпой. А шесть килограммов назад – и вовсе был неотразим.

Да, так и есть – ценю себя, и в этом тоже не вижу срама. Ценю – но не гусак надутый, не самовлюблённое растение нарцисс. Без перебора. Просто жить хочется смертельно. Такой вот – ни хороший, ни плохой, не идеал и не обсевок в поле. Видел как-то в телевизоре выступление возрастного женского хора под названием «Ещё не вечер». Это про меня.

* * *

Хотел сразу начать рассказ о нём, о Емеле, но вопреки замыслу начал с себя. Поэтому решил, что следует ещё чуть-чуть добавить – для, так сказать, довершения пейзажа.

В пять лет я был чистейшее создание. И в шесть. И в семь... Падение случилось в девять. Произошло это прискорбное событие в Доме культуры Ленсовета, на новогодней ёлке. Нет – вовсе не Баба-яга, и не Снегурочка, и не рыжая пройдоха Лисичка-сестричка... Снежинки – эти бестии с преступно стройными, затянутыми в белые колготки ножками, нарушили моё безгрешие, мою кристальную невинность. Глядя, как они в своих воздушных пачках-юбочках порхают по сцене, я в первый раз почувствовал, что вождедею. О ужас! Это был удар, которого я никак не ждал. Удар, прерывающий дыхание. Так нас настигает пугающее откровение об истинном устройстве мира – о смерти, о равнодушии к тебе непостижимой и ужасающей вселенной. Откровение о том, что центр мироздания – не ты. Это как падение с велосипеда на раму пахом. Снежинки – вот исчадия и соблазн для детских хрустальных душ!

С тех пор я – тот, кто есть. С тех пор мир для меня во все стороны из года в год пропитывался эротизмом. Что говорить о женщинах? Непостижимым образом я находил sex appeal, чувственность, воспалявшую фантазию, повсюду – то в облаке, то в поезде метро, несущемся в тоннель, то в шевелении кустов, то в пышнобёдрой вазе на столе, то в музыке, то в закате... Да, и в закате тоже! Помнится, стихи даже сочинил по случаю (в юности было дело – пиитствовал, кто без греха):

Густой и вязкой массой света
Закат стекал по небу вниз.
На мягком животе планеты
Посевы Бога растеклись.

Думаю, для довершения пейзажа достаточно.

С Емельяном (выше про Емелю сказал не для словца, так именно знакомые его зовут: он, как и колобок, – из сказки, Красоткин Емельян) мы знакомы с университетской лавки. Учились на одном курсе истфака. Он был иногородний – то ли из Луги, то ли из Тихвина, а может, из Ивангорода – и жил поначалу в общежитии, куда я часто навещался в поисках веселья и альковных авантюр. Тамошние обитательницы в большинстве своём только-только освободились от опеки родителей, забивавших бедных деточек по шляпку в доску своими советами и поучениями. И теперь деточки желанной взрослостью спешили насладиться – не слишком задаваясь проблемами морали, поскольку ещё не ощутили её закон внутри своих томящихся сердец. Да и бес не дремал, подрывая рылом устои нравственности, – то, что вчера казалось совершенно недопустимым, сегодня подавалось со всех углов как добродетель. С теми, кто рано ускользает от родительской опеки, обрётённая свобода часто шутит опасные шутки, поскольку, не найдя ещё опоры, свобода эта не может устоять перед соблазном тёмной вседозволенности. Всем известен этот беспечный юношеский промискуитет – профессором не надо быть. (Профессор прелестей – сейчас подумал – есть ведь и такие...)

Подробно, однако, об этом не буду – это ведь у импотента все мечты только о девушках и причиндале до колена. Нам с ним не по пути. Скажу лишь о двух розанчиках, запомнившихся лучше прочих.

Есть такой южнорусский тип: русые или соломенные волосы (не чёрные, только не чёрные – это другое), серо-зелёные глаза, мягкие покатые черты и гладкая, чистая, смугловатая кожа, которая будто подсвечена изнутри тёплым светом – словно тронутый лёгким загаром опал. Таков её портрет, увы, ныне безымянный (не помню имя). Волосы помню – соломенные. И этот чудный поворот головы и шеи – тоже помню. А имя – нет.

Мы бражничали в студенческой компании в одной из комнат этого беспутного вертепа (общежития), где окна были такие грязные, будто не мылись со времён потопа. Представлены мы не были, я видел эту гурию впервые. С какого курса? Что за факультет? Да какая разница! Она была без кавалера – бесконвойной. В крови горело вино, я кидал в её сторону обжигающие взгляды и – да, она плавно, с этим вот бесподобным поворотом головы, смотрела тоже с интересом. В процессе перегруппировок (люди приходили и уходили, вставали и вновь садились за стол) мы оказались рядом. Все знают – в отношениях полов есть грани, преодоление которых невозвратно, за теми рубежами бурлят энергии, которые сильнее нас. Жизнь, в принципе, гораздо проще, чем принято об этом говорить, но в простоте своей – разнообразна. И счастье, прошу простить за прописи, – в простом, не в сложном. Несколько слов, улыбок, бережных касаний – и проскочила искра. Да, ты дал понять, что женственность её тебя пленила, околдовала, что она желанна – тут редко кто из дев останется равнодушной и не откликнется на зов. «Ты куришь?» – спросила она, играя сигаретой. «Нет, – ответил. – Я все силы без остатка отдаю вину». Шутку приняла благосклонно. Но это ничего ещё не значило – на этой стадии легко и заднюю врубить. А вот когда наши пальцы сомкнулись и наши губы познакомились – тут уже конец. Мы словно бы очутились на обледеневшей крыше и заскользили в пропасть оба. И здесь уж всё – не уцепиться, не спастись. Вокруг только звонкий и рассыпчатый

соловьиный щёкот. Падение неизбежно, какие бы ни имелись обязательства перед другой или другим.

Что добавить? Ночью она проявляла фантазии, но не назойливо, и умела скрашивать паузы отвлекающими пустяками, а утром умудрялась быть озорной и ничего не помнящей. В такую можно и влюбиться. Да, собственно, я и был немножечко влюблён.

Что ещё? Однажды я застал её плачущей у телевизора. На экране мелькало нечто научно-познавательное, приглашающее заглянуть в область тайн природы и загадок бытия – что-то из цикла «ребятам о зверятах». «Представляешь, ежата... – всхлипнула она. – Какие они... какие крошки. Я раньше думала: ну как же, как же они, как же... А тут... Вообрази – рождаются с мягкими иголками...» По щекам её текли слёзы умиления.

Вторая была старше, лет двадцати двух. Ушла с третьего курса геофака в академку, но продолжала жить в комнате с подругой нелегально, таясь от строгой комендантши. Родом она была из валдайской глубинки, с крестьянскими корнями, что сказывалось в её деловитости и хватке. Её звали Тамарой – запомнил, потому что другой Тамары за всю жизнь не знал, – волосы она выбеливала перекисью, и ногти её, всюду, где были, покрывал фиолетовый лак. Она вела свой скромный бизнес – возила на продажу шубы, которыми на Троицком вещевом рынке (такого нет уже) торговала её напарница, державшая там палатку. Середина девяностых, «челноки» с огромными непромокаемыми клетчатými сумками – я об этом. Европа тогда уже голосовала размягчёнными извилинами за близкородственные отношения с природой и по идеологическим соображениям отдавала предпочтение химическому меху перед норкой и куницей. В России же по-прежнему была сильна инерция традиции и натуральные меха носили без стыда. Челночной торговлей в ту пору занимались многие. Кто-то возил из Польши косметику и палёные ликёры, кто-то из Китая фальшивые кроссовки «аидас». Тамара возила тугие клетчатые сумки с шубами то ли из Турции, то ли из Греции, то ли из Хорватии – словом, из какой-то средиземноморской страны, где знают толк в морозах, выюгах и пушных нарядах.

Она отлично разбиралась в изнаночных скорняжных швах, и у неё был строгий график поездок. Она вообще старалась держаться заведённого порядка и чёткой последовательности действий как в области предпринимательства, так и в личной жизни. Скажем, стоило нам добратсья до кровати, как она первым делом неизменно предъявляла мастерство своего сильного свежего рта, а мне в это время большим пальцем ноги следовало совершать осторожное проникновение в её *внутренний мир*, что воодушевляло мою меховщицу необычайно. Но если я, например, говорил ей: «Томка, ты мне вчера приснилась. Приснилась, и я проснулся как последний идиот – счастливым», на её лице тут же проступало замешательство – она терялась, в её голове начиналась сложная работа. Дело в том, что все прежние Тамарины мужчины, похоже, были под стать ей и её коммерческим запросам – циничны и расчётливы. Им нельзя было верить, их нужно было ждать, их следовало добиваться, и чем сложнее это давалось, тем слаще была награда: любовь – крапива стрекучая. А я? Полагаю, я выпадал из ряда её прежних и вообще из её вселенной товарно-денежных взаимосвязей – ей представлялось, что я жажду не только её тела, но и души (хотя про сон – это не о душе совсем). А душой, надёжно прикрытой симпатичным лицом, она была не

готова делиться. Потому что этим она ни разу прежде не делилась, а стало быть, не знала рыночной цены товара и с врождённой крестьянской подозрительностью боялась продешевить. Должен признаться, мне было хорошо с ней, я чувствовал исходящее от неё заботливое тепло. Но это ничего не значило. Рядом с батареей парового отопления тоже не холодно, но жениться на ней никому не приходит в голову.

Обе истории длились недолго, стояли в очереди других (а что делать, если я такой обаятельный?) и рассказаны лишь для того, чтобы понять дальнейшее.

* * *

Теперь вернёмся к Емельяну.

Однажды в университете Красоткин доверительно сказал мне, что по неосторожности подцепил кое-какую стыдную хворь. Я посочувствовал, и даже искренне, но он искал не сочувствия – нет, не сочувствия. Какой прок в сочувствии при подобных обстоятельствах? Он искал помощи, и я, по его мнению, мог по-товарищески прийти ему на выручку. Просьба заключалась в следующем: я окажу неоценимую услугу, если предоставлю ему ненадолго свой паспорт, чтобы он, Емеля, смог отправиться в мой районный КВД, записаться на приём к врачу и осуществить курс лечения. (Тогда такой порядок был, а о платной анонимной помощи в те времена не слыхивали слыхом.) В противном случае, мол, ему придётся обращаться по месту прописки (Луга? Тихвин? Ивангород?), а тут – сессия, пропустить никак нельзя. Ну что ж, бывает. Мы не звери – я вошёл в положение и паспорт дал. Он через пару дней вернул.

Не знаю, стоит ли говорить, что он меня подлейшим образом подставил? Скажу.

Я позабыл уже об этой чепухе, когда примерно через месяц нашёл в почтовом ящике уведомление: в такой-то срок явиться в КВД. Хорошо в тот день почтовый ящик проверил я, а не отец – у отца был суровый нрав, и тяжёлой сцены родительского изумления (вот до чего дошло! в кого такой ты уродился?!) было бы тогда не избежать. Понятное дело, я не желал ни огласки (событие не из тех, какие колобки выставляют напоказ), ни повторных извещений. Я пошёл.

Всё разъяснилось быстро. Оказывается, я был в диспансере (не я – Красоткин), где признался, что подцепил, что грешил самолечением и вроде бы управился с недугом. Однако, как сознательный элемент, полагаю, что надо удостовериться в полной победе над нехорошим и, увы, успевшим проявить себя процессом. У меня (не у меня, у Емельяна) взяли мазок, сделали анализ, инфекции не обнаружили, но прописали полный цикл лечения – болезнь могла спуститься вглубь, укрыться в недрах организма, укорениться и оттуда прорости вновь, грозя опасностью мне и тем, ну... кому – понятно. На процедуры я не пришёл (не я, уже понятно всем), поэтому, выждав время, меня (теперь, действительно, меня) и вызвали уведомлением.

Что дальше? Требовали указать имя и адрес предполагаемой разносчицы заразы, а также имена и контакты тех, с кем имел близость после. Ничего не оставалось, как солгать о случайной связи на панели – а так, мол, я анахорет. Потом мне две недели ставили уколы в ягодицу (больно), брали мазки, засовывали металлическую трубку (чертовски неприятно) в уретру... Словом, пришлось пройти через непростительные унижения. Сорвись я, сбеги – дело бы завершилось принудительными

мерами. То есть я – здоровый – лечился взамен того, кто действительно был болен. Впрочем, последнее не очевидно. (Теперь уверен: всё – спектакль, обман.)

Законно ли моё негодование? Нет сомнений. Я был демон мести. Я был буря.

Попробовал отыскать мерзавца. Но сессия закончилась, народ из общежития разъехался. Собственно, Красоткин туда больше не вернулся – жил в дальнейшем, перебираясь с одной на другую, по съёмным берлогам. Да и я потерял отчего-то вкус к охоте в тех угодьях. Но это всё потом уже...

В тяжёлом гневе я был долго. Весь кипел. Потом немного поостыл – шприцы и трубки остались в прошлом, осадок нехороший таял. Стал рассуждать, шевеля охладевшими извилинами: за что?

Да, за что? Он, Емеля, жил в том месте, где я искал весёлых развлечений. Искал открыто, не таясь и даже бравируя амурными интрижками. Он всё видел. Возможно, молча осуждал. Ведь я вносил в его дом... Что? Грязь? Не соглашусь. Но и чистотой это назвать никак нельзя. Только болван и пустомеля станет утверждать, что любовь всегда права – пусть даже устремления её чисты (а чисты ли были мои?), но и из самой белой глины можно слепить отъявленную непристойность. Быть может, он хотел таким вот вероломным способом меня наставить и предупредить о будущих последствиях моей неизбирательности? (Хотя это неверно – я выбирал и вовсе не согласен был пленяться женственностью там, где её не находил.) Может, он так ломал меня, поскольку эмоциональная окраска его мысли обо мне имела вид безгливой неприязни? Ломал, как кобеля с не в меру озорным характером... То есть, как сам он думал, не ломал, а исправлял, облагораживал, будто болванку, заготовку – полуфабрикат творения. Возможно, он даже скорбел, горько сочувствуя тому пустому, суетному пути, который мог привести меня в беспутство и застенки диспансера. Не знаю. Я не понимал. Ведь говорил уже: он был другим, не таким как большинство, как я. А стало быть, и соображал иначе.

Как соображал? Был каким? Позже я, кажется, понял: ему не хватало в жизни огня – обыденность казалась ему такой пресной и безвкусной, что за обеденным столом он, не снимая пробы, перчил харчо и досаливал в тарелке солёный огурец. Не то чтобы буквально – в фигуральном смысле. А ещё он хорошо умел хотеть. Не чушь какую-то из череды – шмотки, рубли, «порше», рабыня сексуальная, два пива, личные хоромы, – какую хочет всякий ювенал, а ого-го чего. Сказать по чести, он жаждал невозможного – чтобы его подвижному уму стало послушно мироздание. Но, разумеется, не сразу, а постепенно – в ногу с взрослением души. Недурно, да?

Однако я забежал вперёд. Вернёмся в предысторию.

Словом, гнев мой остыл и, когда мы наконец вновь встретились, я драться с ним не стал.

2. Пражский крысарик

Драться не стал, но – как встретились – сгрёб за грудки и чувствительно встряхнул. Емеля улыбнулся хорошо поставленной улыбкой – светлой, смущённой и доверчивой (она до сих пор при нём, и он её, когда потребуется, пускает в ход).

– Ну что, свинью подкинул – надо отвечать, – сурово сообщил, сгущая внутри себя грозу. – Скажешь, пошутил? Блеснул идиотизмом? Может, думаешь, честь моя невелика? Какая б ни была, не тебе над ней смеяться. Что зубы скалишь? Всё, кончились, дружок, потехи...

Ещё немного, и изнутри меня наружу молнией бы полыхнул разряд.

– Где ж тут идиотизм? – Высвободиться Красоткин не пытался, но и страха не было в его глазах. – Идиотизм – это реклама обувного магазина: «Готовы вас обуть». Видел такую недавно на Большом проспекте Петроградской. У нас с тобой другая штука...

– Какая штука?

– Аттракцион: глазок в грядущее.

– Ты рака-то не заводи за камень! – Я всё пытался разбудить в себе злость, достойную этого слова: аргументы по большому счёту закончились – брал голосом.

– Да брось... Что прошлое ворошить? Ведь обошлось, всё на места вернулось. Зато в багаже – ясное представление о перспективе. То, что нас не убивает... и так далее.

– Кончай юлить! Свинью подкинул – должен почками ответить.

– Опять двадцать пять. Дались тебе эти свиньи. Скажи лучше, ты слышал что-нибудь о пражском крысарике? – спросил внезапно Емельян.

– Какого чёрта... – начал я, но порыв мой был уже наполовину обезврежен. Помните, у поэта: «Шла борона прямёхонько, да вдруг махнула в сторону – на камень зуб попал...» – Зачем бодягу эту замутил – не хочешь разъяснить? Не слышу!.. А?

– Видишь ли, Парис... – (Забыл сказать: зовут меня Александр, а кто-то (уж не он ли, не Емеля?) на факультете в Париса перекрестил – и прижилось...) – Ты понял, да? Там оказаться можно и при более печальных обстоятельствах... – Он снова улыбнулся. – Да ладно! Зачем о грустном?..

Я отпустил его ворот.

Читал когда-то, будто есть в голове у человека, как и у иных зверюшек, специальные нейроны – зеркальные. Они отвечают за копирование действий и чувств других. Мы смотрим на чужую радость – зеркальные нейроны пощипывают наши внутренние струны, и мы, улыбаясь, радуемся тоже. Смотрим на чужие мучения – и, сострадая, испытываем боль. Говорят, эти нейроны способствуют ускоренной адаптации детёнышей – так им передаётся опыт взрослых. Чушь! На самом деле они сдерживают в нас желание давить себе подобных, как вредных насекомых. Вот я – хотел ведь только что, а теперь не представлял, как мне Красоткина давить.

– Пойдём, – его взгляд излучал дружелюбие, – я знаю место, где смешивают потрясающий коктейль!

– Гад ты, Емеля... – Запал мой окончательно иссяк. – И чем же он хорош?

– Наутро ты ничего не помнишь. Зато тебя запомнят все. Осушим мировую? Угощаю!

Начало сентября. Совсем начало – летнее ещё, без красок осени. Мы стояли в аркаде галереи Новобиржевого гостиного двора, нарисованного архитектором Кваренги, где размещались исторический и философский факультеты, – ни злости, ни возмущения не было во мне. Улыбка и слова Емели их слизали, словно корова языком.

И мы пошли – скверами, дворами, переулками... Точнее – он повёл.

Я знал, конечно, это заведение, скрытое на задах Кадетской линии, и не раз тут бывал. Снаружи по стене вился плющ, довольно редкий в Петербурге и потому глаз радующий, желанный. Стойка и окна в окопном стиле были задрапированы камуфляжной сеткой, рядом с бутылками на полках помещались макеты танков, самоходок и бронетранспортёров с таинственными опознавательными знаками, между ними россыпью и поодиночке стояли раскрашенные оловянные солдатики неизвестных армий. Кто же с исторического или философского не ведал про кабачок «Блиндаж»? Только зубрила и беспросветный олух. Впрочем, природа этой уверенности мне самому понятна не вполне. Что знал я о других?

Пожалуй, это было одно из немногих мест, где я при всей своей предрасположенности не находил ровным счётом никакого эротизма. Даже если за соседним столиком сидела Вечная Женственность, её словно бы тоже скрывала от меня незримая маскировочная сеть. Так скрывала, что не распознать ни по взгляду, ни по лодыжке, ни по узенькой пятке. И то правда – откуда в окопе женственность?

Обычно, если нелёгкая заносила сюда, заказывал пиво или что-то крепкое – коктейли мне тут не смешивали никогда. Красоткин пошептался с владыкой барной стойки.

– Увы, – сказал, ко мне вернувшись, – сегодня не все ингредиенты есть в наличии. Коктейль отменяется. – И добавил со значением: – Зато есть коковка. Я заказал.

Как выяснилось, коковка – настойка листьев коки на водке. Они, листья эти, в Боливии, в Перу доступны повсеместно и даже рекомендованы к употреблению в условиях высокогорья (мате-де-кока). Для мобилизации организма на случай гипоксии. В «Блиндаж» тянулся перуанский след – кто-то из друзей заведения привёз этих листьев изрядное количество.

Жидкость в графине имела прозрачный зеленовато-охристый оттенок и травяной вкус – лёгкий и приятный.

– А кто такой... ну, этот... пражский крысик? – поинтересовался я после второй.

– Крысарик? – Емельян крутил в пальцах пустую стопку. – Забавная история... Это такая мелкая собачка. Иначе – ратлик. Малыш спасал Прагу от нашествия крыс в прекрасное Средневековье. Знаешь ведь эту притчу?

– Какую?

– Ну, ту придурь, что соседствовала в Европе с пламенеющей готикой. Чернокнижие, ведовство... Невероятно! Если обобщить их так, как обобщают нас они, то... Можно сказать: всех красивых женщин и кошек считали по той поре пособницами дьявола.

Действительно – как будто было дело... У нас повсюду медведи пляшут, у них везде костры чадят.

– Фундагиагиты, – продолжал Емеля, – альбигойская ересь, ведьмобесие и всё такое... Вот и докатились – ввиду падения стараниями святой инквизиции поголовья не только прелестных ведьм, но и кошек пражский крысарик делал кошачью работу. Благо сам был с крысу ростом.

– Действительно, забавно... – Я решил на будущее крысарика заимствовать – девушки любят мягкие игрушки и всякие про них истории.

– Ещё его, благодаря размеру, держали в кармане рядом с кошельком – для рыночных воров отличный реприманд*. – Красоткин помолчал, словно бы ожидая с моей стороны вопроса или реплики, однако не дождался, а может, и не ждал – просто расслабился, наслаждаясь мгновением юности. – Но пражский крысарик – только подводка к теме.

– Какой?

– Высокой. К теме красоты. – Он просиял. – Ведь культ прекрасной дамы возник в Европе исключительно ввиду катастрофического дефицита э-э... скажем так, женского пригожества. А у нехватки этой, как и у минуты славы крысарика, одна причина. О которой уже сказал.

Мимо мелькнул владыка стойки, держа в одной руке салат «Мимоза», а в другой – железный букет из вилки, ложки и ножа.

* * *

Далее Емеля некоторое время рассуждал о странной двойственности европейского Средневековья, отдавшего предпочтение холодной красоте вещей, а красоту телесную назначив инструментом дьявола. Телесная была грешна уже только потому, что побуждала к грешной любви, а преображение её, грешной, во что-то высокое, приподнимающее человека над юдолью, никак не допускалось. Воюя с гностицизмом, Европа отравилась им, пустила заразу в свою кровь. Как яблоко-падалица – ударились бочком о сыру-землю и с краю этого подгнило, само обратилось в землю. Ведь именно гностическая ересь отвергала возможность преображения любви – от плоти к духу. В их вселенной – вселенной гностиков, – где противостоят друг другу Бог и дьявол, свет и тьма, добро и зло, небо и земля, любовь таит в себе великий сатанинский умысел – продлить бытие во плоти, – так говорил Емеля. В целях противодействия нечистому, по их учению, человеку следует воздержаться от брака, от удовольствий любви и рождения детей, чтобы божественная сила не могла и дальше в череде поколений оставаться пленённой – заключённой в материи. У них торжество Эроса означает победу смерти, а не бессмертия, отчего любовь со всей очевидностью попадает в разряд самых тяжких грехов. Этот гностический идеал не имеет ничего общего с христианским, однако же именно он возобладал в умах христианских борцов с ним.

– Вот прохвосты! – не сдержался я.

– *Graecia capta ferum victorem cepit*, – блеснул Емеля латынью. – Греция, взятая в плен, победителей диких пленила. Из послания Горация. – Он наморщил лоб. – Книга вторая, послание первое.

Не помню, чтобы это нам преподавали. Должно быть, Горация Красоткин штудировал факультативно.

Между тем коковка давала себя знать.

– Странно, что они там доросли до готики, – возбудившись, высказал я о прохвостах категорическое мнение.

– Готика их спасла, – возразил Емеля. – Ведь искусство отчасти компенсирует роковую непригодность мира для счастья. – Он почесал переносицу. – Теперь искусство у них отцвело, дало плоды и даже немножко умерло.

– Давай договоримся, – предложил я. – Ну его к бесу, этот высокий стиль.

* Здесь: неожиданность, сюрприз.

– Почему? – Красоткин поднял бровь.

– Потому что на ощупь обнажённые женщины очень напоминают голых баб. – И добавил, чтобы прояснить мысль: – Если хочешь быть счастливым, ешь картошку с черносливом.

Полагаю, он почувствовал, что мы при всём своём несходстве (то есть благодаря ему) недурно друг друга дополняем... (Подумал вдруг: а я не оболещаюсь? Вполне возможно, он чувствовал себя полным и без меня. Полным и самодостаточным. Ведь именно самодостаточность – залог стабильности, а значит, и успеха.)

– Наблюдение верное. – Емеля взял графин. – Но те, кто с тобой согласится, сделают это от недостатка воображения. – Он следил за прозрачной зеленоватой струёй. – А люди без воображения – мелкие мошенники в мире большой красоты.

И он поведал, что вчера, гуляя по городу, наблюдал, как на канале Грибоедова опиливают тополя, оставляя от мощно зеленеющих деревьев искалеченные корявые столбы с короткими культяпками, возле которых на земле в преступном небрежении валялись ещё недавно живые ветви в их цветном наряде. Искалеченные исполины выглядели как античные статуи, варварски лишённые конечностей. Но и не только это... Тут и дома... некогда блиставшие фасадами, теперь увяли, заболели, пошли паршой, посыпалась слоями штукатурка и лепнина... (Напоминаю – середина девяностых, в ту пору мы были студенты.) Так вот, он говорил, что мучился, смотря на это, и страдал. Три раза проходил туда и три обратно. Смотрел, осознавал, в душе его копились печаль и горечь... Пока вдруг его не озарило: мы ведь признаём и ценим античность даже в её развалинах, в ущербности, в безрукости, в её истерзанности. И очаровываемся домысливаемым совершенством, которое сумели разглядеть и в руине, поскольку само понятие о прекрасном никуда от нас не делось, оно живёт вместе с нами, в нас. Мы знаем, что с руками, ногами, удами, головами эти изваяния были бы ещё прекраснее, однако утраты мы в состоянии красоте простить, так как она, красота, там всё равно осталась – ею пропитан каждый львиный коготь, каждый изгиб, каждый локон, каждый угадываемый мраморный порыв. А что касается деревьев... Вот что он, Емельян, сказал:

– Они же по весне зазеленеют. Зазеленеют всё равно. Прошу простить мне мой мелкобуржуазный оптимизм. Ведь жизнь в них всё-таки осталась. А вокруг нас, в обступающей нас подлинности... в целом мире, ничего нет, кроме красоты. Той, которую мы видим, и той, которую пока не разглядели. Ничего другого – понимаешь? Ничего другого нет. И надо эту красоту, скрытую от взгляда, разглядеть...

Всё это, напоминаю, он говорил мне в то время, когда под нами рассыпалась страна, когда вокруг сгушался злой и бодрый мрак. В то время, когда мы очутились в какой-то исторической прорехе, в складке угасания, безвременья, в дурной дыре – там, где вокруг лишь пустота, засасывающая и разрастающаяся вокруг и в нас. (Откуда такой суровый тон? – теперь я изменился, стал другим, а в ту пору поначалу нам казалось, что падение – это чертовски весело.) Эта потерянности и ощущаемая обречённость жизни сеяли споры разрушения и задорного цинизма. Мы думали, что на поругание им отдаём лишь скверную часть нашего настоящего, но они, эти споры, прорастая и оплетая нас своей грибницей, забирали всё. А он, Емеля, за этой сумрачной дырой пытался увидеть красоту. И убеждал меня. И я поверил, что она там есть.

* * *

Впоследствии я не раз размышлял: чем он привлёк, чем обаял меня? Дело в том, что прежде мне не доводилось (или так скрывали, что не замечал) встречать людей, которых бы по-настоящему интересовало что-то, выходящее за границы их самих – их чувственности, их телесности. Я говорю не о профессиональном интересе астронома или ортодонта, а об интересе человеческом, идущем от искреннего переживания. Так вот, ему, Красоткину, было интересно. И неподдельный этот интерес в его глазах мерцал.

Вряд ли кто-то всерьёз поверит в реальность наших намерений – а между тем они были чистосердечны, – но в тот день в «Блиндаже» мы с Емелей договорились сделать мир по возможности пригодным для счастья. Хотя, пожалуй, каждый имел в виду немножечко своё. Но разве может быть иначе? У каждого, когда дело доходит до счастья, свой вкус и своя манера – кто любит арбуз, а кто офицера. Так уж заведено.

Осенние мухи кружили вокруг лампы и бессмысленно бились в белый потолок. Их маленькие крылатые тела, бесформенные в полёте, как стремительные кляксы, делали з-з-з, а шлёпаясь с разгона в штукатурку свода, барабанили тук-тук, как тихий карандаш о стол. Эта изнуряющая музыка никуда не годилась, но музыканты полагали иначе...

Мимо нашего столика проходила девушка – в походке её была красота движения, которая зовётся грацией. Впрочем, присущая месту незримая камуфляжная сеть, полагая, скрывала от меня большую часть её достоинств. «Пойдёмте, сломаемся в танце», – предложил я, хотя в «Блиндаже» танцпола не было. «Нет», – отвергла меня холодно. «Вы замужем?» – спросил с пониманием. «Хуже», – ответила загадочно. Вот как они умеют это?.. Немыслимо!

Но умеют и по-другому. Подхваченный воспоминанием, я рассказал Емеле случившуюся со мной однажды историю знакомства, так сказать, вслепую. Звоню одной подружке (тогда телефоны были стационарные, на привязи – надо было звонить из дома или из будки – и цифры набирать вручную). Трубку берёт. Говорю: «Здравствуй, Оля». (Олей подружку звали.) А она: «Здравствуйте, только я не Оля». То есть – не она. Ошибся номером – бывает. А голос такой грудной, воркующий, сразу дающий образ создания нежного, мечтательного, с мягкими губами... Что делать – извинился. Собрался уже дать отбой, а тут она мне: «А что вы хотели предложить?» – «Кому?» – «Ну, той Оле, которой звонили». Редкая непосредственность. Мне понравилось. «Хотел предложить прогуляться, – а сам предвкушаю уже занимательный поворот. – Вместе вечер провести». – «А вы именно с ней хотели... вечер провести, или не обязательно?» – «Пожалуй, не обязательно». – «А может, я вместо неё?» – и в голосе такая трогательная надежда – не робкая, а так по-женски под робость сыгранная. Ты понимаешь? Как тут устоять! Встретиться договорились в Летнем саду у вазы. Пришла. Забавная девица – сама непринуждённость и раскованность – и всё, что нужно, у неё длинное: ресницы, ноги, воля... «И что вы дальше, – спрашивает, – собирались делать с той... ну, с Олей?» – «Мороженое съесть и хересу на итальянской выпить». Одобрила. Съели, выпили. «А что потом? – говорит, глазами влажными стреляя. – Что потом хотели делать с Олей?» Представляешь? И так вот этим самым «что потом хотели делать с Олей?» меня пытала, пока до греха

не довела. Всю ночь проводила надо мной свои бесчеловечные опыты: «А так вы с Олей не делали? А вот так?» Целеустремлённость необычайная!..

— А что, разве не прекрасно было бы, если б наши желания подобным образом, как бы сами собой, сбывались? — Красоткин оживился, но посчитал нужным пояснить: — Я не о бабах. — И тут же: — Впрочем...

— Для этого надо бы в рай...

— Погоди, — Емеля отмахнулся, — успеется... Мы что, в жизни уже всё устроили, как должно?

— О чём ты?

— Далеко ходить не надо. Взять заповеди, которые нам завещано блюсти... — Он коротко задумался. — Хватит даже одной. Вот этой: когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая.

— И что? — Я не успевал за его мыслью — думал на других скоростях.

— Христианское богословие не отдало этому наказу должного. Толкование и вовсе никудышное: долой фарисейство и показуху! Стыд и срам. А речь, между прочим, ни много ни мало о пути достижения благодати — через творение добра тайно, через скрытую милость и незримое содействие. Здесь корень понимания божественного провидения! Надеюсь, ты не считаешь христианство дремучим мракобесием, достойным сегодня только насмешки и забвения? — Красоткин заглянул мне в глаза и, думаю, увидел там космос. — И правильно. Стало быть, если Христос заповедал вершить благо сокровенно, не напоказ, то разумно предположить, что и сам Он действовал точно так же. А что это значит?

— Самому интересно, — признался я. — Прямо исчесался весь.

— Это значит, что явленные Им чудеса и публичные благодеяния — лишь небольшая частица Его свершений! Основное — в тени. Но разве нам известно учение о тайных чудесах Христа?

— Куда только богословы смотрят... — Речь мне показалась интересной, хотя и отвлечённой от наших грешных будней. — Профукать такую тему... Впрочем, — припомнил я, — отдельные деяния святителей на этом поприще известны: Николай Чудотворец тайком подбросил золото трём бедным бесприданницам. Обнищавший отец собирался продать их в блудилище.

— Но тайну сохранить не удалось... — не то продолжил, не то возразил Емеля.

— Дважды вышло тайно, а вот на третий раз дал маху — засветился.

— Вывод: нельзя действовать по одной схеме. Шаблонить тут непозволительно.

— Возьмём лень за ремень...

— И вообще, что касается учения о тайных чудесах Христа — здесь открывается возможность постигнуть многие, так сказать, загадки бытия. Истолковать кое-какие тёмные его места. — Воодушевление Красоткина было заразительным. — Именно учение о скрытых благодеяниях Господа может дать к этому ключи. Ведь происходящее с нами выглядит разумным, если подходить к действительности с той меркой, что всё могло быть хуже... Могло. Но это худшее от нас отведено, мы от него избавлены. Избавлены именно волей незримого божественного чуда. С этого угла многое, что обычно считается делом рук дьявола, то есть искушение, соблазн или сама телесная смерть, видится всего лишь

посильным испытанием, которое милостиво предотвращает испытание невыносимое.

– Жаль, что это учение так и не дождалось своего создателя, – посетовал я – Емеля был, конечно, молодец, но в моём представлении на богослова не тянул. – А мы-то что? Что мы устроить в жизни можем? Сам же сказал – надо бы устроить как должно...

– Да. Это правда. – Он уклоняться не желал. – Что касается скрытого блага как небесной истины, то поиски его ведутся из рук вон плохо. А вот идея тайного зла, напротив, является излюбленной для... как говорят философы, практического разума. Разоблачить тайное коварство, обнаружить подковёрные козни, вывести на чистую воду злой умысел – любимые у нас забавы. Никому и в голову не приходит задуматься: если зло все и повсеместно стараются выдать за благо, то кем нужно быть, чтобы прятать в тени благо истинное?

– И кем же?

Красоткин посмотрел на меня убийственно, испепеляя холодным огнём сочувствия.

– Богом, – сказал. – Или рыцарем тайного милосердия.

Я усомнился:

– Если уж христианство за всю свою историю не разродилось рыцарским или монашеским орденом такого рода, то...

– Почём нам знать, что такого ордена не существует?

– Как так?..

– Что это, скажи пожалуйста, за тайное милосердие, если тебе и мне о нём известно? Это ведь осечка – как у святителя Николая с третьей бесприданницей.

Я в уме прикинул и:

– Уел, – признался.

– Согласись, мир, которым в своих нехороших интересах коварно манипулируют масоны, атлантисты, аннунаки, рептилоиды и прочая мировая закулиса, – это уже порядком надоевшая пластинка.

– Да, шубка молью бита.

– А что если этой заезженной пластинке противопоставить свежую мелодию – такой порядок мира, где вовсе не тайное зло, а именно скрытое благо определяет ход вещей? Скрытое благо – понимаешь? Не только божественное, но и мирское...

– Постой... – В голове моей сверкнуло озарение. – Так ты подвёл меня под КВД, чтобы посильным испытанием спасти от больших бед? Чтоб честь не растерял? Чтоб не отдал кому попало поцелуя без любви?

Емеля, кажется, смутился. По крайней мере улыбнулся так же, как тогда, когда я его приподнял за грудки.

– Видишь ли, Парис... – Он старался подбирать слова. – Разбрызгайка по рюмкам.

Я разбрызгал.

– Человеку испорченному, не твёрдому в устоях нравственности, – продолжил он, – тоже стоит подать руку помощи. Но тут помощь должна иметь другие свойства... Содействие трудностями – так примерно. И это тоже будет в свой черёд благое дело. В такой форме оно, возможно, даже нужнее добра, так сказать, прямого действия. – Красоткин поворошил волосы на темени. – Да, с диспансером вышло не того... Согласен. Тут известен благодетель, причастный к содействию. А так быть не должно. Косяк. Это не тайное – это, скорее, бескорыстное добро...

Хотел сказать: «Скорее, зло бескорыстное». Но не успел. Потому что он тут же, без заминки, изложил мне свой импровизированный замысел, в котором, однако же, местами угадывались положения, определённо требовавшие предварительных раздумий. То есть, предполагаю, он размышлял о чём-то схожем и прежде, просто теперь мозаика окончательно сложилась.

* * *

Честная мать! Отец небесный! Оказывается, чтобы рыцарю нашего ордена, подвижнику скрытого блага, не оказаться разоблачённым и остаться незамеченным, следует свой путь хитросплетать и ухищрять не менее, чем ухищряет и хитросплетает свои пути поборник тайного зла! Ведь объекту заботы ни в коем случае не следует догадываться о том, что некто о нём печётся, иначе он, опекаемый, как пить дать отнесёт негаданную помощь на счёт своей избранности, а это, как известно, здорово вредит характеру.

Ведь люди таковы, что все так или иначе в предчувствиях своих готовы к скрытым пакостям от окружающих, а также другим злоумышлениям в свой адрес, даже немотивированным, и очень редко кто рассчитывает на безымянную доброжелательность. Понятно, когда кто-то, кому вы невзначай перешли дорогу, тайком подбрасывает под колёса вашей машины саморезы. Но чтобы кто-то из-под колёс вашей машины втихую саморезы убирал – это увольте. Не бывает! Нет, невероятно! Померещилось... Так вроде бы при первом взгляде кажется. Ведь мы ничего не знаем о тайном добре, заведомо и скрупулёзно творимом именно как добро и именно как тайное. Но если приглядеться к рутине повседневности с вниманием, настроив взгляд так, чтобы предмет интереса не проскользнул размытым облачком, а оказался в фокусе... то – вот и нет. Бывает! Есть и такое в жизни. Есть как принцип! Более того – скрытая предрасположенность кого-то к вам (или вас к кому-то) суть подвиг нравственного подражания Христу. А это – сила. И энергия этой силы на диво велика. За такой безымянной заботой, существующей в режиме неуловимого (или едва уловимого) миража, стоят незримые таинственные рыцари, которые и убирают из-под ваших колёс саморезы, а в случае нужды могут распространить свою заботу вширь, вдаль и вглубь, выбрав себе кого-то в подопечные для долгого возделывания, будто сортовой саженец, который в будущем чреват отменными плодами. Плодами не для них, но вообще... Для мира.

В чём их, этих призрачных благодетелей, этих рыцарей тайного милосердия, мотив, кроме подвига подражания Ему? Если кому-то вдруг покажется, что одного этого мало... Да в том уже хотя бы, что они будут наслаждаться своей незримостью! Счастьем тайного, доброго и справедливого властелина... А также своей причастностью к другим, столь же чудесным образом незримым. А эти другие – есть! Поскольку... не может их не быть! Хотя они, конечно, постоянно вызывают определённые вопросы в плане достоверности. Но так быть и должно – ведь они сознательно пребывают под завесой тайны.

Согласится ли современник, взыскующий публичного мнения о себе (в мой огород камень), желающий стать королём молвы, болеющий за репутацию (неважно с каким знаком), быть обречённым в благих своих делах на анонимность? Сомнительно. Весьма сомнительно. И всё же. Если он сберёт детскую веру во Всевидящего... если сберёт детскую

душу (а христианство по сути – это вера детей и стремление сохранить детскость души), то – да, согласится. Поскольку знает, что его усилия и дела, не видимые окружающими, наверняка видит Тот, Всевидящий. Видит и воздаёт Своим судом.

Что ж, речь Емели звучала убедительно.

– Так, значит, другие о наших делах ничего не узнают? – уточнил я. – Не заподозрят в добре и никак о нас не подумают? Ни хорошо, ни плохо?

– Именно, – кивнул Емеля.

Это было против моих представлений. Решительно, навыверт... Ну, тех самых: дескать, человек – это то, что думают о нём другие. Поэтому, должно быть, и показалось мне заманчивым.

– Согласен, – согласился я. – Всемером и батьку бить легче. Когда выходим на тропу бескорыстного добра?

– Сперва договоримся о понятиях, – предупредил Красоткин. – Бескорыстное добро и скрытое благодеяние – разные цветочки. Говорил уже... Бескорыстное добро, как следует из его названия, отвергает лишь корыстное. То воздаяние, которое может быть выражено в деньгах... или какой-нибудь товарной форме. Но другая награда вполне приемлема – скажем, фимиам восхищения. Кроме того, в случае бескорыстного добра речь не идёт об отказе от авторства в отношении поступка. Наша тропа другая. Это совиная тропа.

– Почему совиная?

– Потому что у совы бесшумный полёт. – Емеля оказался натуралистом. – И ещё потому, что у совы нет никакой тропы.

– Теперь понятно.

Далее он пояснил, что тропа тайного благодеяния многого потребует от того, кто на неё ступил. Так что придётся поработать над собой. Зато она и многое дарует. Тому, кто идёт по ней. Она погружает в другое, давным-давно утраченное нами измерение. То измерение, что родственно пространству мистерии, горизонтам героического и жертвенного или сокровенному опыту веры. Потому что тропа тайного добра со всеми своими извивами и петлями – тоже не от мира сего. И она возвращает идущего по ней в то сверхчувственное состояние, которое некогда было присуще человеку и которое он потерял. Потерял и теперь тоскует по нему, толком не понимая причину своей тоски. Но на этой тропе чувства невольно вновь начинают обретать былую подлинность. Вот только для начала надо отбросить тиранию чужого мнения, погоню за успехом, жажду воздаяния и другие обольщения мира, склонившегося к ногам золотого тельца. Всё это придётся сделать, иначе ты просто не увидишь никакой тропы.

Примерно так.

* * *

Что там, в «Блиндаже», было дальше? Ещё не раз разбрызгали. Кажется, я изливал Красоткину беспутную душу. Всплывает фраза: «Понимаю: ты не мой духовник, но я всё равно не могу заткнуться и избавить тебя от потока этих нелепых откровений...» Емеля слушал, время от времени уводя разговор в таинственные области (он всё же был отпетый конспиролог) – например, он был уверен, что в ответ на посланную атлантистами в 1908-м тунгусскую хлопушку, Россия в 1912-м ответила самонаводящейся ледышкой. Я упрямо возвращался к своим

баранам, то есть к овцам, и делился наблюдением, что белокожие снегурочки мигом краснеют от смущения, но краска быстро сходит с их щёк, как только отпадает надобность стыдиться...

Потом жидкость в очередном графине закончилась. К нам подошёл владыка стойки (по фамилии Овсянкин – выяснилось позже), таинственный, как теорема Ферма, – глаза его, подобно глазам хамелеона, смотрели в разные стороны. Час расплаты. Емеля, отсчитывая деньги (угощал), высунул от усердия язык, словно малыш, вырезающий из бумаги снежинку.

Итог? До этого дня мы были знакомы с Красоткиным верхами. После двух графинов коковки сошлись накоротке. На годы. Сговор между нами о мире, пригодном для счастья, – Фаустом себя не мню, – был заключён и, как ни странно, укоренился в памяти, свернувшись до поры, как сворачивается бычий цепень в кишке.

Потом вышли на улицу, где я тут же проглотил шального осеннего комара. Но вкус его остался неизведанным – минуя сосочки языка с их чувствительными почками, комар влетел прямо в горло. Вечерний воздух пах дождём, уже, хвала небесам, прошедшим. Под светом фонаря кирпич стены казался воспалённо-красным, будто ошпаренным, а лужи драгоценно блестели, словно напоказ.

Коковка воодушевляла отменно, пьяня и зовя в полёт. И сны дарила весёлые, гулкие, пенные, – словно газированные. После «Блиндажа» ночью я впервые упал во сне с кровати.

Елена КРЮКОВА

Родилась в Самаре. Окончила Московскую государственную консерваторию (фортепиано, орган) и Литературный институт им. Горького.

Автор книг стихов и прозы, куратор и автор художественных проектов в России и за рубежом. Лауреат премии им. М. И. Цветаевой, Кубка мира по русской поэзии, премий журнала «Нева» за лучший роман года («Врата смерти», 2012), им. Горького (2014), им. И. Гончарова (2015), Международной литературной премии им. А. Куприна (2016), Международной премии им. Э. Хемингуэя (2017) и других.

Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

ДОЛИНА ЦАРЕЙ

Фрагменты романа

*Что ты наречемъ, Василиѣ преблаженне?
Наготою тѣла послѣдовалъ еси Христу,
мудрѣйшимъ юродствомъ прехитрилъ еси діавола,
сего связая пленицами слезъ твоихъ
и богатство нося въ души некрадомо,
вся Христова ученія дѣломъ исполнилъ еси.
И нынѣ на небесѣхъ ликуя,
непрестанно моли Христа Бога
спасти души наша.*

Мѣсяца Августа во 2-й день. Служба святаго
блаженнаго Василия, Христа ради юродиваго, Мос-
ковского чудотворца.

На стиховнѣ стихиры, гласъ осьмый, подобенъ.

ФРЕСКА ПЕРВАЯ. МЕДВЕЖИЙ СОН

Муки и слёзы – ведь это тоже жизнь.

Ф. М. Достоевский,
«Преступление и наказание»

Малое клеймо житийной иконы, закопчённой временем

Он родился, обычный ребёнок, от обычной бабы, и никто не знал
никогда его отца.

Он прекрасно помнил мать, он и отца помнил. Но никому никогда об
отце не говорил.

И то правда, никогда не говори никому о тех, от кого ты на свет появился.

Его мать была сельской лекаркой, тихой знахаркой; в горах затеряны деревянные матрёшки – избы родного сельца, крыши крыты соломой, у изб мохнатые башки, иной раз мимо окон протрусит волк, шерсть у него жёлто-серая, а крохотные зенки под скошенным лбом серо-жёлтые, золотые: волк поглядит – и ты нечеловеком вмиг станешь.

Зимой наметало сугробы до неба. Мать ведала много, да больше молчала. Он ещё до рождения помнил её молчаливой, собирающей целебные дикие травы в луговинах, заросших лиловым багульником, и на склонах крутояров. Тайга раскидывалась рыжей шкурой, медвежьей. Да, волки там таились, лисы шныряли, иногда мальчонка Василий, шально, один, отколовшись от матери, любопытствуя, забредая в тайгу, зрел барсука. Барсук жил в громадной норе под старухой-сосной, крутосклон осыпался опасным обвалом, дерево из всех силёнок цеплялось нагими корнями за красную влажную землю. Глина, пропитанная кровью. Земля всегда исторгала из его глаз слёзы, что во младенчестве, что в зрелых волчиных годах, и он шептал себе: глупо плакать над землёй, ведь она обнимет тебя однажды. Брусника, капли её кровушки среди сплетенья листьев и стеблей. Тёмно-синяя грозная жимолость, куст клонится под её сладкой, чугунно-грозовой, княжьей тяжестью. Облепиха, пылко, жадно обнимающая раскидистые ветки, она ловко прячется среди узкой серебристой листвы, чтобы её не сорвали, не сожрали звери и люди. Медведь любит ягоды, он тоже человек. Мать называла медведя ласково: медведко, волка так: волченька, и все звери таёжные у неё звучали колокольчиковой, гвоздичной музыкой: волченька, лисонька, барсучишко. А к тайге мать обращалась так: вставала на колени, протягивала сильные красивые руки к чащобе и говорила-пела, закрыв лунными веками очеса: лесушко бажонный, дай мне зверя поразить на пропитание родному сыночку моему! Таёженька бажоная, дай ягодки в туес, дай водицы из реченьки! Дай черемши пучок, дай медка дикого, диковинного из дупла, а вы, пчёлоньки, не кусайтесь! И пчелы разлетались перед матерью верером, и зачерпывала она песочно-медный, густейший мёд из дубового дупла, он небесным златом лился на землю, струился золотой тонкой нитью; и низко наклонялась она, сбирая остро-пахучую черемшу цвета болотины, и долго стояла в чаще с прижатой к плечу винтовкой образца первой мировой войны, старательно и страдально сторожила зверя; и вот зверь выходил, показывал страшную морду свою, нельзя было глядеть в глаза зверю, его сородичем тогда бесприменно станешь, но мать глядела.

И Василий учился глядеть тоже.

Он глядел и уже рождённый, у него, живого, ведь торчали глаза подо лбом, глядел и нерождённый, и это было страшнее всего. Тела не было. Рук-ног не было. Разума под твёрдым костяным черепом не было, а он уже жил, глядел, любил.

Он рассматривал будущую мать сверху, слева и справа, снизу и сбоку, он видел её сразу, всюду, и сразу наблюдал все её времена, в коих она жила. Так он до жизни учился познавать жизнь. Он понял: жизни нельзя приказать явиться, и жизнь нельзя оборвать.

Однажды его мать нашла близ угольно-жуткой, дышащей мощью Ада барсучьей норы дощечку. С доски на мать, на тайгу глядел нежный лик. Мать запрятала доску за пазуху и медленно шла сквозь лес,

сама себе казалась горячей шёлковой нитью цвета слепящего жарка, тянулась бесконечно, скитально через распадки, овраги и увалы. Придя домой, мать огляделась. Как тепло, чисто в доме! Две толстенные, с коровию крепкую ногу, свечи стерегли раскрытую на любимой странице Книгу Жизни. В Книге написано всё, что люди знали, и всё, чего не знали, а Бог знал. Богов в тайге летало множество, а в Книге царил Бог один, да тысяча лиц сияло у Него, отовсюду Он глядел: отверни камень – Он там, погрузи сеть в ледяную реку – Он забьётся в сети. На ржавой плахе подпечка стоял медный чайник, мать нашла его на речной отмели, рыбаки тут жгли костёр, воду кипятили, чай хлебали и чайник позабыли. Где тех рыбаков теперь сыскать? Мать, когда в чайнике булькал и парил кипяток, молилась за рыбаков. Она молилась странными, забытыми, корявыми словами.

Праздники на селе играли замысловато, радужно. Обряжали друг друга в венцы из трав и колосьев, в понёвы длиннее годового круга, обворачивали плечи волчьими жёсткими, железными шкурами. Сельчане прикидывались больными, напяливали белые рубахи; белизна родильных пелён, белизна свадебной ткани, белизна смертного савана. А кто одевался Звёздным Жителем, брал в руки красные цветы – маки, жарки, полевые гвоздики, – осыпал нарочно-болящего теми цветами, обливал живою водой из стеклянной четверти. Вопил оглушительно: «Вста-а-а-ань!» И якобы мёртвый вставал, широко распахивал глаза, улыбался робко, обнажая зубы, а как беззубый. Вокруг на земле сидели девки и громко, взахлёб пели: ай, жизнь! ай, любовь! породися вновь да вновь! Ай, судьба! Ай, краса! Небеса, небеса!

Старики курили. Звёздные Жители смеялись звонко, будто зимние алмазы размашисто рассыпали. Костры горели сильно, мощно, наваливалась медвежьей тушей ночь, забивала чёрной шерстью глотки, глаза, занавешивала лица. Про Бога, учившего про любовь, знали-помнили все, да старики сквозь дым, прикрывая морщинистые воспалённые веки, хрипели: помни про Великое Небо. И про Великую Землю.

Мать Василия помнила своё имя, да часто забывала. Она рано начала терять словесную память, зато память извилисто льющейся внутри, по её потрохам, крови все разгоралась, причиняя ей боль, особенно ночами. Иногда кровь начинала в ней бормотать, пророчить. Мать Василия научилась читать письма крови без слов. Кровь подавала ей знаки. Однажды женщина раскрыла рот и назвала себя по имени, а ей почудилось, не голос, а рык зверя окликнул её. Марина, выдавила она из натужной глотки, Марина, она пыталась вспомнить, какая же далёкая, заоблачная святая, из тех, что рисовали на еловых досках и выцарапывали на берёсте, это имя носила. И эхом ей повторило дальней лесное рычанье: Ма... ри... на... – и она закрыла уши руками и сидела так долго, не отнимая рук.

Женщина предназначена родить. Она не хотела идти в лес. Грани стакана горели, просили ягод. Жимолость, брусника! Туес валился с лавки. Корзины зазывно выставляли плетёные бока. Солнце высоко горело, оранжевым глазом сбитого масла, в сметанно-белом небе, и тайга под лучами стелилась колючей, жёсткой рыжей шкурой. Марина подхватила туес, туго подпоясалась, дунула на бесконечно горящие у толстой старой Книги витые свечи, наложила на себя крест, улыбнулась и шагнула через порог. «Не ходи, не ходи!» – кто-то тихо шептал в ней, словно бы говорящий робкий барсучонок, полосатый старомудрый бурндук. Она вошла в тайгу и шла по тропинке, её протоптали сельчане.

Ей было страшно и прекрасно. Никогда ещё ей так страшно не было в тайге.

Она ступила ногою в лапотке на поляну, румяную от изобильной брусники. Сначала нагнулась и собирала нагнувшись, потом присела на корточки. Сзади послышался громкий хруст. Сломалась ветка крупная, сухая. Марина обернулась. Из-за лиственницы вышел мохнатый чёрный, огромный человек. Марина два, три долгих мига спустя догадалась: медведь.

Она хотела бежать, да ноги налились железом. Приварились к тёплому, травному колену земли. Не надо! – хотела крикнуть, да ветер закрыл ей уста тёплой липкой, брусничной ладонью. Значит, смерть моя явилась, молча сказала она себе, понимая, что вот они, её последние слова на Великой Земле. Медведь вперевадку, в рост, тяжело ступая на примятую траву могучими, как гроззовые облака, задними лапами, шёл к ней, неуклонно, неостановимо. Подойдя близко, он выше вздел передние лапы, и Марина увидела слишком близко от себя блестящие на Солнце, длинные, как жизнь, угольно-чёрные когти. Сейчас лапой играючи махнёт и кожу мне с башки разом сдерёт, думала она, а мысли дымно рвались, слова кровили и разлетались красными брызгами, раздавленная брусника стекала по щекам, по белым плечам, они заголялись, торчали из измятой ткани, колени подкашивались, гроза надвигалась, её уже ничто в мире не могло остановить. Она не запомнила, падала она на живот, на бок или на спину перед зверем, а он на глазах превращался в дикого человека, мохнатого, бродячего, неприкаянного, злого, нежного, убивающего, умирающего, воскресающего. Когда Марина упала, он одной лапой легко, будто она была пушинка, перевернул её с живота набок, с бока на спину, и, вставши на все четыре лапы, наклонился над ней, уставился на неё, глядел долго, маленькими, широко расставленными, красными ягодами-глазами, и, когда кудлатый лик придвигался ближе, всё ближе, её закинутое лицо опахнуло из пасти невыносимым жаром, словно бы чрево земли разялось, и оттуда вырвался сноп горячего, довременного воздуха, твёрже охотничьей ладони, страшнее пули, впившейся в живую, взорванную болью мясную мякоть.

Время сжалось в кулак, в смешной, полный воздуха и пустоты гриб дождевик. Время лопнуло, на его месте оказалось ничто, сладкое, как древняя синяя жимолость. Лапы чёрного огромного медведя укрыли её звёздной траурной парчой, струящимся крепом, таким в избах бабы при покойнике, во гробе лежащем, закрывают тусклые, с шелушащейся амальгамой, родовые зеркала.

Тайга смешала заполошным варевом день и ночь. Прямо в центре необъятной ночи Марина разлепила глаза и губы. Перед ней лежал медведь. Спина его возвышалась тяжёлым угольным холмом. Лапы он сложил кольцом, сквозь них можно было пролезть и уползти в мохнатую горячую, душную нору, под его земляной, зимний живот. Лето ли, осень, зима? Всё бурлило, хлопотало. Времена радугой вставали-изгибались пред румяным потным лицом Марины и падали в дышащий пьяной черемшой овраг, за её спину. Тело её свело длинной судорогой; она боялась превратиться в железную стрекозу со слюдяными крыльями и взмыть в холод и звёзды, и навек улететь отсюда.

Марина неслышно положила тяжёлую руку на тёплый бок зверя, осторожно влела пальцы в ночную шерсть. Медведь не охнул, не застонал, не вздрогнул. Он слишком крепко спал. Труд жизни придавил его многоочитым небесным грузом.

Остановить пожар

Я, Василий, безумным ныне все кличут меня, таковой я, видать, и есть, хорошо помню, как я зародился. Помню человека, с него медленно сползала наземь, по груди и животу, страшная маска медведя; разымалась надвое и падала к ногам, вся в роскошных грязных лохмах, медвежья шкура. Живое навеки теряет суждѣнную одежду. Живое прощается с привычным облищем. Живое перетекает в новое живое, но никогда – в железо, камень, винт, шестерѣнку. Остановитесь! Задумайтесь! Ведь и камень – живой: вот уголь, он сложен из скорбных останков давно погибших растений, змей, ящериц и птиц. Ведь и железо живое, ибо оно плавилось в первозданном огне, а огонь дышит и движется, разве он мѣртвый?

Вздрагивать! Дышать! Растопыривать жабры! Жадно пожирать добычу! А мыслить? Разве камень мыслит? А зачинать? Разве железо продолжит род?!

Смерть и сон отразились в зеркале лица моей матери. Скуластый лик её шел волнами; чуть раскосыми, с дикой сибиринкой, глазами она вела туда-сюда. Искала. Рыскала зрачками по земле и небу.

Она искала – меня.

А я вот он, я уже был в ней, я вспомнил, как медведь навалился на тело Марины, будто она была вязанка хвороста, копка сухих веток для розжигу таёжного костра, раскинул широкие лапы, обратился в срубленную дровосеком чёрную ель, еловые пахучие, колючие ветви спасительно закрыли Марину, биение её раздавленного медведем сильного тела, кричащий рот, молнией сверкнувшие в ночи зубы. Я видел, как медведь поднялся с земли и встал на дыбы; и как шкура тучей летела вниз, в заповеделье; и катилась смоляная маска прочь с лица, и наружу, на холмы и в лощины, выходил лесной человек, великий жизнью и духом, владыка предсмертия и посмертия, и посреди тех небывалых, незримых времён стоял он, глядел на мою мать, а она, распятая, белая как ранняя зима, покорно лежала под его мощными мохнатыми ногами.

Владыка наклонился, ухватил мою мать под мышки и медленно, нежно поднял с земли. Золотой лик моей матери уткнулся владыке в голую грудь. Руки вождя зверей сомкнулись у Марины на голой спине. Разделённая надвое голая жизнь обнялась, воссоединилась. Теперь их было не разрубить, не раззять.

И горячая звѣздная материя перетекала меж ними, я вливался во чрево матери моей, дрожал там, во тьме, и раскидывал незримые руки и ноги, пытаясь паутинно, невесомо обнять беззащитное моё бытие. Все стрелы будущих страданий жгуче воткнулись в меня. Я стал сам себе боль. Сам себе огонь. Сам себе Крест. Крест вспыхнул Солнцем, и я обжѣлся и закричал. Я зверем вопил там, внутри матери, тела мои росли, вспухали, прибавлялись горячим тестом, то горечь, то сладость бешено заливала крохотные мои, мельче комара, немые губѣшки, я, сидя внутри материнской плоти, слышал, как, легко звеня, по кругу ходят бешено пылающие небесные светила, слышал, как бурундук, ловко вертя в когтях кедровую шишку, лущит её и шелушит, и острые алмазные его зубы разгрызают орешки, семена любви. Я разрастался внутри утробы, пел там, плакал, визжал. Меня не слышали, зато я слышал всё.

И видел всё.

Человеку совсем не надобно зрѣнье, чтобы видеть. Он видит иную сущностью. Я, Василий-царь, знаю это. Всей кожей узнал. Всей кровью.

Когда в кровь моей матери вливалась белая, зимняя медвежья влага, и реки двух священных жидкостей соединялись и мгновенно, колдовски лепили меня, вылепляли мне лик, рамена, чресла, чело, очи, да всё, из чего сложен хрупкий земной поселенец... жаль земного поселенца!.. жаль навеки, до конца, до звёздного туманного венца!.. — я видел всё, и даже то, что мне, на земле людей, не дано было въявь увидеть никогда.

Я видел иные реки. Чужие моря. Пугающие высотой горы. Громадные, раскинувшиеся от хребта до хребта, расшитые серебром бурь густо-лиловые, грозные посадские платы океанов. Я видел странных людей, изысканно-томных, устрашающе-великанских; бисерных, малюсеньких, крохотнее кошки. Я слышал звучанье многих языков, томительно рыдали их песни, звенели на площадях их воззвания и приговоры, а мне было всё до выдоха понятно, что кричит и шепчет другой народ: кто открывал мне иные смыслы, я не знал, да и знать не хотел. Владыка-Медведь и мать Марина зачали меня, я видел, как это творилось, и я запомнил это навсегда.

Никогда? Навсегда?

Что такое теперь, тогда, всегда, никогда?

Я, кувыркаясь в брюхе матери моей, медведицей так и не ставшей, а оставшейся человечей, знал: Время — не для часов, не для ходиков, медных стрелок и лунного безглазого маятника, а для самого себя.

Время рождает само себя на свет и уходит само в себя.

Поэтому мы не можем поймать его в капкан, как зверя в тайге.

Не можем пригвоздить ко Кресту, колесовать, ножом изрезать, сжечь на костре.

Мы ничего не можем с ним сделать.

Зато оно с нами может сделать — всё.

* * *

...и, когда они, освобожденный от Царских шкур зверь и молчаливая лесная женщина, обнимались среди тайги, и потом опять легли на хвойное ложе и обнялись ещё крепче, ещё бесповоротней и обречённой, я увидел в небесах, над тайгой, как с пропасти зенита сорвался снап света и резко, быстро устремился к земле.

Метеор? Болид? Свет летел к земле в сияющей тысячью звёзд осенней ночи, и я рассмотрел: это человек. Маленькие ручки, маленькие ножки, совсем как у меня, зачатого миг назад. Голый. Как и я. Летит вниз. Как и я. Я тоже лечу в животе матери, и полёт мой неостановим. Тяжесть планеты. Груз притяжения. Не отсечь. Не избавиться. Не отбиться.

Станный гул возник вдали. Поляна, еловый лапник, зверь-человек на земле, о двух спинах, озарились странным, дальним красным светом, бредовым, пытальным, Адским. Я расслышал: гул надвигался. Приближался. А этот, человечек-кроха, совсем не герой, жалкий, нежный, дрожащая былинка, белая полынная ветка, всё падал с разъятых болью небес.

Он летел! Он летит! Он и сейчас летит! А я где?! А я лечу вместе с ним! Я различал его всё явственнее. Он становился цвета огня. Лес обращался в гигантский костёр и освещал летящую фигуру снизу, подсвечивал грядущим огненным страданьем. Я догадался! Ангел падал с неба, чтобы разбиться на тысячу кусков, а сатана возжёт таёжный пожар. Звери! Птицы! Букашки малые! Сейчас вы все погибнете!

Я, в утробе матери моей, сам был меньше жука, меньше паука. Я полз по стеблю кровеносной жилы, перебирал лапками, узорчатая красная ящерка. Милый Ангел! Не падай в огонь! Не превращайся в пепел! Ведь я же не знаю, погибнешь ты навек или воскреснешь на третий день!

Откуда я узнал про третий день? Нет в мире счисления дней и ночей, нет отсчета часов. Время не требует от людей измерения. Ему самого себя достаточно. Пламя! Оно приближается! Оно идёт на нас дымящейся тучей! Красной стеной! Оно живёт, оно поёт! Гудит и бешенствует! Нам не заткнуть ему горячий рот. Огонь, он тоже зверь! Никакая женщина ещё не зачала от огня, не родила. Владыка-Медведь и Марина расцепили объятия, отпрянули друг от друга. Застыли. Глядели. Пламя подкатилось уже близко. Пожирало лиственницы, пихты, ели, всё молчаливое воинство деревьев, и деревья кричали от боли всем треском коры, всеми изгибами корней и сучьев. А впереди огня бежали звери, ползли гады, летели птицы, трещали крыльями стрекозы, сгорающие на лету совы и клесты валились в жадные языки огня, в голодную его красную пасть, летящие бабочки и сойки обращались в комья пепла, в горелые личинки смерти.

Зачем живому всеобщая смерть? Зачем горят леса? На пол-Мира горят? Кто огонь остановит?

Я перевел незримые глаза в небо.

Ангел летел. Ангел всё ещё падал.

А разве в небесах есть верх и низ? Может, для нас Ангел падает, а для Бога – летит вверх, взмывает, торжествует? Лети, пока дано лететь! Небо – колыбель Бога! Может, так Он тебя, Отец, в колыбельке качает!

Что я тогда, в утробе, знал про Бога? Про Него и живые-живущие не знают; вышепнешь: Бог, – а они захохочут над тобой, изглумятся, пальцами зачнут в тебя тыкать, языки высовывать. Я привык. Мне что. Человечек жалок, и я жалок. Я не герой. Я не предводитель. И уж точно не владыка. Усядусь зимою в сугроб, босой и нагой – и стану меньше сугроба. Там, в животе у Марины, я уже знал, что будет со мной! И не роптал. Только огонь! Огонь! Не надо, чтобы погибали барсуки, соболя и сойки! Чтобы корчились в лютом пламени змеи! Озёра чтобы вскипали, и драгоценные рыбы всплывали кверху брюхом! Пощади, летящий Ангел, живое! Сохрани! Защити!

Огонь, я и тебя понимаю, я вижу, слышу, ты гудишь, ты вопишь, у тебя есть душа! Но ведь у всего живого, у каждой былинки и птиченьки малой, есть душа! Всё одушевлено! Слышишь! Всё! И камень – дышит! И кора кедра – дышит! И белка – плачет, видя мёртвого детеныша! И лебедь падает грудью на острые камни, чтобы лечь рядом с подстреленной подругой!

Моя мать шагнула вперёд. Протянула руки. Вся огнём охвачена, озарена. Человек-медведь, расширив глаза, наблюдал, и в радужках его плясали оранжевые полоумные сполохи, сшибались ослепительные копыта и стрелы. Марина вдохнула гаревой воздух, тяжёлый удушливый дым; дым остро и жутко пах жареной плотью, полыньёю, диким луком, сосновой смолой. Смола лилась со стволов густыми слезами, последнее муро пожара. Марина сделала ещё шаг. Подняла руки, ладонями вперёд. Позже я созерцал фрески в древних соборах: так стояла на могучих росписях Богородица Оранта.

– Огонь! – взвопила Марина сумасшедше. – Огонь, Царь! Ты же Царь! Ты есть первый и последний владыка земли! Ты пожрёшь всё в свой черед! И ты пощадишь нас, если захочешь! Прошу тебя...

Она мотнула головой, будто бы отказываясь от изречённых в ужасе слов.

– Приказую тебе!

Человек-медведь, убоявшись неисходного вопля женщины, отступил на шаг.

Гул огня заполонил всё. Вонзился в уши. Влился под череп. Ангел падал. Ангел сверху видел горящую землю. Полыхающий Царским золотом лес. Я, в утробе, отчаянно бил по волнам крови руками и ногами, изгибался червячным тельцем, пытаюсь выплыть вон из горя, не поддаться казни. Я летел навстречу сумасшедшему Ангелу.

И мать моя кричала сумасшедше, захлёбно, неостановимо, и человек-медведь, лишённый когтистых лап, не к её рту прижимал потную, ужаснувшуюся близкой смерти руку, а ко рту своему, искривлённому рыданием, к трясущемуся подбородку; сейчас всё погибнет в огне, если эта жалкая баба, эта раскосая охотница, страстная ягодница и угрюмая лекариша из ближнего селыца пламя не остановит!

Но ведь потребно немислимой силы колдовство! Могучее заклятие! Или...

Марина выше, над головой, воздела руки. Под её ладонями уже ходили красные отсветы. На голом лице, на голой груди, на животе сшибались алые копы последней битвы.

– Бог Господь сильный, мощный! Небу и огню равномогущий! Небесный огонь, земной огонь! Это все Ты! Ты! Слышишь! Остановись! Господине наш бажонный! Утиши гнев Твой! Молюся Тебе! Слова молитовок всех позабыла! Не нужны они теперь! Замри! Не иди дальше! Не пожарай нашу жизнь, Господи! Стой!

И, когда мать моя возопила: стой! – я ворохнулся в ней бешеной, пойманной на снасть огня древней рыбой, я мог дышать и в воде, и над водой, я мог мыслить и в животе, и лететь поверх пламенных телес, и видел я, как странно, страшно замер огонь, не идя, не двигаясь по тайге дальше, и слышал я, как ветки, сгорая, трещали, и зрел, как отламывались они от стволов и падали на землю красно-золотыми факелами, как с горящих древесных вершин огонь медленно сползал вниз, к земле, к сожжённой траве и сухим листьям, обращённым в погибельный пепел; утихал, умиротворялся, умирал. На глазах человека-медведя и меня, нерождённого, падающего в утробе вверх, всё вверх и вверх, огонь умер. Исчез. Перед нами – голой бабой, голым владыкой и голым зародышем в бабьем брюхе – вставал сожжённый страшный лес, расстилались поляны Ада, сплошь усыпанные погребальным пеплом, поминальным чёрнёным серебром обгорелых веток и траурными скелетами спалённого зверья.

И видел я, как владыка-Медведь шагнул к матери моей и обнял её так крепко, как только мог.

И слышал я, как шептал человек-зверь ей на ухо, прижимаясь щекою к щеке:

– Благодарю тебя, дочь людей, минутная жена моя. Царь тайги благодарит тебя.

...и в это же время Ангел, что падал с небес, упал на землю, да не на камни упал, не в таёжный бурелом, не разбился на тысячу кусков жаркой плоти, а упал в воду. В озеро. Шёлково расстилась озера ясная гладь. Голый Ангел падал, вращаясь небесной юлой, ноги его задрались выше головы, он перекрутился в воздухе раз, другой, голова его коснулась переливчатого атласа воды, и живым ножом он вонзился в

тяжёлую, синюю маслянистую глуть, вдруг вспыхнувшую серебряной бредовой парчой, вода разъялась под его телом, будто в неё зашвырнули увесистый камень, Ангел нырял всё глубже, камнем уходил во тьму, и пошли круги по воде, они расходились, бежали, таяли, достигали берегов, шли дальше, по земле, по горам и лесам, по камням и дорогам, а Ангела уже никто не видел, кроме меня, спрятанного в мешке кровавой утробы, и созерцал я, с дрожью и ещё неведомой мне, плоду, молитвой, как нагая Ангела нога мелькнула на синеве воды, озарённой отсветами пожара и обрызганной кропилом дивных полнощных звезд, сверкнула больно и ярко будущей свечою пред ликом дрожащей озёрной иконы, загорелась пылающей живой веткой, осветила осенние берега, клубящиеся охрой, златом и красными дымами лиственниц, сосен и кедров, нырнула в прозрачную толщу любви и смерти и исчезла навсегда.

Явление Василия матери Марине

Бабе родить – нельзя погодить. Я всё помнил, и я боялся. Это Марина ничего не знала про роды, а я всё знал. В маленьком нашем селе, затерянном в горах и кедровых распадках, все давно любовались необъятным Марининым животом. Живот-гора. Живот-увал. Живот-сугроб, да уж не замёрз ли я там? Прихлынули воды. Мать моя, торопясь, дрожа скрюченными от страха пальцами, обрядилась в грубую седую мешковину. Скатала и сунула под мышку ещё одну холстину. Занесла ногу через порог. Если бы я мог, я бы крикнул ей из чрева: куда ты, матушка?! Да не мог я.

Скованы молчаньем крови уста. Палец я мог сосать, улыбаться, когда Марина смеялась, мог, а вот речью владеет лишь рождённый. Лето холодное стояло. У нас в Сибири времена года, бывает, смещаются, срываются с насиженных мест и вдаль летят, как утки, журавли. Иной раз и летом снег выпадет, не редкость.

В такой холодный день мать моя, Марина, вздумала меня рожать.

Да ведь вдумайтесь, люди: столько уж людей появилось на свет от самого незнамого Сотворения Мира! Нам не счесть никогда. Я как-то раз принимался считать – и сбился со счета. Железные крылатые машины летели надо мной, железные повозки тарахтели по земле. А я, уж давно матерью на свет явленный, возросший, нестриженный, лохматый, с зимними нитями в кудлатых волосьях, сидел, скрестив ножонки, на снегу, и считал, всё считал мимохожих людей. Сколько вас, люди? А не объять ни взором, ни мыслью! А зачем вы всё приходите да приходите на землю? А просто больше некуда приходиться! О если бы мы были небесные черви, небесные птахи! Как бы мы созвездия, по небу рассыпавшись, заплотонили!

Скатанный холст под туго прижатым к рёбрам локтем. Высоко подъял тяжёлый живот. Идёт Марина меня рожать. Идёт, тяжело ступает. Ноги раздались, укрупнились, щиколотки толстые отеки, брюхо такое огромное, не свезёт, хоть на телеге кати. Да идёт пеше, идти-то надо. Зачем пошла вон из избы?! А на воле теплей, на просторе милей. Шествует по селу, соседи из окон зырят, с ворот замки сбивают, к серым заплотам выходят, на Маринку поглядеть.

– А куда это она?

– Однако, не знаю!

- К знахарю побрела!
- К чему ей, сама знахарка...
- Глянь, к гольцу направилась!..
- В горушку не взберётся, страдно ей...
- Дура она и есть дура.
- А глядишь, умницу родит!..

Под ноги ложился жёсткий стланик. Мать моя сделала два, три шага – и застыла: с небес, среди лета, повалили снега. Снег валил густо, смеясь над листвою, приказывая зверю и человеку: замри, умри, и никогда не воскресни. Так Марина шла дальше, в горы, еле таща тяжёлое брюхо, подхватив его ладонями, наподобие круглого шаманского бубна, великого земного, звенящего пирога. Ступила на голые камни. Вдали горел синим светом Голец Подлунный. Мать моя, задрав башку, поглядела на грани камней, за извивы пропастей. Вздохнула.

И навалилась боль.

Наехала бензинной железной повозкой. Опрокинула наземь. Марина вцепилась себе в живот, пошарила вокруг себя незрячими руками, расстелила холстину и легла на неё, подняв к небу колени. Закричала.

Крик выходил из Марины бессловесный, лишь голый вопль, без конца-краю, а снег валил, роженицу, подстилку и тайгу под собой, торжествующим, погребая. Листва чернела на глазах, сворачивалась от внезапного мороза в мёртвых гусениц.

– Пи-и-и-ить!.. Пи-и-и-ить!..

Кто это кричал? Моя мать или кто-то иной? Нет нежности. Нет спасения. И никто никому не поможет.

С жизнью и со смертью каждый справляется сам. В одиночку.

Марине чудилось: на богатых снегом небесах Ангелы выстроились в ряд, смеются, на неё, Марину, орущую тут, на земле, золотыми пальцами показывают. А крылья их ходят ходуном, как рыбы жабры, когда рыбу вытащишь из воды сетью, удилищем, ржавым крюком.

Она раздвинула колени шире. Внутри нее Мирь рвался надвое, натрое, и красные папоротники выворачивали алые корни из огненной стонущей земли. Красный мрак обнимал, выкатывался красным мячом изнутри, его было не удержать. Перламурово, нежно мерцал дымный жаркий живот, капли пота текли по животу, стекали по вискам и щекам, это были избыточные слёзы трудящегося и изнемогающего тела. А душа? Могла ли плакать душа? Или душа родам должна была только радоваться?

Марина шепнула себе: радуйся! Я это слышал. Я выиграл во чреве её, покатился колесом, и темя моё вонзилось в Адову расщелину; я испугался; я туда не хотел. Понимал: этим путем мне не пройти. Позвать на помощь не мог никого! Ни Бога, ни нежный бесконечный снег, ни мать мою! Сжал беззубые слабые челюсти. Идти вперёд, оставалось одно. А вперёд нельзя. Но и назад нельзя. Уже никогда. Ни за что. Не повернуть.

Я оглянулся назад, прощаясь. Красные водоросли. Переплетенья алых лиан. Красные тени елей, сгорающих на небесном костре. Я покидаю небо! Мне надо на землю. Я туда не хочу! Да кончилось время беспечного, вечного плода. Пробил час конечного человека.

Мы все обречены на прощанье. Не хотим прощаться! И прощаемся – страшно, ликом пылая, в последних слезах!

А встречает нас тут объятиями снег. Снег спереди, снег сзади. Куда ни обернись – везде снег. И летом. И зимой. Выстрелы снега. Плетки,

розги. Снег бьёт тебя наотмашь, а ты думал, он тебя будет миловать, ласкать. Не жди ласки. Не жди любви.

Ты сам её дари.

Я выскользнул, красный, мокрый, дрожащий, ручонки скрещены на груди, из блаженного вечного дома утробы, и я стал смертным, и безумен был мой орущий, распяленный рот: я орал так, будто падал с небес, да я и падал, я всегда падал с зенита, вечно падал, в зеркало Мира, во пламя, в надир.

Мать меня поймала сама. Со стоном села на земле, холстина залита кровью; как на красном флаге лежала. Вышивка жизни. А смерть рядом. Мать взяла меня на руки, поднесла меня, скользкого, обмокнутого в первородный жир, к лицу, её руки выпачкались в крови, она, трясясь, прижала губы к моему животу, так застыла на миг, потом судорожно вздохнула и зверицей, оскалась, перегрызла пуповину. Выдернула неслучайными крючьями пальцев нитку из неподрубленного края холстины и туго замотала кровавого червя.

Убийцы и спасители

Люди хуже зверей бывают. Узнал я это слишком рано. Я ещё говорить не умел.

Марина соорудила для меня колыбель: две доски – ложе, четыре доски по бокам, глядят на четыре стороны света. Насовала в наволку душистого разнотравного сена, укрыла травное шуршанье холщовой простыней. Меня туда, шепча святое-невнятное, положила; укрыла коротким смешным одеяльцем, пошитым из вытертых беличьих шкурок. И тепло мне стало.

Так она ногою качала маятник колыбели, а сама восседала за столом, ела нашу таёжную еду: крупно нарезанного солёного омуля, жареного тайменя, варенье из яблок-дичков, тёмный, почти чёрный бурятский мед. В слюдяном окне плыли прозрачно, раздваивались под растерянным зрачком близкие голыцы. Иногда дверь открывалась, будто сама собой, и в избу входили сельчане; кому что надобилось: кто отвара от живота просил, кто сломанную руку, морщась, тянул: вправь кость, перевяжи!... – кто тетёшкал ребялёнка на руках, плача, воя: охти мне, бездвижно лежит, звёздонька моя, уж не жилица, видать, пособи, Маринка-корзинка, век тебе не забуду.

Мать помогала всем. Как могла. Могла она многое, да не всё. Иной раз люди прямо при ней, в корчах и криках, умирали. Марина сама закрывала им ладонями ледяно распахнутые в ужас глаза. Жгла две толстые свечи близ толстой тяжёлой Книги. Я видел, как ей тяжело было Книгу поднять и раскрыть нужную страницу, чтобы по ней неслышно бормотать и нежно петь.

Умерла однажды в избе баба при родах: разродиться не могла, Марина вознамерилась рассечь ей сугробное брюхо острым тесаком для чистки рыбьей чешуи, и уж разрезала смело дымную плоть, разъяла напряжённые стальные мышцы, ухватила младенца за головёнку, красную тыкву, а баба только вздохнула, как перед поцелуем, да мгновенно, хриплым выдохом, отпустила душу на волю. А тело застыло. Упокоилось. Я глядел из колыбели на мёртвую бабу, и слёзы сами быстрой росой катились у меня по вискам, стекали на сенную подушонку.

Младенец прожил на свете недолго. Ушел в Верхний Миръ вслед за мамашей. Марина уложила его в берестяной короб, обложила пахучими еловыми ветвями. Стояла и глядела на него, и широкий кожаный бубен её лица отражал смерть во весь рост.

Пришли угрюмые молчащие люди, унесли покойницу. Далеко по улице разносились песнопения. Пели над телом родильницы. Заполночь Марина дунула на толстые свечи, они погасли. Так толсты были, как восковые дубы, я думал, вечные они. Книга так и осталась на столе раскрытой, жёлтые ломкие страницы сплошь заляпаны воском, его жёсткими, смоляными пятнами. Под воском не видать главные, Царски-алые буквы.

Вчера к нам в избу дед приходил, отец матери моей Марины. Белобородый, брови метельные, усы выюжные, одежонка в заплатках. Ноги босы даже в крепкий мороз. Посох железный, и железный на лбу колпак. Жалко мне было деда, когда вдруг из-под колпака по лбу у него начинали течь струи яркой крови. Я вытирал кровь тряпицей, ловил в ладонь, хмурился. А дед смеялся: радоваться надо! Радуйся, кряхтел он, намучишься здесь – на том свете Адовы муки елочными игрушками помстятся!..

Мы с дедом были похожи. Он говорил, как я, я размахивал руками, как он. И я так же, как он, хотел ходить всю жизнь в залатанной шубейке, босиком, в таком вот железном колпаке. Когда я желание мое матери вымолвил, она рассердилась и наругала меня: еще чего придумай! А потом помолчала и выдохнула, как молитву: он юрод, и ты, видать, юрод родился. Бог все управит.

Я захотел увидеть деда в железном колпаке во сне и уже смежил веки, как вдруг тревога постучалась в сердце властным ужасом: тук, тук, тук. Сердчишко перестукнуло и встало. Замерзло.

Под окном прохрустели по сухим веткам шаги. Дверь выламывали, грохот рос и ширился, налетал ночной грозой. Грохот перевалился через порог, сапогами затопал по избе. Марина не успела раздеться, чтобы отойти ко сну. В холщовой, саморучно расшитой красной шерстью понёве стояла она посреди избы, во тьме. Четверо подступили к ней. Не различить было, мужики то или бабы. Луна подошла в небесах ближе к оконцу, и видно стало: три мужика, одна девка, и скалится, точь-в-точь череп лошадиный. Синий свет Луны мазнул по её оголённым в усмешке зубам. Два мужика схватили мою мать за локти, заломили ей руки за спину, а третий тяжело, мощно и страшно ударил её по лицу. Из её рта потекла черная кровь. Луна всё наблюдала, строго освещала. Я запоминал происходящее не памятью – кровью. Кровь обладает зрением, рыданием, памятью, способностью убивать и воскрешать. Кровь сумасшедшая. Это надо знать. Она не алая жидкость, что просто так, веселья ради, течёт внутри тебя. Ты ею передаёшь в будущее всё, без чего ты жить не можешь, и не смогут жить люди там, через века.

Они не смогут жить без тебя.

Значит, ты не умрёшь, как ни стараются убийцы.

Я не мог говорить, и я не сказал убийцам: вы не убьёте меня, – а тут Марину ногой повалили на пол избы, она застыла ничком, раскинув руки, один мужик разорвал ей понёву от горловины до поясицы, другой выхватил из-за голенища нож и медленно провёл им вдоль её хребтины – от холки до вздрагивающих лопаток. Она забила ногами. Мужик наслаждался видом льющейся крови. Остановил бег ножа. Кровь зали-

вала спину матери моей. Она впилась зубами себе в губу. Не стонала. Закряхтел я. Закричал. Я знал, не надо кричать. Но не кричать не смог. Кричал взахлёб, надрывался, бился на сенном матраце моём, катал головушку по колючей цветочной подушке. Скалящаяся девка сердито повернулась на мой вопль. Шагнула к колыбели моей раз, другой.

– А это кто тут у нас такой оручий?!

– Её щенок!

– Обоих – с собой?! Или здесь прикончим?!

– Вон! Тащи во двор! Клади на телегу! Здесь нельзя оставаться! Люди с утра к ней придут!

Марину даже связывать не пришлось: разрез вдоль спины обездвижил её, она обливалась кровью и ловила, как таймениха, воздух нефтяными, радужными жабрами губ, воздушным пузырьём обескрыленных лёгких. Меня в телегу несли, взявши за шиворот, как котёнка. Лисёнка. Медвежонка. Я хотел кликнуть отца моего Медведя, да слишком далеко лежала медная шкура тайги, пространство не поддавалось упрямому, отчаянному воплю. Сначала в телегу швырнули мать, потом меня. Кони попятились, чуя кровь и близкую смерть. Четверо злых людей взгромодились на телегу, мужик, что резал матери спину, хлестнул коня вожжами, и телега затряслась по земле, по кочкам, по осколкам древних гранитов.

Злодеи привезли нас в заброшенный дом. Затешили свечи и ходили по дому со свечами: туманные призраки, а лица, снизу подсвеченные, ненавистью горели. Перекидывались страшными словами. Пересмеивались. Все время хохотала девка. Один раз даже замурлыкала, запела. В песне я не разобрал ни слова. Мать лежала на полу, я рядом, у печи. Мужик, что резал мать ножом, растапливал печь. Он стар был, белая борода вилась грозowymi пророческими кольцами, пожарищными дымами. Другой, помоложе, подтаскивал дрова. Третий, ещё моложе, мальчик совсем, ковырял охотничьей кривой финкой изгрызенную Временем столешницу. Девка наклонилась над моей матерью. Космы её свесились и струями нефти полились на грудь Марины.

– Ты, дрянь, колдовка, разлепи глаза. Убила мать мою, теперь убьём тебя!

Я впервые в жизни так близко видел месть.

Марина лежала с закрытыми глазами. Раскрылись её губы.

– Да воскреснет Бог и разыдутся враги Его...

– Заткнись!

Девка взмахнула рукой. Сверкнул нож. У них у всех были ножи; девка свой вытащила из-за спины, из-за кожаного пояса. Мужики были заняты печью, а мальчишка, играя финкой, с любопытством глядел, как девка режет ножом щёки Марины, шею, грудь, голый живот. Она делала, измываясь, неглубокие надрезы, но кровь, она текла всё равно. Всё равно.

Все равны перед кровью. И она равна перед всеми.

Я чересчур мал был для того, чтобы изрекать слова; однако дрогнули стены вокруг мучительства и стали сходиться, треснул потолок со старой лепниной, и стала валиться вниз штукатурка, её сухие, хлебные, голодные слои. Я лежал, весь осыпанный известковой мукой, обернул круглую помидорину головы от красного жаркого зева печи к злобной, кошащей морде девки, что откровенно наслаждалась пыткой, и рот мой беззубый раскрылся, и ясно, внятно я произнёс:

– Смерть несёте, а сами завтра умрёте.

Девка так и застыла с ножом в руке. Мужики бросили топить печь. Юнец прекратил рыть столешницу охотничьим оружием. Все устали на меня. А мать моя лежала, заливаемая кровью, с закрытыми глазами, но знал я: не умерла она, жива.

— О-ёй, — выдохнула девка, с лезвия капала густая тёмная кровь матери моей, — ух ты! Вещать уж умеет! Чудо!

И только выдохнула непотребная девка это изумленное слово: ЧУДО, — как звездой треснуло оконное стекло, расселось вмиг, вылетели из него торосы и иглы стеклянного льда, и стук раздался властный и грозный, ногой снаружи двинули в раму, высадили окно, в дыру, распахнутую в жизнь и свободу, ворвались, спрыгнули на пол с подоконника двое: один в красной косоворотке, чернявый, будто из табора сейчас, и серьга в ухе золотым когтем горит, другой в смешной короткой рясе, как с чужого плеча, и оба в сапогах наваксенных, ячно блестящих, да голенища жирно заляпаны болотной грязью.

Молоденький батюшка сложил пальцы в кольцо, поднес ко рту и свистнул так, что девка дико завопила, раззявив красный рот, а у меня заложило уши. Я оглох. А мать моя открыла глаза.

Кровь бесконечно лилась из её порезов, мужики-кочегары повскакали с пола и бросились на молодого священника и красного цыгана, к ним подскочил юнец, да сам же первый и лёг бездыханный — красный ловко и крепко ударил его ребром ладони по шее, он на пол свалился мешком. Ногою дрогнул раз, другой и не шевелился более. Потом красный быстрее молнии повернулся к кочегарам и выставил острыми углами локти, и обоими локтями въехал мужикам в скуластые потные лица. Один, падая, заорал, другой рухнул молча. Девка закусил губу и занесла нож, да батюшка перехватил её руку, остановив замах. Так стоял, держа в своей руке девкину руку, как факел, и валился наземь со звоном красный нож, и девка визжала от боли, так хищно, навечно священник ей в запястье вцепился.

Мужики, лежащие на полу, застонали. Один ухитрился встать на четвереньки.

— Я... тебя... гаденыш...

Иерей сделал едва уловимое движение. Девка взвопила.

Иерей отшвырнул её от себя, она упала, тут же села, орала беспрерывно и нянчила руку, как ребёнка. Кисть её висела безвольно.

— Сломал... сломал!..

Красный цыган подошёл к стоящему на четвереньках, наступил ему сапогом на шею и пригнул ему голову к половице. Мужик мёртвой жабой распластался на полу. Цыган надавил сапогом сильнее, мужик обернул лицо вбок и затих.

— Огнестрельного у них нет, отец Амвросий.

— Какое сейчас огнестрельное, чадо. Всё на Войну в железных повозках увезли.

Так я впервые, в ту ночь первой пытки и первого чуда моего, услышал о Зимней Войне.

* * *

Батюшка и цыган в красной рубахе донесли нас до избы. Мать нес на руках иерей, меня — цыган. Я чувствовал щекой нежный, ласковый атлас его алой рубашки, гладкий, как кожа младенца. Как моя кожа. Я был говорящий по-взрослому младенец. Зачем так случилось? Что есть

слово Божие, к чему оно вложено в уста насквозь грешному человеку? Зачем он отмечен наказанием слова, и слово казнит его каждодневно и ранит, и слово исцеляет его от неизлечимой хвори, и слово вытаскивает его из пламени смерти?

Дверь в нашей избе никогда не запиралась. Священник толкнул её ногой. Внёс мать в избу, уложил на лавку. Свечи возжёт. При неверном, дрожащем зареве свечных сиротьих пламен он промыл матери все её раны тряпицей, намоченной уксусной водой. Мать вздрагивала, но не стонала, не кричала, не плакала, нет. Она вся превратилась в терпение. И смирение. Меня положили на ещё теплую печь, я шевелил голыми ножонками и видел терпеливую мою мать, и понимал краем крылатого разума: терпение, терпеть, терпи, терпелиница, смиренница, смирись, человек, и вкуси всё, что тебе из руки, как зверю, протянет судьба. Батюшка промыл матери раны, схватил с крышки сундука белый зимний платок, расшитый алыми крупными розами, быстро порвал его на лоскуты сильными молодыми руками, и лоскутками теми аккуратно, внимательно перевязал порезы на руках, ногах и груди, а ранения на лице замазал, заклеил кедровой смолкой – отыскал её в миске на столе: мать иногда, штопая дыру в овечьем носке или самолично тачая разношенный сапожок, раздумчиво ту духовитую смолу жевала.

Долго ли пробыли у нас в избе наши спасители? Коротко ли? Во младенчестве я не ощущал Времени, не ощупывал его голой рукою, обжигаясь и плача. Настал час, когда люди чуда покинули нас. Я не запомнил их лиц. Не мог бы про них рассказать. Только и запомнил навеки одёжку, в коей явились Ангелы мои в разбитое окно: ряса цвета нефтяного озера, выше щиколоток, алая солнечная рубаха, блёсткий медвежий коготь золотой серьги над ней.

Клеймо с изображением Василия Нагоходца и дивной Ангелицы

Как же он давно их не видал, не слышал! Думал: давно уж они повелись. Изникли, яко обры.

А вот поди ж ты, свиристелями летали, воробьями весело скакали. Трясли башками: мотались, да все никак не могли на снег свалиться шапки, бубенцы нашиты, гремят-звенят оглушительно, чем выше подпрыгнут, тем сильнее зазвенят! Пляшущие икры туго обтягивали алые чулки. И портки все сплошь развышиты красными нитями. Заплаты красные – на тулупах, на зипунах! Вон у одного – красный туз на спине! Бубновый. Да у кого и сапоги красные! Мечутся по снегу, и мнится – ноги-то у них все в кровище!

Кто скалится, во смехе заходится. Кто плачет, да сие ничего не значит. Кто быком ревёт, будто хлеб жуёт. Он видит рядом плясуна. Грязен, как война. Зубов сумасшедший оскал. Лучшей доли, чем на стогнах широких престольного града до погибели плясать, не искал!

– Я Петрушка! На ярмарке Петрушка! Я сдобная, с полынью, ватрушка! Нырни в меня, как в полынью – спляшу тебе, на дне, всю жизнь твою!.. Меня, грешника великого, в земличку закопали, смогли, а я сам взял да вылез из-под земли! А нынче я тут, средь вас, бесчестно ору! Гласом оглушаю! Стыну на ветру! Сыплю скороговорки жареными семками на снег! Во всю глотку пою, Бог, слышь, я человек!..

Синий снег горел, громко визжал и вкусно хрустел под железными и кожаными пятками, под сапогами, башмаками, валенками, берцами, а кто и босиком плясал, на холоду живым маятником весело мотался, а кто и в балетных тапочках, обвязав ступни и голени розовыми сусальными лентами, грациозно-стрекозино на снежку, умалишённо переступал.

За скоморохами, меж танцующих сугробов, медленно ступал босыми ногами по снегу нагой юродивый Христа ради. Известен он был на всю Москву, и давненько. Никем не стрижен, чуть ли не от Сотворения Мира. Космы путались на ветру, висли вдоль щёк и плеч перевитыми страшными веревками. В кольца закручивал жестокий, ножевой ветер длинную бороду: она струилась по груди, доходила до чресел, змеями ползла ниже, до колен свисала, и опять налетала пурга, и терзала, мотала, беспощадно крутила волосы.

Не озарял он скоморохов наградой-улыбкой. Не протягивал к ним десницу, благословляя.

— Нет у меня пристанища. Крыши нет над головой. Нету тряпок жалких, людских, прикрыть наготу. Нет и праздничного наряда, никто не пошил мне его из золотой парчи, из серебряных, ледовых нитей. Без крова вперёд бреду. Голяком брожу годы напролёт. Ежели мёрзнуть начинаю, зуб на зуб не попадает в ночи — обворачиваю округ себя длинные власы мои, обхвачу себя за плечи, яко медведюшка в тайге, и греюсь так. Зачем так назначено мне? Чем заслужил я такое счастье? Юродя, нагоходец, медвежий сын. Голым ходом по зимней, родимой земле моей все ваши, люди, страшные грехи искупаю.

— Хохот жестокий, пробили сроки, ха, ха, лови петуха!.. — заголосоли потешники в кровавых колпаках, взяли блаженного человека, будто на волка охотясь, в красное кольцо. Приплясывали на снежочке, пятки их мелькали в тумане мороза шляпками белых грибов. — Коли зима дышит лютой пастью, ледяным Адом, то рдяный Рай песней в ночи — на счастье, и ничего боле не надо!.. Не гибни, живи!.. В похвале-любви!.. — Скоморохи вцепились друг другу в красно-корявые на холоду руки, клешнями пальцев цепляли запястья и подола тулупов, смеялись и повизгивали волчатами, щенятами да так и пошли, побежали оголтелым хороводом вокруг брадатого, лохматого Царя улицы всея, сперва посолонь, после противусолонь, и длинная, как рваная рыболовная сеть, из-под льда без улова извлечённая, борода моталась туда-сюда, её жадный ветер нещадно крутил. — Всех святых мучеников помнишь?!. Помнишь, как Егорья в кипящем масле топили?!. А помнишь, как Катерину-мученицу раскалёнными железяками ковыряли?!. Вот они, они Христа Господа любили воистину больше жизни!.. А ты, полоумец, ты, колченогий столец, вот ты можешь шаг шагнуть на площадь, где висельца твоя возвышается, петля на ветру мотается?!. во сруб, где дровишки для твоея казни горой навалены?!. кувырнуться в чан с кипятком пузырящимся... а?!. За Исуса — в радости! — умереть в муках неизъяснимых?!. Ведь Он помер на Кресте за всех нас!.. За всех! Эх, эх, визг да смех! А помнишь ты, мохнач-медведь, что Господь наш на Кресте, руки раскинув, нас всех, грешных, обнять собираясь, хрипло кричал... тихохонько шептал?..

Василий, пугающе тощий, рёбра сквозь кожу просвечивали страшно, по-рыбьему, нагота солнечно сияла и пугала детей и старух, оглядывался кругом, то закрывал красные, обожжённые морозом веки, то распахивал глаза, и нежданно посреди стальной зимы его юродивые

радужки катились по снегу-метели двумя лазуритовыми кабошонами; боярышни отворачивались, стыдливо рукавом прикрываясь, да подсматривали из-под висячего атласного рукава, дико и хитро, любопытствуя, косились: иные из них голые мужичьи тела видали впервые, иным сие было не в диковинку, уже на зимних гулянках да в шаловливых бешеных колядках, валяясь в обнимку с парнями в пушистом снежочке, девичью надежду растеряли жалкими полушками, медными алтынами, прожигаящими сугроб до земли. Мороз исстегал алой краской нагую плоть Блаженного. Он плыл в белой зимней воде красною рыбой. Сам, как те боярышни, голой рукой, острым локтем закрывал лицо. От кого? От чужого взора? От коварного сглаза?

– Вон!.. Вон пошли, вон!..

Он схватил бороду в горсть и махал ею на скоморохов, как на безумных мартовских котов.

Птицы слетались к нагоходцу. Голуби спускались с небес сизыми Ангелами. Воробьи рассыпались под голыми голодными ногами хлебными крошками.

– Что стоишь, молчишь?! Не вопишь, не хрипишь?! А ты должен пощады просить! У нас молить жрать да пить! Славишь ты голодуху да ненастье, а мы славим пляс да счастье! Не ставь себя вровень с Господом, больно расшибёшься!.. В придорожном трактире горькой-беленькой напьёшься!.. А Москва не твоя, а наша, варим снеговую кашу и тебя вдосталь накормим, тощей, ледяной ухой да восковой свечой!.. Нет у тебя, Васька, ни когтя, ни ножа, так и умрёшь в подворотне, под телегой дрожа!..

Нагоходец шарахнулся от крика, закрыл уши ладонями. Упал, будто под порывом ветра. Лежал на снегу. Ветер взвивал его длинную бороду. Трепал и вил космы. Закрывал ему волосьями скорбное лицо. А когда ветер отдувал лохмы с лица, всем было видно: он улыбается.

И улыбка эта горела ярче огня.

– Прочь! – крикнул он что есть силы. – Не нужны вы мне!

Скоморохи попятились. Один засвистел перепелом. Другой замаял диким котом.

– Ну и гори сам в своём огне...

Унеслись. Завертелись красной каруселью. Только пурга клубилась им вослед. Василий тяжело поднялся, стоял в снегу на коленях. Узрел: по площади шёл Чужой. Он никогда не видал его на Москве. Чужой шурился, беспредельно сужались его глаза, от них оставались лишь хитрые жестокие щёлки, и сквозь кожные складки век не проникал свет расстрельных зрачков. Чужой шел медленно, хитроумно и осторожно. Зверем шел.

Человек есть зверь. Я всегда это знаю. Я всегда это знал. Я буду знать это и тогда, когда меня убьют. А разве меня убьют? Где это, когда убьют меня? Такого голого перед Господом, такого верного чистому небу?

Лик Чужого был прикрыт шапкой-лопухом. На лоб сползал меховой потерявший язык, шерстяная лопасть прикрывала шею и загривок. Он схватил в кулаки зверьи уши и глубже, туже натянул треух на лоб. Тень волчьего меха легла на щеки, колючий подбородок. От всей фигуры Чужого исходил жар погребели, запах смерти. Да чужой смерти. Неродной. Не той, привычной, когда лежишь ты во намоленном гробе, а над тобой читают кафизмы в выставшей избе. А другой. Слов для неё нет в людском языке.

Блаженный поднялся из сугроба легко, не по-старчески. Бесшумно и вольно. Всё он творил не думая, по наитию, ясно сияли в зиме васильками синие, слёзные глаза. Могуч синий свет! Таково небо; таков снег в солнечный слепящий день; таковы васильки в роскошной, Царской ржи. Где дразнящие его скоморохи, подлунные нахалы? Где площадной насмешливый люд? Всех как корова языком слизала. Никого. С Чужим его Бог оставил наедине. Тело пылало, и снег, едва коснувшись горячей изнутри голой кожи, таял на ней, слезами сползал. Василий наступил босою ногой на рваный квадрат холстины, валявшийся на притоптанном снежке. Сам, как собака, холщовый ковер ему под ступни сунулся. Василий наклонился и подхватил мешковину. Чужой остановился. Далее боле не шёл. Замер. Шёл теперь один Василий. Большие пальцы голых ног его раздулись, посинели. Спина содрогалась поверхностью реки в ветреный день, шла морозной рябью. День догорал. Чужой ждал.

И он сам, идя, ждал.

Как начинается борьба? Чем кончается? В борьбе всегда есть правый и виновный. Однако виноватый свято помышляет, что он-то как раз и прав. Василий стал слишком близко от Чужого, протянул руку, вцепился в его треух и одним резким рывком стащил треух с его башки.

И тут день в одночасье погас; будто разом дунули в церкви на все торжественно горящие, истово дрожащие свечи паникадила. Грудью наваливалась подземная тьма. Издали тёк гул, отодвигался, рос опять. Рожа Чужого корчилась, горела на морозе головнёй. Он разевал рот, клыки торчали, красные вывернутые губы усмехались и молча проклинали. Глазные яблоки вываливались из глубины глазниц, катились по воздуху на Василия, повисали в леденистом тумане, как серебряные орехи на чёрной, мрачной ели, выбранной сельчанами в тайге Звёздной Царицей в тот день, когда Солнце в небесах начинает рождаться заново, воскресать, петь людям лучами песню новой жизни. Чужой ухватил Блаженного за одно запястье, за другое. Толкнул. Василий устоял. Тощее тело, все звенящие смертные кости его налились забытой силой. Чужой был не просто чужой. Он был – Чужая Жизнь. И Чужая Смерть.

Василий прынул вперед, наткнулся голой грудью на грудь Чужого, извернул руки, выставил оба локтя и с силой воткнул их в тело Чужого, дышащее, хрипящее под мощным тулупом.

Чужой пошатнулся. Рука сама протянулась, схватила Чужого за глотку. Пальцы сами стали давить, душить. Василий не хотел. Тело иногда за нас всё делает само. Нашим приказам не подчиняется. Наших криков не слышит.

А может, не надо его убивать? Может, Чужой мыслит не как мы? Живет и дышит не как мы? И мы должны не уничтожить его, а понять и простить?

Чужой страшно хрипел. Из его рта шла бледно-красная густая пена. Он бил ногами по снегу и силился вымолвить слово. Василий отшвырнул хрипящего от себя. Поверженный медленно, целую вечность, падал в снег, и, когда упал, Блаженный шагнул к нему и наклонился над ним. Сознание ещё не покинуло беднягу.

– Прости меня.

Блаженный встал на колени.

Вокруг царила ночь. По всей площади горели костры. Во мраке – множество костров. Апельсиновые, золотые, Райские сполохи весело, безумно взмывали к непроглядно-смолянному небу. Меж костров ходили люди. Говорили между собой. До Василия и Чужого не долетали их голо-

са. Блаженному больно было стоять на коленях, снег прожигал коленные чашечки, белым мехом укрывал голени. Пятки торчали, кровили. Давеча ходил он по острым камням, а может, по разбитым печным изразцам.

– Я прощаю тебя. Прости и ты меня.

А разве возможно убитого – простить? Разве можно убийце испросить прощенья за то, что – убил? Как переплетаются, обнимаются прощенья? В них начинает течь одна кровь? И покаяний не различить? Тогда зачем преступление и наказание? Может, никакого преступления и нет на свете, а есть одно лишь прощение, только оно?

Чужой медленно закрывал угасающие глаза. Белки закатывались. Сплошь обвиты красными сосудами, алыми хвощами. Он становился недвижимым телом, бескрылым, прощённым. Крылья отрастали у излетающей вон из тела души, и Блаженный её видел. Душа облетела стоящего на коленях, улетала паром изо рта на морозе, белыми дымными завитками из лошадиных раздутых ноздрей туда, выше, навсегда. Не вернёшь.

Василий поймал зрачками последний взгляд Чужого. Медленно прекрестил его. Исподний мех тулупа топорщился грозно, волчино. Треух лежал рядом, на снегу. Тропа, означенная на белизне каплями крови, гляделась дорогой алых цветов.

– Жаркй...

Дохнуло любимой Сибирью среди Града Первопрестольного.

Где я? Сам не знаю. Что за люди бродят по Красной площади вдоль-поперёк, кругами? Возвращаются на круги своя? А костры достигают до смоли полночи; зачем народ их возжёт, не в честь ли нового Царя нашего? А может, Время настало иное, и надо Царство вдругорядь защищать, Царя грудью от врага заслонять? Сможем ли? Благословлены ли?

Спина ныла, как исполосованная бичами. Весь день ходьбы по закоулкам, шумливым улицам, устрашающе молчащим стогнам. Отхлынули с площадей люди. Огни гасли. Музыка, оголтелое пенье, суды-пересуды стихли, растаяли в ночном потусторонне-синем воздухе. Лбы и сердца прокололи швейные ли, пыталные ли иглы недосягаемых звёзд. Василий поднялся с колен, кинул взор на мертвеца. Наклонился, гибче краснотала, и строго сложил ему холодные руки на ещё теплой груди. На исцарапанной собаками коже тулупа обе руки гляделись убитыми в тайге зайцами-беляками.

Зачем я убил его? Какое зло я, убивая его, убил на Земле? А может, виновен я и великий Бог накажет меня, не сегодня, так завтра?

Блаженный тихо пошёл по площади, мимо костров. Пламя то бесилось безудержно, то падало вниз в огненном поклоне, лизало площадные булыжники. Отменно вымостили Царскую площадь, дивно. Днем телеги гремели колёсами по гладким камням, а нынче, ночью, лишь горели в молчанье костры, издавая треск дров и хвороста, опаяя на звёздном морозе людям безумные лица, кричащие руки. Люди говорили телами, вопили глазами, благословляли друг друга дрожащими тихими ртами. Голоса возникали и уходили. Ночь молча рушилась с небес на землю, устилая мощёный выпуклый живот площади, беременный кровопролитием, коврами метели, кристаллами планетной соли.

Осоли меня собою, земля, и я повторю тебя; нет у меня пути другого.

В грозной ночной толпе передвигались, как во сне, бродяги и калеки. Нищие пытались просить милостыньку, сидя во снегу. Юродивый сел рядом с таковским; так же, как он, протянул руку, прося, умолая,

так же, как он, сложил персты, чтобы жалобно покрестить себе лоб. Всё сделал, как делал нищий, в лохмотья обряженный, точь-в-точь повторил. А не повторяй ничего ни за кем! Ни за кем не гонись! Не глядись во другого, как в разбитое зеркало! Покоя тебе не будет. Изведёшься, себя охаешь, избичуешь. Вины не избудешь. Всю жизнь будешь ходить и обезьянство своё помнить.

Не убий... не укради... Да, не укради. А я-то... я-то всю жизньюшку крал! Да! Крал! У ветра! У Солнца! У серебряного плеса ручья! У брусники, разбрызганной по тайге зверьей ли, человеческой кровью! У Царя на Москве, чей кафтан заморским золотом вышит, чей бурнус мехом искристого соболюшки подбит! У последнего нищего, да, у этого вот, что предо мной во сугробе сидит, крестится жалко, молит упорно, плачет хрипло! Всё я собирал в лукошко памяти и боли своей, а лукошко-то дырявое! Все повытряс, пока сюда – к себе истинному – шёл! И что?! Опять красть?! Опять собирать?! Да я уж давненько, целую судьбу, целый век нескончаемый, не краду, а даю – даю – даю – всё даю и даю – всё дарю и дарю – и что?! Где желанная награда моя? Ах, жадненький, об чем, грешник великий, помышляешь, тебе что, награды нужно?! Пирога звёздного, сладкого, в сахарных осколках предвечного льда?... Сорванного с зенита громадного мафория алого, сапфирного, золотого Сиянья?..

Люди ходили по мрачной площади, перешагивая через петли позёмки, и не видели его. Мимо шли. Не все. Иной мимохожий застывал, его завидя, торопливо крестился и кланялся низко; а иной морщил обмороженное лицо под волчьей шапчонкой, отворачивался и во снег смачно плевал. Не все его любили. Иные и ненавидели.

Я давно это знаю. Привык к тому. Что же ныне тревожусь? Что жжёт меня, какой укус зимнего шершня?

– Ах, и стыдоба яво не берёт! Мужик-то голяком, глянь, плывёт! Сгинь, сгинь, пропади, нечистая сила!..

Подбегал неистовый. Такие звери водятся в толпе. Заносил чугунный кулак. Блаженный не отворачивался. Его ударяли. Он оседал в снег, опять на колени. Стоял на коленях и снизу вверх глядел на того, кто его бил. Неистовый пятился. В ужасе закрыв лицо ладонями, убегал. Василий поднимался. По мохнатому его лицу вилась нить крови, стекала по бороде, по голой коже, обтягивающей рёбра. Он не утирался. Кровь вымерзала сама, превращалась в хрупкую ледяную красную сладость; такие леденцы продавал сбитенщик, завлекательно выдергивая их из торгового короба, уставленного кружками горячего сбитня: алых пестушков, красных рыбок, ледяную ягоду-малину.

Мне больно видеть горе чужое. Чего мрачные люди ждут? Об чём печалуются? Вон кот на снегу валяется. Его пыталычики-мальчишки жгли огнём, дивясь, как он мучится, корчится. Вон заморская птица попугай лежит, поджавши под жёлтое брюхо лапки, зелёные малахиты-крылышки бессильно распластал. Подойду к ним! Обгорелого кота поглажу! Воспрянет! Заледенелого попугайку дыханьем погрею! Восстанет! Всё мёртвое восстанет, если его полюбит! Воскреснут замученные и праздновать будут, а я буду рыдать горько, полынно, еловыми лапами лик мокрый утирать! Слезы мои будут на зверьё и птичье литься, их омыwać, то будет их второе рождение и иное крещение. Тварь бессловесная! Разве ж её можно крестить! На то сподобился лишь человек! Нет... всякая живность – Божия... Бог тоже плачет над мёртвым воробушком...

На полнощной площади не расхаживали бояре. Сидели они в теремах, напуганно выглядывали, занавеси дрожащей рукой отвернув, наружу; зрели Красную площадь, и Лобное место, и многие костры, горящие тяжело, упорно, преисподними пламенами.

Князья и бояре, не люблю я вас. Я вам ваше боярство – прощаю. Молюсь за вашу знатность. Да не вы в ней виновны. Род ваш – Крест ваш. Каждый свой Крест молча тянет. Каждый пьёт свою чашу до дна.

Он остановился около особенно могутного костра. Огонь размётывался из средоточия в разные стороны, торчал оранжевыми осьминожьими, Адскими щупальцами. И жарко же было тут! Василий глубоко вздохнул. Вдохнул пламя. Огонь беззастенчиво полез ему в лицо, целовал щеки, забирался в ноздри, проникал вглубь помрачённого ночью и огнями блаженного черепа. Он стоял и ничего не думал, ничегошеньки. Башку задрал. Чуть шею не сломал. Там, высоко, в воинственных разъятых ветром небесах, всходила, разрывая светом угрюмые снеговые тучи, вырываясь сиянием из небесной клетки, огромная Красная Луна.

Такую Красную Луну он зрел впервые.

Убить, чтобы жить

Марина взяла в руки винтовку, подержала её в руках, потрясла, будто взвешивала. Потом побаюкала немного, так баюкают ребёнка.

Охота пуще неволи. А пуще охоты что? Воля?

Она охотилась давно, девчонкой, вместе с отцом. Отец её, Иван, слыл на селе медвежатником, так его и звали – злобно, настороженно, уважительно. Убить зверя непросто. Надо сперва у тайги прощенья попросить. Отец Иван, всюду ходивший в странном железном колпаке, так и прозывали его на селе: Иван Железный Колпак, научил её той перевозанной мольбе, к природе обращаемой, ко всему живому: лесушко бажоньй, речушка бажоная, дай вдохнуть тебя, дай напиться; зверюшко бажоньй, дай убить тебя, а потом шкуру твою на тепло детям моим пустить, а мясо твоё дай старикам на пищу изжарить. Птиченька бажоная, дай подстрелить тебе в полёте, ибо нужны мне твои пёрышки для мягкой подушки, а белая грудка твоя для варева недельного, на морозе и дольше в чугуне хранится. Рыбонька бажоная, дай спымати тебя, крюк мой губищу твою крепко зацепит, дай вытащить тебя, ясная, живая, на берег да пронзить острогой; чешую твою златую дай ножом счистить, тело твоё солнечное дай в котле на весь крещёный Мирь сварить. Ягодка бажоная, дай тебя собрать во туес берестяной! Дай тебя вкусить, в себе поносить! Блаженна ты, ягода, ибо ты есть красная кровушка Господня!

Марина наизусть шептала, повторяя, отцову молитву тайге. Вышептал её всю, до конца, она посмотрела на сына. Василий стоял около стола. Головёнка ниже столешницы, ножки в катанки смешные обуты, сама Марина из бараньей шёрстки скатала.

Марина не говорила сыну, что у них закончились запасы мяса, и долгая ещё зима, и до весны палкой не добросить.

Отец медвежатником слыл, и она медвежатницей сегодня заделается. Во имя сына.

Чтобы выжить. Чтобы – жить.

– На добычу пойдём, сыночек.

– Что такое добыча, мама?

– Это наша с тобой жизнь.

Василий уже научился ходить. Малютка, он бегал по всей избе в короткой рубашонке, Марина криво, на руках подрубала их красной ниткой, купленной у коробейника за грош. Василий любил сидеть у ног матери, когда она ему мастерила игрушку – из сладко блестящих надкрылий толстого изумрудного жука, из чудовищной кедровой шишки, величиной с добрую тыкву. Мать катала его по селыцу в санях, сама же их сколотила из лиственничных дощечек, сама же и раскрасила соком конского щавеля, ежевики и брусники, меловой мукой, красной и голубой глиной с берегов бурливой ближней речки. Василий заходился в смехе и от смеха вываливался из радужных санок, мать подскакивала и вылавливала его из искристого жгучего сугроба, как осетра из-под льда! И он хохотал у неё на руках! А она расцеловывала его в румяные щёки, и в подбородок, и в захоладовавший на морозе лоб, и смеялась сама: «Ах ты, ванька-встанька мой!.. Держись крепче!.. А я тебя не покину!.. Так домчимся до Рая!.. До Рая!..»

Василий вечерами, когда мать укладывала его спать, обнимал ее ручонками за потную сильную шею и тихо спрашивал: «Мама, а что такое Рай?» Марина медленно, ласково расцепляла руки сына, нежно толкала его ладонями в грудь под холстом рубашки, он падал спиной на мягкость ночного ложа – мать сварганила ему Царскую постель из деревянного корыта; дно корыта завалила душистым шуршащим сеном, выстелила беличьими и заячьими шкурами, сверху укрыла домотканой рогожкой, наволочку набила нежнейшей, кружевной шерстью ягнят, и так получилась чудесная ладья для еженощного путешествия по снам и виденьям. «Рай, это, сыночек, такая небесная земля». Василий вздыхал прерывисто. «А разве бывает земля на небе?» Мать улыбалась тонко, цветочно. «Бывает. Или не бывает. Раю это всё равно. Если даже и не бывает, Рай всё равно есть». Василий соглашался с этой ночью песней.

Он просил ее: «Расскажи про Рай. Ты бывала там?» Марина опускала голову, и подбородок её касался яремной ямки. «Конечно. Всяк человек там бывает. Только не помнит, что он там был. А я помню. Рай красивый. Там всюду яблоки, ягоды, яхонты. Ярость зверя там превращается в тихую ласку, в умильное урчанье. Перловицы раскрываются сами, приглашая взять у них из их тайны, прямо из брюха великие жемчуга. Снег там идёт тёплый! Даже жаркий! Я там шла босиком по ковру, а ковёр тот был сложен из живых барсов и диких котов, они разлеглись на земле, обнажили пушистые животы, и я, босая, осторожно, легко так по тем диким кошкам ступала, и они блестили, сверкали туманными от ласки и медовыми от любви глазами, и обнажали в улыбках острые зубы, покусывали меня за лодыжки, тёрлись мне об икры лбами и мохнатыми щеками... Красота сама шла мне в руки! Рай, сынок, это такое Солнце с небес, бьёт в грудь, в лоб, и жарко... и томно, и вольно... поднимаешь глаза, а Солнце-то белым гвоздём в ночное, угольное небо вбито! Испускает светлые острые, танцует и крестит тебя широкими лучами! А всюду мандарины, лимоны златые, яблочки прячутся в тёмно-зелёной листве, маслено листья блестят, плоды ветки гнут... любой срывай... ведь это Рай... А навстречу мне самой из Райских кущей выхожу – я сама... я... мать твоя...»

Василий слушал бормотание Марины над изголовьем и тихо, незаметно засыпал. Земной сон, это было то, о чём говорить не надо было, а только ждать, звать и предчувствовать.

Во сне мальчишке являлись звери и птицы, они спускались к нему прямо из Рая на невидимых, быстро трепещущих крыльях. Однажды прилетела птица с головою юной девушки. Дева-Птица раскрыла рот и запела Василию колыбельную. Она пела лучше, чем мать, и мальчонка протянул к ней спящие руки и выдохнул: люблю тебя, родненькая, ты моя молния, ещё ударь!.. ещё спой!.. Дева-Птица держала в когтях два сияющих яблока. От них исходил медвяный и мятный дух. Одно яблоко вывалилось из дрожащих когтей, укатилось под лавку. Утром Василий, проснувшись, яблоко нашёл и съел. Сладкий сок тёк по губам, по шее, по ключицам.

Однажды мать, гуляя с Василием по сельскому звонкому рынку, остановилась, замерла около охотника, что на вытянутых руках держал шкурки соболей, горностаев и куниц и тряс ими, зазывая, завлекая. Марина во все широкие коровьи глаза глядела на прокуренное, тёмно-медовое, деревянно-твёрдое лицо охотника, на искристые шкурки с белым и охристым исподом мездры, примечала: руки трясутся, и шкурки ходят ходуном, сейчас сорвутся, упадут в синий снег, звери оживут и бросятся врассыпную. Она зажмурилась и крикнула охотнику: «Продай! На шубу сыночку!» Торговец назвал страшную цену. Марина прижала ладонь ко рту. Отшатнулась. Оттащила Василия, лучезарно и жадно глядящего на раскосого зверолова. Придя домой, тихо и жёстко сказала сыну: «Двинемся с тобой на охоту, сами, в тайгу. Санки возьмем, винтовку, нож захватим!»

И Марина вскинула винтовку на плечо, обула катанки с обшитыми кожей пятками, засунула кривой охотничий нож за голенище, Василий обмотал руку ремешком, приделанным к расписным крошечным розвальням, и они побрели по узкой тропе, проложенной редкими людьми в диком снегу, сначала к реке, потом медленно, в сугробах увязая, шли вдоль реки, потом углубились в чащобу, где кедры в синей зимней вышине целовались с кедрами, где сосны плакали на груди у красноствольных сосен.

Как, когда выскочили мохнатые коричневые комья из-за сугробного стога, из белой ямины буерака? Три медвежонка раскатились по снежной таёжной скатерти. Застыла Марина, винтовку опустила. Мальчик поднял руку, заслоняясь, как от Солнца, от огромности зверя: на горе, на грех из берлоги выпросталась на волюшку алмазную необъятная медведица, хранящая внутри себя, в гулкой груди, под лохмами рёбер и обвислого брюха, память о родах, о том, как детки её появлялись на колкий лютый свет. Медведица увидала женщину и мальчика. Откуда силы взяла, чтобы, шатаясь, подняться на задние лапы – и пойти, пойти, высоко подъяв передние, грудью, болотным черёвом, всеми когтями, жарко разинутой бешеной пастью, всей грозой-жизнью лесной на жалких, бесстыдных людишек?

Марина поняла: надо стрелять. Выстрелила. Мимо! Пуля ушла мимо, как и вовсе не бывала. Василий не шевелился. Он обратился в пень. Важно было выждать, прикинуться лапником тяжким, веткой обледенелой. Стать всею природой, зимне обнимающей его и мать. Вот зверь; и он вышел навстречу им; и сейчас он на них нападёт и их пожрёт. А если они – зверя – убьют?

«Не убивай, мама!» – хотел он взвопить, но ужасом воли загнал, затолкал крик внутрь, в пражу кишок. И он знал: мать сейчас зверицу убьёт. У неё просто нет другого выхода.

* * *

Я впервые видел смерть так близко. Марина выстрелила ещё раз, и опять мимо! Она до крови закусил губу, я видел, как кровь медленно и темно ползёт у нее по ледяному подбородку. Не убежать. Слишком вязкий снег.

– Беги!

Мать крикнула громко, так громко, что я на миг оглох. Она меня спасала. Я враз стал взрослым и всевидящим. Смерть даёт тебе второе зрение; она дарит тебе горькую древность земли и владение Временем. Я тогда это не до конца понял, зато сильно и страшно почувал. Но я не стал убегать. Ноги мои стали железными поленьями. Лицо стало перевернутым рыбачьим котлом. В него можно было бить молотком, как в бубен или набат. Медведица, вопя, неотвратимой тучей надвигалась на мать. Марина выхватила нож из-за голенища. Выставила его перед собою лезвием вверх.

– Надо было, дуре, к древку привязать... копьёцо сладить...

Дальше я не разобрал, что она бормотала.

Два, три шага, и вот медведиха рядом с матерью, и незаметный, быстрый взмах лапой, и вот уже мать кричит, обливаясь кровью – медведица распоролла ей когтями щеку, шею и плечо, легко и хищно стащив с головы шаль, разорвав овечий тулуп и ткань платья под ним. Мать моя, с голой красной, разодранной грудью, заорала медведицы страшней и сама, в крови, двинулась на неё. Зверица выкатила красные глаза и застыла. И тогда мать обеими руками вцепилась в рукоять ножа и, хакнув, резко и глубоко всадила кривое лезвие в шерсть, в плоть, в космы, под рёбра, во тьму.

Во звёздную тьму зверьей жизни, неведомой человеку.

Мать знала, куда целить: она попала медведице в сердце.

Нам не понять сердце человека, а зачем нам помышлять о сердце зверя? Красный, толкающий кровь комок! Он бьётся и бьётся! Я зрел, как зверь умирал. Медведица ещё чуть постояла на залитом кровью, утоптанном её лапами и материнскими катанками снегу, потом пошатнулась и стала, как во сне, оседать в снег, её задние лапы подломились, она рухнула на четвереньки, упала на бок, дрыгала всеми четырьмя лапами, а я бы поклялся – ногами и руками, так жутко, предсмертно она была похожа сейчас на человека.

Я не уследил миг её смерти.

– Счастье, что в сердце... счастье, что сразу...

Мать, заливаясь кровью, села в снег около рухнувшей чёрной, шерстяной горы. Гладила её по мёртвому затылку, по загривку.

– Сынок... давай мне кровушку остановим... перевяжем...

На морозе я сбросил с себя шубёнку, стащил меховую душегрею, потом нательную рубаху, одною ногой наступил на полу, двумя руками вцепился в холстину и потянул на себя. Крепкий холст не поддавался, не рвался. Марина, дрожа руками и окровавленной головой, выдернула у меня из рук рубашонку и зубами и сильными пальцами порвала её на длинные полоски. Я перевязал матери щеку и шею. Она отсиделась, отдышалась, встала, выдернула нож из тела медведицы. Я отвернулся, не смотрел, как Марина свежует зверя. Потом она полезла за пазуху и вытащила из-за пояса маленький острый топор. И не глядел я, как мать топором рубит дымящееся на морозе мясо.

А когда я насмелился и посмотрел Марине в лицо, я увидел, что оно всё залито слезами.

Слёзы мешались с кровью и стекали вниз, и таяли в шерсти тулупа, и скатывались на кровавой снег. Я понял, почему мать плачет.

— Мама! Они тоже умрут?

Я показал рукой на маленьких медведей, отчаянно раскатившихся по снегу чёрными шарами. Марина, прикусив губу, молча помотала головой: нет, нет, нет.

— Нет! Мы возьмём их с собой! В сельцо!

— А как мы их поймаем? Убежали они!

— Далеко не уйдут! Рядом берлога!

Марина накладывала красное тёмное мясо на мои санки и крепко приторачивала куски к сиденью и деревянной спинке пеньковой веревкой. Потом мы ловили медвежат. Приманить их нечем было, не захватили мы в тайгу ни кусочка сотового мёда из погреба, ни жимолостевой ягоды из вареньеовой банки, ни застывших на морозе круглыми колёсами и жерновами сладких сливок. Мы гонялись за ними просто так, набрасывали на них мешок, я пронзительно кричал: мама, а вдруг они кусаются и мне руку насквозь прокусят! — а мать, слабая от потери крови, падала на снег и ползла по снегу, пятная кровью белизну, и смеялась сквозь нищие слёзы, и вопила, и молилась шёпотом, и крепко, любовно обхватывала руками зверька, залавливая его, к себе прижимая, целуя кровавыми губами в нос, в мохнатые уши, зарываясь солёным лицом в спутанную, унизанную сосульками волглую, пахучую шерсть.

Марина потащила домой медвежат в мешке, а меня оставила сидеть близ санок, сторожить разрубленную на много кусков медведицу. Останки зверицы валялись поодаль, в снегу. Смеркалось. Снега светились в пугающе-синих сумерках княжеским перламутром. Матери не было долго. Целую жизнь. Я прожил жизнь, пока её не было; и заснул на морозе; и замёрз; и умер; и опять родился. Когда я родился, я мать мою увидел. Она, качаясь, шла ко мне в снегу. Шла по снегу. Шла поверх снега. Я не понимал, что она мне снится. Что может понять новорождённый? Я только что видел Ад, там убивали зверя, живого, красивого, мать маленьких детей мохнатых, там лилась на снег кровь моей родимой матери, и я болел её болью, я кричал её криком, и это её, её слезы текли по моим щекам в морозных Адовых приделах. И я так помнил Рай! Мой Рай! Я же родился, чтобы идти и идти в Рай, всё в Рай и в Рай! И боле никуда! Назначено мне так! А кем, и не знаю!

И я, и я Рай мой тоже выучил на память! Всё там знал! Там вода играла жидким яхонтом под глинистым красным обрывом; там полохатые рыбы-вьюны, если их выдернуть из воды, могут жить в избе в глиняном горшке, и можно низко опускать лицо над горшком и годами напролёт следить, как туда-сюда ходит-плавает твоя живая мечта; там молоко ли, сливки застывают золотыми и серебряными слитками, и, чтобы они растаяли, надо посадить их в печь в чёрном, как ночь, чугуне; там две толстых, закрученных змеиной спиралью свечи горят под иконой, как два рыбацких далёких костра на полночном берегу; там коровы поутру мощною ребрастою, рогатой рекою переходят вброд голодное Время и входят во врата разнотравных лугов, сияющих красными жарками опушек. Мой Рай был смел и робок, он гладил меня по плечу, он подсовывал мне под ноги широкие лесные лыжи, похожие на разделочные доски — одна у нас в избе хранилась для лепки пельменей,

другая, чтобы мелко и весело острым тесаком резать черемшу; Рай пел мне песни на сон грядущий и поутру – то голосом матери моей, то множеством птичьих дробных голосов, они речными перлами рассыпались вдоль и поперёк по восстающей каждое утро из мёртвых земле, и я непреложно знал: земля родная это и есть Рай, мой хвойный Рай, я вдыхал его, целовал, крепко сжимал, как маленький кедровый орешек, в потном тесном кулаке.

Я жизнь в кулаке сжимал. Она была слишком любима мною. Я не хотел с ней разлучаться ни на миг.

Так я сжимал жизнь в зимнем холодном кулачонке, и краснели на морозе маленькие пальцы, и я бредил Раем, не понять было, в нём я или вне его, вспоминая я о нём или живу в нём, и никто меня из него никогда не изгонит. Потом я сел на снег и стал мечтать о костре. Потом стал тихо засыпать, клонить головёнку на морозе. И, хоть я был тепло одет, снаряжён матерью для дальнего в тайгу похода, мороз пробрал меня до костей, и стал я тихо замерзать, помышляя о том, что мороз – это просто сон, это только сон, и ничего больше, и вот он, Рай, рядом.

Мать явилась из ничего. Из пустоты. Я с трудом разлепил глаза. Мать качалась передо мной маятником старых часов, приколоченных к срубовой стене в нашей бедной избе. Тук-тук, тук-тук, – ходил-бродил хмельной маятник туда-сюда, и я сам превращался в маятник, я сам состоял из железа, из позеленелой меди и позолоченных винтов. Мать подняла меня на руки из сугроба и на удивление легко и быстро пошла по снегу, просто полетела; я понял, она скользила по снегу на лыжах. Ах, надо было сразу нам обоим на медведя на лыжах катить; тогда бы мы от медведицы той стремительно укатили, мгновенно.

Дома Марина раскутала меня, всё моё онемелое, железно-сабельное, обмороженное тельце. Я, взрослый, из-под потолка глядел на себя, малютку. Мать открыла зубами длинную бутылку синеватого мутного стекла, плеснула себе в ладонь зелья, оно пахло дико и страшно, и этим запретным раствором стала мазать мне живот, руки и ноги, втирать в мою обожжённую зимой кожу рукотворный огонь. Через малое время я застонал: тело охватило кольцом огненной боли, я дёргался, ныл, кусал рот, скалил зубы, как волк, как медведь, я становился зверем, а не хотел им быть. Мать растёрла меня до жгучей, печной красноты, я уже орал, не смыкая рта. За окнами, опушёнными горностаем снега, бесилась вьялица и вспыхивали и снова слепли плачущие светом звёзды. Свет! Я сам иной раз чувствовал себя светом. Я, свет, мог обращаться в звук, в дрожание хакасского комуза; мог становиться словом, и тогда мать, полосатый кот, цветная сойка за окном, яблочно-алые снегири, все разом, слышали-видели меня. Я горел и гас, и, когда меня заволакивала тьма, я боялся, что вновь не появлюсь в широкий Мирь.

Я лежал, кричал под материнскими руками и под обжигающей плёнкой сине-мутного самогона, а по полу катались три чёрных живых шара. Медвежата, мохнатые комки. Сгустки шерсти, повизгивания и блеска глаз-чечевиц. Она валились набок, кувыркались, показывали брюхо – это был знак высшего доверия брату-человеку. Я забыл про боль, пьялился на медвежат и перестал орать. Мать перевернула меня на живот и крепко, жестоко растирала мне спину. Шершавый рабочий наждак её ладоней расцарапывал мне кожу под лопатками и на поясице. Медведики уселись возле корыта, где я лежал; мать, растирая меня, стояла перед корытом на коленях. Мать и медвежата восседали рядом. Только мать жмурилась, меня растирая, – самогон выедал ра-

дужку большее резаного репчатого лука, – а медвежьи дети глядели во все чечевичные глазёнки.

Когда я весь запылал костром и перестал чувствовать мою плоть, а превратился в одно большое сломанное, без веса, крыло, мать накрыла меня волчьей дохой, вынутой из сундука, из-под леденистой чугунной крышки, обитой полосками красной жести. Вот тут я наконец согрелся. Разжарился, запылал. Засыпая, оживая, туманно, сквозь дрему я почувуял: тяжёлое на ногах, тяжёлое на животе, а вот ещё тяжёлое давит мне на локоть, а морда под мышку тычется. Это медвежата, все трое, запрыгнули ко мне в моё спальное корыто и укладывались на меня и рядом со мной, и прижались ко мне, прилипли, и я спал в Раю, и звери спали со мной.

А когда я проснулся, я света не взвидел. Книга, близ коей всегда стояли две витые толстые свечи, сама собою раскрылась. И с её желтых, заворачивающихся в трубочки, измоченных дождями, высушенных ожоговым полднем, ломких страниц посыпались буквы, буквицы, буквочки. Семена, из них же соткана почва, из них прорастает белый свет, и они в нашей крови текут, иначе мы не говорили бы их, не выдыхали горячим паром изо рта?.. – нет, из сердца!.. – в мороз, не плакали бы и не смеялись ими одними.

И из этих мелких, живорыбных, осиянных, семенных буквочек вдруг стали складываться деревья, птицы, песчаные барханы, морские волны и павлиньи хвосты подлинного Рая. И те живые, кто ютился в Раю, все почему-то глядели в одну сторону.

Туда глядеть нельзя было, да они глядели.

И боялся я посмотреть; и знал я, что там – Ад.

Я выпростался из-под спящих медвежат и стал босыми ногами на ледяную половицу. Я знал: одного угла избы нет. Там пустота. Там Ад и ветер. Непроглядный простор. Свечи горели, испуская длинное, стрельчатое, узкое, змеиным языком, кинжальное пламя. Пламя стало рваться, бесчинствовать, клочкотать. Фитили обгорели, плавились. Я наконец повернулся.

Ад пылал тысячью жадных огней. Ступить в эти огненные рои – и зажалят тебя до смерти, и воскресения не будет. И Мира не станет, и войны; ничего.

А если туда побежать! Прыгнуть в Адский вой, в угольную, антрацитовую пустыню! Горло обхватит чернобуркой ночи. Станут душить дымы. Марина! Где ты! Мать моя! Медвежатница! Знахарка! Плясу-нья! Что ты мне предрекала! Кем я стану в жизни без тебя! Почему я один! Ад, ответь мне, зачем ты, зверь, сожрал мою мать, и косточки не оставил!

Впервые отчаяние охватило меня. Со страниц толстой истрепанной Книги про Рай и Ад доносились голоса. Это кричали мученики Ада. Голые их тела корчились и обращались в буквицы. И я сам становился буквицей, и меня можно было читать и петь, а можно было счистить кухонным ножом и гладко затереть ногтем, и никто никогда не узнал бы, что сожжённая буква мерцала когда-то живыми, слёзными глазами.

На одной звучащей странице пылал и стонал Ад. На другой, рядом, лишь перелистни, Рай. Сквозь облака прорастали золотые апельсины. Красные шары мандаринов украшали жестколистных ветвей. Жирафы, нежно изгибаемые пятнистые шеи, клали головы с фарфоровыми рожками на спины мирно спящим волкам. Волчьи сивые шкуры с грязно-сивым подшёрстком пахли переиждённым вброд болотом, раздавленной

клюквой, свежей кровью. Снежные барсы и рыжие львы глядели смиренно, просяще. Синие громадные бабочки с рисунком на крыльях в виде совиной головы сонно садились на сыро блестящие, узорчатые спины ползущих к воде змей толщиной в бревно. И змеи смиренные, и бабочки смиренные. В Раю всё смирялось со своей участью. С тем, что все или сами умрут, или погибнут.

— Мама!.. От чего я погибну...

Мне некого было спрашивать. Матери в избе не было. Её не было нигде, я видел это. Я видел это не глазами. Внутри меня проснулось иное зрение. Я видел тем, что внутри меня билось глухо и гулко, бухало таёжным колотом в рёбра и под лопатки, и моё сердце валилось мне в ноги мощной, величиною с голову ребенка, кедровой шишкой.

Я был и кедр, и шишка, и колот, и сердце. Я был всем сразу и во всех временах. Мне больше не надо было печалиться о смерти. Я был одновременно и покойником, и вновь рождённым. Ад и Рай это были смерть и жизнь, такая дивная, обречённая на вечное катящееся колесо смерть-жизнь.

И они обе не хотели меня пощадить.

И я у них обеих не просил пощады.

ФРЕСКА ЧЕТВЁРТАЯ. ЛЕКАРЬ ТЬМЫ КРОМЕШНОЙ

А ведь главная, самая сильная боль, может, не в ранах.

Ф. М. Достоевский, «Идиот»

Малое клеймо с изображением жития Василия Нагоходца

Рожденье моё, дитя, случилось в тайге, всё село шептало: меня мать моя, Марина, в лесу от медведя пригуляла. Рано я узнал людскую злобу. А дара моего не знал; что знает ребёнок? Он знает всё про Мирь, и ничего — про себя. Мой отец Царь-Медведь, мой отчим широкий ветер, моя мать лекарка забытая, моё детство — цветок-жарок в тайге по весне.

Лечить! Спасать! Исцелять! Молитву возносить за здравие! Я сызмалства привык: мать возится с болящими, мать перевязывает раны. Прислоняет горячий воск ко вспухшему чужому телу. Тело человека! Душа человека! Рано я понял: это одно. Исцеляя тело, мать моя, Марина, исцеляла душу. Обихаживая душу, воскрешала тело. Мать моя читала мне из толстой Книги Жизни каждый вечер; книга та, дитя моё, пахла прогорклым воском и нежным мускусом. Она пахла потёками муро, что варили в котлах батюшки для святого помазания; а потом, забывши труды людские, вознесясь над варевом и котлами, само текло вдоль по ликам незапамятного письма образов. В деревенском храме тихо, молча стоял я, а мать моя держала меня за руку, потом руку выпускала и шептала: «Крести лоб, Бог всё видит». Я накладывал на себя крест, и при этом начинал внутри себя видеть странные дальние карти-

ны. На меня наплывали железные сражения, грозные дымы, площадные огни. Я шёл по земле, истекающей кровью, и по празднику шёл, и по канату над толпой на жестоком лицедействе, и по горящим углям, и меж смиренно лежащих трупов. И так я младенцем шёл-шёл, да и дошёл до Рая.

Спрашиваешь, что такое Рай? Да, я видел его, я гулял в Райском Саду. Да разве можно об том – словами? Нет таких слов ни в моём языке, ни в твоём. Рай – это когда пред тобой открывают старинную тяжелую Книгу Судеб, а ты там всё до слова знаешь и сам себе их давно поёшь. Рай, это когда ты босыми робкими ногами ступаешь по изумрудной траве, а она гнётся и шелестит туманным шёлком, отсвечивает зелёным перламутром, распахивается веером цвета змеиной кожи, кладётся нежной полынно-бархатистой тропой, вясь и уходя вдаль, за кромку бытия, и ты идёшь по Раю по дороге той, ничего не понимая, не осознавая, никакими вопросами не задаваясь, а просто идёшь, дышишь, радуешься, наслаждаешься, здесь и сейчас, и здесь превращается во всюду, а сейчас – в навсегда. Рай... да... звери в Раю... люди в Раю... не могу передать, сколько же в них любви. На земле я такую не встречал. Нет, вру, дитяtko, встречал! Есть, есть такая любовь... и за плечами моими, и впереди меня... маячит везде, летит надо мной... Дева-Птица... имя её тебе сейчас не скажу... рано ещё...

Я научился летать. Раскину руки – и полечу. Над откосами, над разливами рек. С голубыми вровень, с гусями, журавлями, цаплями. Над плавнями лечу, над синими заводами; над плеском Царских рыб в глубине; над заветным местечком, где река вливается в море, и море громадной волною, нахлынув, навек поглощает её. Река – смерть, море – бессмертие. Так я тогда понимал.

Мать научила меня врачевать. Врачевать, это всё равно что на чужом теле рисовать. Излечивая больных людей, я рисовал на их теле рисунки. Углём, кинovarью, даже кровью моею, разрезая себе палец и запястье и малюя красные разводы на коже страдальца. Тело, изнутри увидя рисунок мой, вздрагивало, съёживалось, расправлялось, расслаблялось, распускалось подобно цветку. Исцелялось на глазах. Человек глядел внутрь себя и видел там, глубоко, скрытые силы свои. А я их высвобождал.

Ещё к нам в избу приходил мой дед. Дед, белая борода, приходил из ниоткуда и уходил в никуда. Он носил на голове железный колпак. Железный край больно впивался ему в лоб и в затылок под редкими вьюжными волосами. Иногда из-под тесного железного горшка по лбу деда текла кровь. Он радостно вытирал её ладонью, ладонь обтирал о портки и радостно восклицал: мучься, мучься, тело жалкое, презренное, на Страшном Суде не так-то будешь мучиться! А на небесах то, у праведников, тебе зачтётся.

Я, уцепив деда за руку, ходил с ним на рыбалку. Рыбалили мы знатно. Особенно зимой: пешнёю лунку во льду пробивали, и толклись в круге водяном тучи осетров, живых колючих брёвен! Волшебная прорубь, я шептал, речушенька бажоная, дай нам рыбки, мы ж тебе, реченька, отработаем.

А потом дед как сквозь землю провалился. Я спросил мать Марину: а дед-то где?... умер, что ли? Я знал, что есть смерть. Нет, тяжело, медленно покачала Марина головой, просто исчез; ушёл. Скатертью ему дорога! Если отыщешь деда, когда взрослым станешь, в странствиях твоих по земле, передай ему, как я его любила. Он колпак железный

носит; он юрод. И ты его унаследуешь, ты будешь юрод. Судьбина тяжкая, а чести перед Богом много.

Я рос, и тут со мною приключилась беда. Беда, дитя моё, может приключиться с каждым. Я лечил людей уже не в крохотной саянской деревеньке, а в гулких, сутемных городах, куда сам, по моей воле, из заброшенной моей, родной деревеньки через всю мою юность прибрёл, где бедствовал, с хлеба на воду перебивался, где ежедневная толпа, то снегом наплывающая, то дождем морозящая, просит, требует: дай!.. дай!.. – на стогнах, там биение колокола заглушают дикие вопли: «Ахти мне, ограбили!.. Эй, все сюда, ребёночка я потеряла!.. Помогите, люди добрые, гляньте, всего меня ножами изрезали!..» – и бросаюсь я, чтобы помочь, спасти, а мне – раз!.. – подножку, и под мышки уцепили, и волокут, а куда – не знаю... И орут мне в уши, и глохну я от крика: «Это ты, ты зарезал!.. Ты – убил!.. На дыбу тебя!.. На костёр!.. На плаху!.. Без суда и следствия!.. Народ, свершим правосудие сами, толпою!..» И так желали меня прикончить сразу, тут, на площади, да явились стрельцы-молодцы, прокричали приказы и запреты, и на колченогой телеге, на ребрастой голодной лошадаёнке привезли меня в тюрьму, и там кричали над моей голой головою множество возмущённых, хриплых и звонких голосов, и выкрикнули приговор, и кинули меня, дитя, в каталажку... ох, не могу те годы вспомнить, да ведь я их и провёл за решёткой! На пользу ли, на ужас, на счастье – не знаю! И знать я не должен! Бог за меня знает всё!

Томился я в неволе один. Никого родного со мной. Там, в одиночестве, мне все люди на Земле и стали – родные. Как то произошло? И того не знаю. Всех скопом видел; над простором летел; подобно голубю, подобно Сирину, Алконосту. И был я свободен. И радостен был. Тюрьма превратила меня в счастливца. Смеёшься? Не смейся! Горькое горе иной раз делает человека самому себе вольной птицей! Самому себе священником! Я у себя самого принимал исповедь! Бормотал, перечисляя, сбиваясь, сам себе на тюремной одинокой исповеди зимние, ледяные грехи, коих никогда не совершал! Да в будущем, видать, так себе шептал, совершу! А лучше – загодя покаяться! Чтобы никогда больше... Ко мне в застенок врывались пыталыщики. Обнажали меня и бичевали меня. Избичуют, оставляют на полу узилища, истекающего кровью. Не плакал я. Не кричал. Слёзы исчезали, а иной раз и боль исчезала. Словно бы набрасывали на меня рубаху, исцёрканную вдоль-поперёк алыми полосами; я сам себе был земная карта, изрисованная алыми, багряными реками, и реки те струились по мне, текли, утекали вдаль, к морю крови, а может, неба, а может, любви.

Постепенно мои тюремщики стали меня не только бить, а и привечать; не только кровянить мне спину и лик, но и советовать со мною: эй, ты, юрод, ну-ка вымолви словцо, скажи-ка нам, вот что нам делать с застреленным на Царской охоте зайцем?.. хотели повару снести, штобы он зайца того освежевал, в глиняном горшке запёк да к столу Царскому подал, разрежали животину, а у дичи-то внутрих – бирюзовый крестик в золотой оправе, до того красотульный, спасу нет, как светится, аж-ник ладонь греет!.. так тот зайчишка, быть может, не простой, а заколдованный, али пуще того, Божья прислуга!.. а мы его – на жратву пустим!.. вот ответь, што нам тут предпринять!.. – и я улыбался и тихо ронял: люди-люди, вот вам зверь урок преподавал, и у зверя во чреве может таиться на молитву намёк, а вы тот бирюзовый крестик возьмите – да подарите. Кому, они кричат, Царю, Царю, што ли, задарить?!. Нет,

говорю, не Царю, а выйдете на Красную площадь, да выхватите там охотничьим оком из толпы распоследнюю нищенку, бродяжку, да к ней и подойдите, да ей – сей бирюзовый крест – на ладони и протяните. И приговаривайте при этом: носи, носи, бедняжка, на здоровье, надень на шею, ладонью щупай, торжествуй, радуйся, молись, бирюзовый небесный крест на груди, как голубя, пригревая!..

На другой день палачи ко мне заявляются да отчёт предо мной держат: всё сделали, как ты велел, узник, выискали на Красной площади оборванку, юродку, не в себе девка, ходит-бродит близ храмов да песню поёт, широким крестом народ осеняет, а сама босая, а у самой мешок из-под гнилого овоща на плечах! Вот мы к ней и подкатились, и ей – бирюзовый крестик – и вручили! И она, представь, не удивилась, не отвергла, взяла! На ладони держит и балакает тихо: вот точно такой у меня и в Сибири был, мне его когда-то давно Богородица поднесла, с небес спустилась да на меня, в колыбельке спящую, его и надела, об том мне мать моя поведала, то и дело крестясь и мелко дрожа, а потом мать умерла, а потом я крест потеряла, а может, украли, а может, коварная Дьяволица стащила, когда я в толпе по рынку шастала. На нас глядит пронзительно. В кулаке бирюзу зажала. Нас вопрошает: отколь он у вас, добрые люди? А мы ей: не добрые мы вовсе, мы Царские каратели, мы на преступников охотимся, а подчас и на зверей в лесу, в зайчином брюхе крест нашли, да вот тебе, несчастненькой, вручить и порешили: всё, мол, замурзанной нищей радость какую принесём!.. А она на нас так пристально глядит да мерно так, будто в медный колокол бьёт, изрекает: это не вы решили, это парень один решил. Выюныш юродивый. Не держите его боле в тюрьме, выпустите на волю. И вот мы тебя, юрод презренный, на волюшку отпускаем. Выбегай вон из-за решётки да нас, милостивых, помни!

Не могу передать тебе, дитя, каким вкусным, когда вдохнул его до дна лёгких моих, показался мне свободный, сырой и сильный ветер. Дул ветер мне в лицо, мимо меня, сквозь меня. Выдувал насквозь мою боль и мою мудрость. И стал я безумцем. И к счастью мне это было.

Я не гнал от себя безумие моё. Я понимал: оно дано мне, как награда. Любую боль и любое сумасшествие в жизни и в смерти надо заслужить. Боль обращается в светящийся всеми складками твой святой мафорий, радость – в твою святую епитрахиль. Ты ими окутываешься. Их никто не видит. А ты, нагой, идёшь по зимним колючим дорогам, и стопы твои разрезает ножевой лёд, и жёсткая снежная крупка царапает, ранит щёки твои и грудь твою, а ты – счастлив. Дорого стоит твоё счастье! И необъяснимо оно.

Я ходил по дорогам Родины моей, и на людных площадях, в укромных закоулках, на излёте забытых кладбищ, близ детских приютов и разрушенных, ржавых заводов лечил, утешал, любил. Я любил людей, и люди это понимали. Меня не отталкивали, хоть и страшен я видом был – голый, в одной простыне, обкрученной вокруг чресел, идущий шатаясь, как на ходулях, в самую гущу безвременной, скитальным роем клубящейся толпы. Люди сбиваются в кучи и стога, люди трясутся в общей пляске, из их глоток выходит и тает в пространстве общий крик. Чем больше людей на земле, тем плотней они друг к другу жмутся. Я молился за всех, за всю необъятную толпу, и люди, хоть орали громче боя колоколов, почему-то безошибочно слышали в людском море меня, и во всей моей молитве все слова всегда разбирали. И – запоминали. Я видел: слово моё обладает могучею силой; произнесённое, огнём

впечатывается в память услышавшего, ожогом вспухает на руке, на груди, на лбу мимохожего.

И так, идя зимним путем, я становился всеобщим лекарем. Пройдя сквозь тюрьму, я понимал людскую боль. Наученный матерью-знахаркой, я умел уврачевать телесное страдание. А то, что я отверг тёплое одеяние внутри нашей родной зимы, так то правильно сделалось в жизни моей, верно сотворилось – тот, кто лечит, не должен себя лелеять, тот, кто других ласкает и от мороза спасает, не может ублажать себя пушистою шубой, сладчайшей едой! Ты другому сладость протяни. Ты инакому жаркую доху подай. И укутай дрожащего, нищего в богатую Царскую рухлядь. Никогда бедный человек не ощущал такой заботы. И вот я! Тут как тут! Мне тулуп бараний сердобольная вдова подарила – я немедленно его бродяге отдал, он сидел под мостом с нищими, и распивали они на троих бутылочку беленькой. Нищие заворачивались в лохмотья да сидели на снегу в сапогах с чужой ноги, а у бродяги, что бутылку добыл, скрал, небось, с лотка на рынке у Кремлевской зубчатой стены, на плечах ничего не моталось, ни мехов, ни парчи, ни изодранной псами рубахи, ни лоскутного детского одеялишка, попачканного винными звёздами жалких пирушек: гол был бродяга как сокол, как и я же, близнецы-братья мы с ним были, и медленно подошёл я к пирующим нищим, и стащил с плеч бараний курчавый, седой тулуп, и накинул его на голого скитальца, и улыбнулся, и шепнул ему на ухо: Господь тебе то дарит, не я. А я – лишь орудие Господа. Изумлённо воззрился на меня бедолага, крепче запахнулся в дарённый широкий тулуп, а я вообразил, как тулуп тот носил бедный муженёк доброй вдовицы – и мысленно увидал, как мужик тот тулуп надевал, как в нём на площадь, в широкий Божий Мирь, ступал – торговать, буревать, воевать, умирать.

Все мы наследуем друг другу. Каждый донашивает за другим его одежды. Бедные ли, богатые. Ты сегодня богач, а завтра бедняк. Кому суждено торговать, кому воевать, а кому умирать, а кому воскресать. Всё распределено в Мире, дитя, всё нам предписано. И не отвертись.

Стихи по кругу

Валерий МАККАВЕЙ

Нижний Новгород

Арзамасский ужас Льва Толстого

...ужас красный, белый, квадратный.

Л.Н. Толстой «Записки сумасшедшего»

Квадрат окна в стены квадрате,
Белёной комнаты квадрат.
Геометрически зажатый,
Ложусь в квадратную кровать.
Квадрат подушки слишком мягок,
И мысль в квадратной голове:
«В дубовый гроб однажды лягу
В холодном белом ноябре».
Проём двери, ведущий в сени,
В ночи похожий на квадрат,
Гардинка красная с синелью —
Квадрата жалкий дубликат.
Декартовы координаты
В пространстве вечной мерзлоты.
И жизни нет внутри квадрата.
И смерти нет. Есть Бог и ты.

Александра КОРЖОВА

г. Калтан, Кемеровская область

Сон

Снилась церквушка простая
У тихой реки,
Снилось — я в косы вплетаю
цветы-васильки...

Снился мне белого платья
Нежнейший шифон...
Шорох колёс по асфальту
Развевал мой сон.

Шорох колёс за окошком,
Жених у дверей.
Длинное белое платье
На дочке моей.

Елена ПЕЧЕРСКАЯ*Москва***На задворках**

У богини судьбы на задворках
Громоздились коробки с лапшой,
Дворик был в апельсиновых корках,
Тополь был, пораженный паршой,

Почерневшей доски половина,
Голубок, что кусок приволок...
Где-то здесь, на задах магазина,
Притулился сей странный мирок.

Жизнь моя то поет, то грохочет,
То темно в ней и хочется пить...
Только цепкая память не хочет
Этот малый мирок уступить.

Этот снег в апельсиновых корках,
Этот тополь, страдавший паршой,
Эта жизнь на московских задворках
Спелись вместе – и стали душой!

Много есть и отверстий, и дыр ведь
Там, где ветер гуляет сквозной,
Только что-то из памяти вырвать -
Словно зуб удалить коренной.

Элина ЧЕРНЕВА*Москва*

* * *

чем яблоко отличается от облака?

яблоко съесть можно, но не хочется
облако съесть хочется, но никак

вот и я такая:
для кого-то – яблоко, для кого-то – облако

...но ехала домой и осознала,
что всё-таки – нашла.

* * *

вас приветствует автоответчик
лифт сохраняет ваше здоровье

терминал временно не работает
гардероб ответственности не несёт

шрифт не поддерживает кириллицу
сервер перестал отвечать
сим-карта привязана к телефону
пожалуйста, не бросайте бумагу

* * *

мужчина писал за углом,
а я искала
музей культуры кочевой,
и не нашла, поскольку замерзала.

* * *

разделяя яблоко ложкой,
усомнишься и съешь вместо мякоти
горчеливые семечки с кожицей:
целых три
не случившихся
яблони.

Ксения КРУТИНА

Нижний Новгород, гимназия № 53, 8-й класс

Город, видимый в сновиденье

В этот день за клубился пар, удушивший город,
Как в каком-нибудь там туманном Альбионе.
Я подумала: в этом море, жаль, нет линкора;
Да и небо едва не падает на ладони.

И мне кажется, что я раньше была огромней;
И крутившиеся внутри меня шестерёнки
Приводили в движение все, что доступно глазу –
А потом это все закончилось. Все и сразу.

Каждый, кто убегал из детства, наверно, думал,
Что все это сплошные вещи: кровать и тумба,
Табурет, заменимый новым, иным предметом.
Но опала листва, и на фото осталось лето.

Пустоты не унять. В моих мыслях толпится поезд.
А на станции грязь, духота, пустословие, клятвы.
Может, я растворюсь в этой драме мечты и открою,
Что мне вовсе не надо уже возвращаться обратно.

Но я всё же вернусь! В этот омут, моргнувши глазом,
Окунусь и проснусь хранимой чужим мгновеньем.

Я вернусь, только чтоб узнать, что нельзя остаться.
Чтоб проверить, возможно – память, возможно – зрение.

Я войду так, как будто меня не учили стучаться;
Я взмолюсь так, как будто меня научили молиться.
Потому что обычно сложнее всего встречаться
После долгой разлуки – снова чужие лица.

Этот город, как будто видимый в сновиденье,
Эта лента дорог, завязавшая в сердце узел.
Как свидетель эпохи моей, невозможность, мгновенье –
Это я. Это все, что осталось. Неважно. Опустим.

Это все, чтоб теперь идти, не смотря за спину,
Не жалея о том, что мы, в целом, не попрощались.
Это только туман. Он опустится вниз и сгинет
Привидением памяти. Как обман. Как память.

Елена ГАЛИАСКАРОВА

Красноярск

Пьеса окончена, в зале темно и пусто

Вечер. По лесу спешит, ускоряя бег,
В город Ассоль, нагадал ей удачу эгль.
Слепит глаза леденеющий колкий снег,
Мысли тасуются, словно квадраты легио.
Лес, занесённый метелью, хранит тоску,
Дятел стучит по стволам, раздаётся шорох –
Заяц грызёт, отрывая по колоску,
Стебли пырея, примяв трав засохший ворох.
А в кабаре у Мадам шик-гламур, бурлеск,
С ней сын трактирщика шепчется задушевно.
Манят наряды гостей, украшений блеск,
Светят софиты таинственно и волшебю.
Вечный сюжет – ждёшь, появится, может, Грей;
Осень готовится кланяться, пьёт робусту.
Ночь намечает сугробы в саду камней,
Пьеса окончена, в зале темно и пусто.

Павел КЛИМЕШОВ

Нижний Новгород

* * *

Апрельских птиц разноголосица,
Как перезвени хрусталя,
В лесу оттаявшем разносится,
Изливов эха не тая.

А все снега окрест расхищены
У вешней выси на виду...
Насквозь пронизанный, очищенный,
Во взвеси световой иду.

* * *

Чрезвычайны апрельские ночи:
Полусон-полубденье они,
О продлении память хлопочет,
Проясняя прошедшие дни

Светлой юности ясные дали,
Доброй дружбы высокую суть;
Дни грядущие сдюжат едва ли
И замену друзьям принесут.

Снеготала ночные туманы...
Слепота потайных фонарей...
Эти сладкие полуобманы...
Боже мой, рассветало б скорей!

Очищение

День воскресный пасхальный блистал,
Славя Празднество празднеств... А ныне
Сплошь небесная синяя сталь
Порождает нежданно унынье.

Только птицы звучнее в лесу
И пронзают ненастную дрёму;
Средь подлеска часты на весу
Изумрудные стрелки черёмух.

Праздник длится! И дождь – не беда:
Это вешний поток очищенья.
Христе Божий воскрес навсегда,
Изливая земле всепрощенье.

Антон ФОРТУНАТОВ

Родился в 1967 году в Горьком. Окончил истфил Горьковского государственного университета, служил в рядах Советской армии. Работал собственным корреспондентом газеты «Комсомольская правда» по Горьковской, Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областям, директором региональной телевизионной компании «Фортуна» («ВиД-НН»). С 1997 по 2002 год – советник губернатора Нижегородской области И.П. Скларова по работе со средствами массовой информации.

С 2000 года преподает в Нижегородском госуниверситете им. Н.И. Лобачевского. Доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой социально-политических коммуникаций Института международных отношений и мировой истории ННГУ.

Живет в Нижнем Новгороде.

ТАНГО С КИБОРГОМ

С какой мелодией ассоциируется у вас слово «танго»? Почти наверняка – с той самой, которая была написана 110 лет тому назад студентом уругвайского университета Херардо Эрнаном Матосом Родригесом. «Кумпарсита». Помните? Ну, конечно: Волк в «Ну, погоди!» танцевал ее с Зайцем на льду деревенского катка, пока в экстазе не пробил лед. Интернациональный язык – тела, страсти, захлестывающих эмоций – даже для мультяшных героев. Вне времени и пространства. Кажется, мы по-другому и не воспринимаем танго (впрочем, любой справочник поведаст о том, что этот танец родился в злочных кварталах Буэнос-Айреса).

Но так ли все однозначно? «Кумпарсита» ведет свое название от итальянского слова «компарса», то есть статисты, группа людей на заднем плане, массовка. В начале прошлого века эта невыразительная толпа вдруг начала обретать индивидуальные черты, превращаться в сообщество осмысленных людей, имеющих претензии на собственную уникальность, вернее, отстаивающих, выгрызающих свое право на непохожесть. Индивидуализм как новая, современная стадия коллективизма. Для нас, наверное, ближе Маяковский, экспрессивно выразивший это чувство: «Радуюсь я – это *мой* труд вливается в труд *моей* республики». Меня, кстати, всегда умиляло продолжение этой сентенции,

Единица – вздор,
единица – ноль,
один –
даже если
очень важный –
не подымет
простое
пятивершковое бревно,
тем более
дом пятиэтажный.

Поэтическая боль Серебряного века очень хорошо передает эту осто-
лбенелость, парализующее удивление от взорванного изнутри мира,
от хаоса, претендующего на универсальную закономерность:

Новизна, ставшая самоцелью, обеспечивалась самостоятельностью технологий, вырвавшихся из-под контроля человечности. Пилоты в крагах и круглых очках, брутально играющие желваками на фоне во стоорженной публики, не оставляли места для сантиментов: они были воплощением успешности технологий в сравнении с обреченностью, аутсайдерством изломанных и изнеженных декадентов. Им на помощь, как и во все последующие годы, приходил эротизм: страстная, безудержная массовка становилась воплощением разнузданности и бесстыдства технологий, которые «срама не имеют». Эрос и Танатос на долгие годы были объявлены двигателями прогресса. Технологии позволили «единице» обрести иллюзию самодостаточности, потому что мир вокруг нее был упакован с помощью обезличенных, бездушных средств, свысока взиравших на традиции, опыт и культуру. Вот, например, фонограф Эдисона был изобретен для того, чтобы служить

дополнительным удостоверением у нотариусов при юридическом сопровождении завещаний. Грустное, но важное подспорье! Но так случилось, что для демонстрации возможностей нового аппарата изобретатель не стал использовать чьи-то голоса, а взял невинную песенку «У Мэри есть маленький ягненок». Это был совершенно незаметный шаг в сторону музыкальной индустрии, с ее витальностью и натужным «шоу должно продолжаться».

Однако в 1938 году на Всемирной радиовыставке в Нью-Йорке Радиокорпорация Америки (RCA), ставшая спонсором нашего земляка-изобретателя телевидения В.К. Зворыкина, проводила опрос посетителей: «нужно ли телевидение в повседневной жизни?». Около 90% респондентов отвечали тогда решительное «нет», потому что в тот момент публичное разглядывание чьего-то частного времяпровождения еще казалось занятием не очень пристойным, нарушающим культурные табу. Модерн долго штурмовал бастионы нравственности, которые, впрочем, после Второй мировой быстро превратились в руины человечности.

Кстати, о телевидении. Его изобретение, пожалуй, было одним из тех фатальных и бесповоротных шагов, жестко определивших развитие, вернее, угасание, разлом, самоотрицание технократической цивилизации. В конце XIX века после изобретения телеграфа, позволившего получать сообщения из-за океана в момент их свершения (первая строка, которую передал Морзе, – «чудны дела твои, Господи»), после фотографии и фонографа человечество вплотную приблизилось к техническому освоению времени и пространства с помощью телевидения. Каких только замысловатых технических идей не было в то время! Однако бесчисленные попытки имитировать человеческий глаз или хотя бы фасетчатое зрение стрекозы, остроумные фокусы с зеркалами никак не позволяли продемонстрировать на экране элементарное передвижение предмета из точки А в точку Б. Тайнство человеческого мировосприятия не поддавалось технологическим алгоритмам. И тогда в 1883 году одного немецкого студента, Пауля Нипкова, посетила гениальная мысль: не нужно копировать биологические принципы, а следует создавать особенные, технологические приемы, позволяющие от начала до конца производить собственный, телевизионный механически-визуальный продукт.

Так возникла идея «развертки» – процесса расчленения видимого изображения на ряд отдельных, дискретных, обособленных элементов, которые можно было бы передавать по каналам связи и потом собирать, словно детский конструктор, словно массовку на очередном шоу, в целостные картинки, имитирующие обыденную действительность. Студент вряд ли был прирожденным философом, но он удивительно точно уловил саму суть технологического освоения мира: каждый инструмент в руках человека обладает конкретной областью применения, и чем локальнее, четче эта область, тем эффективнее технология, призванная добиться очевидного, зримого результата. Спустя сто лет Элвин Тоффлер подведет итог этим процессам в своей культовой «Третьей волне»: «мы начинаем знать все больше о все меньшем». Это как раз о техническом мировоззрении: копаться в деталях в прямом и переносном смысле – это значит не видеть и не хотеть видеть ничего за пределами локальной технической задачи. Перфорированный диск Нипкова, вращавшийся перед освещенным объектом, прочерчивал по нему невидимые лучики-штрихи, которые фиксировала светочувствительная аппаратура, передававшая эти конкретные сигналы по каналам

связи. Это была не фиксация реальности. Это было ее утверждение, формирование здесь и сейчас!

Нипкова провозгласили гением, а мир постепенно, шаг за шагом, начал упиваться расчлененкой, самым фактом наведения камеры на объект уничтожавшей его, обездушивавшей, превращавшей в потенциальный холодец, который, будучи впоследствии воссозданным на экране перед зрительской аудиторией, удивительным образом воплощал собой мимолетность, конечность, неуловимость настоящей, неискusstvenной жизни. Вот от чего страдали Северянин, Гумилев, Брюсов! В фашистской Германии устраивали «просмотровые залы» в момент берлинской Олимпиады, в которых демонстрировались телевизионные события спортивных состязаний. Восторг и экстаз многочисленных зрителей был связан не только и не столько с гордостью за победы спортсменов-нацистов, сколько с причастностью к священнодействию – торжеству технологий над человечностью. Прогрессизм и модерн не имели смысловой альтернативы. Жизнь на экранах возникала будто бы из ничего.

Помните, как бежали первые зрители братьев Люмьер от приближавшегося к ним виртуального поезда? Для меня эта мизансцена символизирует безусловное торжество технологий, которые, невзирая ни на что, мчатся куда-то своей дорогой, а человек должен им ее уступать, прятаться, уходить в сторону. Подчинение общественного сознания этой новой, вычурной, искусственной логике проходило мучительно, впрочем, достаточно быстро. Уже спустя 20 лет после нелепых ответов посетителей Нью-Йоркской выставки телевидение станет самым массовым, тотальным, вернее, тоталитарным средством пропаганды и искажения реальности. И когда Карлсон в хрестоматийном советском мультике будет искренне изумляться тому, как представительный мужчина-диктор улыбочиво что-то вещает с экрана, хотя половины туловища у него фактически нет, мы будем умиляться наивности этого детского персонажа и даже не подозревать, что толстый чудак с пропеллером окажется едва ли не последним гуманистом на этом истерзанном поле битвы технологий и правды. Ведь воссозданным с помощью логики нипковской развертки картинам всегда чего-то недостает, и эта недосказанность и недодуманность превращаются в то, что измученные, истерзанные философы конца XX века называли «дискурсом» – пространством смыслов и логических принципов, в котором развивается общественная мысль.

Канадский медиафилософ, апологет телевизионной эпохи Герберт Маршалл Маклюэн в интервью журналу «Плейбой» (ну а где еще?) радостно переворачивал все с ног на голову: «Я называю эту своеобразную разновидность самогипноза “Нарциссическим наркозом” – синдромом, при котором человек не замечает психогенных и социальных последствий новых технологий в той же мере, в какой рыба не замечает воды, в которой плавает».

Вообще, многочисленные прививки технологизма, которые получало общество на рубеже XIX–XX веков, привели к тому, что сознание превратилось в податливый пластилин, на котором кто-то нетрепетной рукой мог запечатлеть какие угодно истины. «Партия сказала – комсомол ответил: “Есть!”», и никаких тут больше рассуждений не требуется, потому что сомнения – это декадентская роскошь, а нужно действовать, быть эффективным, безудержным как те технологии, которые «ведут общество» к светлым и таким, кажется, достижимым – вот-вот, еще небольшое усилие – далям! «Через четыре года здесь будет город-сад!»

Жуя промокший хлеб (так и хочется сказать «вкусно – и точка!»), человечество упивалось экстазом модерна, все больше погружаясь в технологические химеры, которые на поверку оказывались очередным «проектом», отрицающим самое себя, потому что обновление технологий происходило нарастающими темпами. Танго все больше втягивало в свой вихрь очередную «компарсу», надсадный вой скрипок уже сменился электронным звучанием, и только ритм – ритм усиливался и ускорялся, и не было ни сил, ни желания остановиться...

Нравственный, смысловой излом конца XIX века сопровождался целым рядом эстетических направлений, которые превращали модерновое расчеловечивание в эстетический манифест – как преклонение перед мощью и безусловностью нового мира. Взять хотя бы экспрессионизм, провозглашавший важнейшим своим принципом отказ от жизнеподобия как воплощения буржуазной либеральности. Не стоит большого труда погуглить и внимательно рассмотреть художественные образцы этого искусства – изломанные человеческие силуэты на фоне урбанистических руин: Карл Хофер, Макс Бекман. А ведь в сравнительно небольшой исторической перспективе перед этим было другое художественное течение, также подспудно отвечавшее на неявные, но грозные вызовы Нового времени, – сентиментализм, делавший опорой на приоритет чувства взамен разума, провозглашавший культ неспорченности, отношение к природе как живому организму, способному откликаться на состояние человека. В качестве иллюстрации мне тут приходит на ум картина Владимира Лукича Боровиковского «Лизынька и Дашинька» (1794 г.) – такие милые, наивно-открытые женские лица.

Однако и отрицание технологического молоха, и заигрывание с ним никак не отсрочили ужасных последствий XX века, с его ипритом, Германией, Ленинградом, Хиросимой. «Смирись, гордый человек» Достоевского, как апелляция к нравственному усилию, сменилось сегодняшней обреченной опустошенностью, когда индивиду уже все равно, а «гордый» сегодня реализует себя на омерзительных «голых вечеринках», искренне считая себя созвучным «нерву времени». «Крупный план сродни порнографии», – когда-то прозорливо утверждал французский философ Жан Бодрийяр. Однако кому до этого есть дело, если появление твоей одутловатой физиономии во всей полноте кадра есть единственный и годами испытанный залог успешности? Что-то, видимо, предчувствовали посетители Нью-Йоркской выставки – что-то, что абсолютно недоступно сегодняшнему мировосприятию!

И вот посмотрите на современные блоги! Это же экспрессивный сентиментализм, когда отсутствие правдоподобия умножается на душераздирающую сентиментальность. Только «Лизынька и Дашинька» заменены сегодня котиками и «ми-ми-ми», а экспрессионизм – это и есть отрицание самого человека: недавний хайп вокруг фотографий за секунду до смерти, приносящих несколько тысяч или даже сотен лайков обреченному «герою», все эти бесчисленные жестокие сцены, которые выкладывают молодые преступники в сеть, издеваясь над сверстниками или нападая стайками (компарсами) на одиноких и незащищенных пожилых людей, – что это, как не безусловная, тотальная капитуляция человечности (правдоподобия) перед логикой (этикой не поворачивается язык сказать) технологий? «Расчлененка» стала обыденным языком – тем, что не нужно специально осваивать. Он – в буквальном и переносном смысле – в крови у современных поколений, проводших свое детство перед экранами телевизоров и компьютеров.

Еще в восьмидесятые годы немецкие социологи пришли к выводу, что зритель перед телевизором получает до 100 сцен насилия в день. Но, как известно, если человеку 100 раз сказать, что он свинья... Один из «мэтров» отечественного ТВ в порыве откровения как-то признал, что в состоянии сделать лошадиный круп самым популярным персонажем нашей культурной жизни. Что ж, опыт, как говорится, не пропьешь. «Сентиментальное путешествие» Лоренса Стерна как литературное воплощение сентиментализма сегодня сменилось блогами «тревел-мания» Сергея Анашевича, снимающего свои «путешествия» на фоне войн и человеческих трагедий.

Одним из эстетических воплощений Нового времени был культ скорости. Чем стремительнее двигался куда-то человек, тем ярче и счастливее рисовалась его перспектива. Статика, неспешность представлялись воплощением убогости, серости и уныния. Технологии позволяли получать искомый результат здесь и сейчас без мучительных размышлений о методах, способах, путях его обретения. Кнопка «вкл.» стала воплощением обыденной магии – чик, и готово! Загорелся экран телевизора, и ты в одночасье оказался на знойном берегу Карибского моря несмотря на снежный хаос январских нижегородских реалий. Включил смартфон, и запотелые окна переполненной маршрутки в час пик стали порталом на эстрадный концерт какой-нибудь поп-дивы на другом краю света. И поскольку все, что ты видишь на экранах гаджетов, считается заведомой правдой, эти изображения обретают дополнительный символизм – как отражение твоего Я, как нечто заведомо большее, чем просто ты сам. Чик – и готово: нет человека!

Тот же Маклюэн в свое время провозглашал сакраментальное: «медиум – это мессидж». То есть любой носитель информации становится самостоятельной коммуникативной ценностью, потому что упаковывает изображение в немного загадочный, символический образ – заведомо более сильный (хоть и недосказанный, а потому и воспринимаемый теперь как загадочный и многозначительный), чем все твои убогие фантазии. Разве ты в состоянии совершить триллион логических операций в секунду? Твой ум настолько обленился, что ты уже не можешь без калькулятора перемножить два двузначных числа. А компьютер – легко! Значит, сиди и потребляй! Мир вокруг живет по законам технологий – они быстрее, а значит, как они сами утверждают, – умнее. Никто особо этому не сопротивлялся, а даже наоборот, – многие находят в этом неизъяснимый кайф. Бесчеловечность стала нормальным, естественным этическим фоном для социальной жизни. Все равно все завтра переменится, так зачем же бунтовать?

Вот, например, камера снимает симпатичную девушку. Достаточно чуть-чуть сменить ракурс, и ее лицо превращается в уродливый плоский блин или наоборот – вытянутую, высокомерную сосульку. Наученная горьким опытом сетевых насмешек и въедливой критики (в сети мельчайшая деталь становится гигантским бревном в вашем глазу), девушка уже знает, каким боком повернуться к сверлящему ее объективу. Это у нее – «рабочая сторона», которая чаще всего передает миловидность. Мы уже не замечаем, что все наше сознание давно перестало быть отражением целостного, уникального мира: одни «рабочие стороны» для тех или иных ситуаций. Камера стала и полицейским, и судьей, и судебным приставом, поскольку сама выносит приговоры, а ее вердикты требуют неукоснительного выполнения.

Это как-то само собой произошло: еще недавно она казалась воплощением художественного освоения мира (помните это священнодействие с магнелиевыми вспышками на старинных фотоаппаратах?), а теперь вдруг обрела самостоятельность и беспристрастность. «Смирись, гордый человек!» Теперь к ней добавился еще и искусственный интеллект, благодаря которому твой внутренний мир превратился в набор дискретных элементов, и жестокие, бесстрастные, с рыбьими глазами «аналитики» начинают знать о тебе заведомо больше того, в чем ты даже сам себе можешь признаться. Танцевавшая в 1914 году компарса упивалась своей самоценностью, возможностью выражать, не стесняясь, свои эмоции. Но теперь человечество попало в жесткие объятия киборгов, и, возможно, ему бы и хотелось остановиться, но поди попробуй: остается лишь подчиняться и изображать безудержный эротизм, потерявший, впрочем, свою ценность и значение. Любовь из-под палки – еще то удовольствие.

В 70-е годы прошлого века некоторые технари-идеологи из военных ведомств США, занимавшиеся разработкой ARPANET – предшественника нынешнего интернета, провозгласили доктрину начинавшейся цифровой эпохи: мозг человека – это совершенный компьютер. Эта невинная с виду идея была, в общем, логическим следствием развития технологий, но она оказала гигантское влияние на все мироустройство рубежа тысячелетий. Никто не оспаривает права технооптимистов считать нас хитроумными роботами. Все зависит от ракурса: компьютер стали представлять как инструмент человеческого освобождения от «гнета и условностей» прогнившего социального мира. Стив Джобс – тот самый культовый основатель Apple – вошел в историю американской рекламы с роликом «1984», обыгрывавшим антиутопию Джорджа Оруэлла: дескать, с новым компьютером «Макинтош» никакой 1984 год, с его тоталитарной слежкой и контролем за людьми, не сможет состояться. Я даже не буду иронизировать по поводу этой зловещей шутки. Обращу внимание на другое: не компьютер делали совершенным, взяв в качестве идеала человека, а наоборот: людям объясняли, что вычислительная железка и есть островок счастья и культурного идеала, к которому следует стремиться. Компьютеры даже называли «респектабельным наркотиком» XX века – дескать, настолько сильно они якобы отрывали человека от пресной обыденной действительности.

Что в результате? Медленная, неуклонная деградация мозга, общих когнитивных свойств были движением навстречу этому «идеалу», который, в свою очередь, увеличивал скорость вычислений и объем хранимых данных. Очень скоро суперкомпьютер научился обыгрывать чемпиона мира по шахматам, правда, он же готовить яичницу даже на уровне Гарри Каспарова был не в состоянии. Но ликование по поводу скорой победы искусственного интеллекта надо всем, что связано с человеческой иррациональностью (то есть нерасторопностью, аутизмом, аутсайдерством), как всегда, накрывало общественное сознание – всю эту липкую, пластичную субстанцию, поддающуюся любым воздействиям извне. Инфантильная привычка доверять тому, что видишь перед собой крупным планом, детская тяга к обладанию – все то, чему всячески потакали коммуникативные новинки прошедшего столетия, – привели к негласному закону: имеет смысл только что-то, что можно увидеть. Изображение становится меновой монетой, товаром, которым можно расплачиваться на рынке тщеславия. «Синдром Барби», уколы ботокса, надутые губы и силиконовые протезы стали неотъемлемым элементом

«индустрии красоты». В ней, как нигде, ценность бытия была заменена ценностью обладания. Человек сам стал товаром – одним из многочисленных упакованных, разложенных на полках, в более или менее броских обертках (шмотках) элементов современной «гуманитарной индустрии».

Коммуникативные системы, вооруженные искусственным интеллектом, заточенным на то, чтобы находить изъяны в индивидуальном мировосприятии, сделали непреложным закон: самая важная информация – это та, что не требует интеллектуального напряжения, которая движется и мелькает перед тобой, имитируя многообразие жизни. Вы уже обратили внимание: «продвинутые» технологические гиганты перестали сопровождать свои гаджеты многословными инструкциями? Все сводится к элементарным пиктограммам и символам, как будто бессмысленным туземцам белые небожители объясняют назначение «подаренных» им бус. Тиктокеры объясняются друг с другом жестами, не требующими специальных разъяснений. Вот сейчас, когда пишу эти строки, в сети «завирусился» очередной челлендж: смешивают водку с маслом и намазывают этой субстанцией бутерброды. Приколжно же! А значит, ничего больше и не надо.

Мощь и тоталитаризм этой пестрой индустрии информационных развлечений проявляет себя и в новой форме цифрового остракизма. Отключение человека от визуальных каналов превращает его в ничтожество, в букашку, в абсолютный ноль – это более чем ярко продемонстрировала голливудская волна «культуры отмены». Я с тревогой наблюдаю процесс насильственной, целенаправленной атаки технотронной цивилизации на Россию, с ее попыткой превратить нашу культуру и общество в визуальных изгоев. Однозначный визуальный ярлык «вечно агрессивного», нецивилизованного медведя, и эта печать, поставленная на общественном сознании, кажется владельцам ликующего коммуникативного мира тавром, залогом того, что мы никогда не сможем расправить плечи. И здесь – не только конкретные, сиюминутные политические интересы. Ярлык ставится не на нашем социокультурном статусе. Пытаются уничтожить, высмеять, отменить присущую русскому сознанию целостность мировосприятия, глубинное противодействие вот этой фрагментированности, разрозненности, единичности впечатлений, которые составляют суть западного мышления и одновременно приговор ему. Вот с чем идет война на самом деле! Отмене подлежит право на сомнение, на инаковость, на возглас – «Король-то голый!»

Когда Зворыкин изобретал телевидение, он мечтал о съемках обратной стороны Луны, об открытиях в таинственных глубинах Мирового океана. Он вообще был романтиком, готовым пожертвовать жизнью ради идеалов, ради мечты. От него уходила жена в периоды невзгод. Он попадал в передраги с ЧК, совершал путешествия за океан из кокачовской армии и вновь возвращался обратно несмотря ни на какие соблазны остаться в мирной жизни. Он приезжал в Советский Союз, рискуя быть арестованным (его об этом предупреждал Госдеп), чтобы прочитать лекции землякам-инженерам об электронно-развертке. Он был человеком слова, данного самому себе. Может, поэтому так преуспел? Но как только инвесторы превратили его в «отца-основателя» ТВ, вознесли на пьедестал, он сразу ушел в тень, во внутреннюю эмиграцию, повторяя, что самым главным элементом любой телевизионной системы является кнопка «выкл.».

Его полная драматизма и настоящих, невыдуманных приключений жизнь, как мне представляется, очень хорошо иллюстрирует идею «всечеловечности» русского характера, о которой в 1880 году (в самый разгар эпохи технологических изобретений!) говорил Достоевский на открытии памятника Пушкину. Никакому другому национальному сознанию не присуща эта пластичность, эта эмпатийная открытость к чужой культуре, понимание ее как своей собственной, как органичного, неотъемлемого элемента личного мировосприятия. У Набокова, кажется, есть эмигрантское воспоминание-эпизод о том, что русские таксисты в Париже, бывшие в основном эмигрантами-белогвардейцами, устанавливали новые этические правила, когда ни одна случайно оставленная вещь в машине не пропадала, и невзначай утерянные деньги возвращались хозяевам, как бы скудно и трудно ни жил водитель.

В основе национального отношения к миру лежит чувство (его можно по-разному интерпретировать, называть, идентифицировать – любовь, ощущение своего достоинства, вера в добро и Бога и т. д.) – здесь ключевое слово как раз «чувство», а не рациональные доводы, рассудочные построения, которые препарируют событие на ряд компонентов. Человек смотрит глазами, но воспринимает увиденное сердцем. Первую часть процесса гениально смог трансформировать в технологию немецкий студент Пауль Нипков. Но вторую – ту, что не подлежит визуальным спекуляциям, которая всегда в стороне от суетливой мишуры злободневных историй, – никак не в состоянии оценить те, кто пытается наклеить на нас политические ярлыки. Они быстры, прогрессивны, они играют желваками под восторженные взгляды экзальтированных дам, и им, плененным собственным прогрессизмом, русское сознание кажется чем-то глубоко наивным, медлительно-инертным, заведомо аутсайдерским и даже скотски-туповатым. Они нам про постмодерн, а мы им про любовь. Они нам про мультигендерность, а мы опять про то же самое, набившее оскомину, как будто ничего нового и придумать не можем. Они готовят себя – не нас, к тому, что агрессивное животное следует – если не уничтожать, то загонять в гетто, изолировать от «цивилизованного мира». Нагнетая вокруг наших границ истерию войны, они нас самих хотят заставить замкнуться, почувствовать себя в осажденной крепости, задернуть железный занавес в своем сознании по отношению к западному миру. Принести себя в жертву.

Мы им про гуманизм, а они нам – про гедонизм. И хохочут еще, повторая, как мантру, что человека давно уже «отменили», что «субъекта нет», что «объекта нет» и что бытие – лишь иллюзия, которую легко зашифровать в облачные технологии компании Microsoft. И когда мы им, зарвавшимся, начинаем показывать свою силу, они прикрывают глаза наманикюренными пальцами и кричат, что русский медведь проявляет свое нецивилизованное нутро и что его навсегда следует приструнить. Все эти войны, начиная с Наполеона, на самом деле были столкновениями мировоззрений: с одной стороны, Новое время, технологизм и нарастающее модерновое ощущение жизни, а с другой – сконцентрированный в стужке переживаний пафос любви, прощения, надежды сквозь страдания, слезы и непонимание. Мы – вечная боль для Запада, неостывающий упрек в его меркантильности.

Обреченность на непонимание, кстати, в русской душе есть необходимый элемент ее всечеловечности, потому что не может чужое сознание позволить себе принять свое отражение в русском как свое собственное Я, ведь в этом случае ему придется отказаться от этого

вот мельчания, расчленения мира на дискретные фрагменты, на обреченное стремление обнаружить Вселенную в обрывке вчерашней газеты. Это разные миры, несводимые друг к другу измерения – такие же, как царапающее привычный взгляд левостороннее движение в Великобритании или американские дюймы взамен традиционных сантиметров. И да, они искренне считают нас насекомыми, потому что мы не умеем так же эффективно и четко ввергать массы то в восторг, то в ненависть, то в истерику, то в блаженство. В России если любить, то на разрыв аорты, если ненавидеть – то с тем же эффектом. Зачем все это западной цивилизации, с ее уверенностью в неизбежность и четкую прогнозируемость технологического рая, где человек – уже не человек, а киборг, где мозг – и есть продвинутый компьютер, ну а вместо сердца – нет, не «пламенный мотор», а «возобновляемый источник энергии»?

Танго – очень сложный танец, в котором инициатива переходит от мужчины к женщине и обратно. В этом его эротизм, драйв, непредсказуемость, азарт. А если один из партнеров киборг? Кем должен считать себя его визави? Сверхчеловеком? Пассивным ничтожеством? Технологии говорят сегодня с нами от имени западной цивилизации, которая, неловко почесывая бороду и переминаясь на неудобных шпильках, никак не может решить для себя сущность танца – это гендерное проявление (а значит, скрытый деспотизм – они так сейчас понимают отношения полов) или всего лишь игра? Это имитация иллюзии или все-таки реальное действо? Социальные сети все сильнее поддаются воздействию эротических теней искусственного интеллекта, набирая немыслимое количество лайков и фолловеров: откровенные дивы, нарисованные (де)генеративным разумом, могут даже рассылать «нюдсы» за скромное вознаграждение, и эта проституированность технологий все сильнее возвращает нас в порочные и злачные места Буэнос-Айреса начала XX века, в которых якобы родилось танго – танец для осознавшей себя компарситы. Только теперь она, упакованная в сетевые технологии, вновь схлопывается в невыразительную, серо-безликую массу, способную лишь имитировать страсть, неловко похихатывая над неуместностью любых, самых невинных проявлений чувства. Фатальность и ужасная бесперспективность Запада состоит в том, что он перестает быть для нас интересным, поскольку отдал на откуп киборгам свою идентичность: «выбрасывается, как голая проститутка из горящего публичного дома...», внушая самой себе страхи о России. Вот почему им так важно, чтобы мы боялись их, боялись себя.

Вот в чем гениальность Маяковского! Как раз в воплощении, в соединении в себе этих самых разных полюсов. В обыкновенной механике между ними рождалась бы искра, звучали бы взрывы и полыхали короткие замыкания. А в поэтическом русском сознании звучит целостность. Облачные вычислительные технологии, породившие искусственный интеллект и всю эту фатальную античеловечность, у меня ассоциируются со знаменитым «Облаком в штанах». Помните, как оно начинается?

Вашу мысль,
мечтающую на размягченном мозгу,
как выжиревший лакей на засаленной кушетке,
буду дразнить об окровавленный сердца лоскут:
досыта изъиздеваюсь, нахальный и едкий.

Русский коммунизм – это проявление всечеловечности во всей ее полноте и незащищенности. Это умение, органичное и непринужденное, славить партию и одновременно говорить о безысходном одиночестве. «Пропитое лицо Северянина» здесь вовсе не грубое ругательство, а неизменный элемент бытия – взгляд со стороны «единицы» на неуклюжее, недовольное утраченной гармонией «целое». Здесь нет ничего противоестественного, если помнить о любви, о погруженности в чувство, о неподвижном, застылом, удивленно-наивном ощущении счастья от сопереживания с Богом и с другими людьми. Политика не имеет значения. Технологии – тоже. Многие теряет свою грандиозность по сравнению с правдой всечеловечности. ИКЕА может сколько угодно уходить с рынка и потом вновь возвращаться. Мы будем ей рады, будем сожалеть об очередном, неизбежном развороте, но эти движения ровным счетом ничего не изменят в нашем ощущении самих себя, на какой бы неказистой мебели мы при этом ни сидели.

У этого чувства нет визуального образа. Вот у Рильке наоборот:

Господь! Большие города
обречены небесным карам.
Куда бежать перед пожаром?
Разрушенный одним ударом,
исчезнет город навсегда.

Наша эсхатология она – о любви. О граде взыскующем. О надежде. А у технологической эсхатологии выхода нет:

...и умирать подолгу на постели
как в богадельне или как в тюрьме.

– единственная перспектива, очень четкая и безжалостно внятная.

Русский логос и русский этос, кажется, уже просклоняли на все лады, превратив почти что в пародию все то, что скрывается под сердцем. Основы российской государственности стали предметом спекуляций и интерпретационных ухищрений. Все из-за недосказанности, невыраженности русской идеи. Мы привыкли, еще начиная с Петра, смотреть на себя чужими глазами, рефлексировать по поводу своей представленности в чужой культуре. И постоянно сравнивать, сравнивать, еще раз сравнивать с чужими «образцами», находя, конечно, все новые и новые изъяны в себе, чувствуя себя «тяжеловесными» и «неуклюжими».

На границе Нижегородской области и Республики Марий Эл есть село Юрьино, и в нем – замечательный, яркий Шереметевский замок. Он даже с Волги виден, когда плывешь по ней на круизном корабле. Этот замок изнутри напоминает многочисленные европейские дворцы, ну, скажем, мюнхенский Нимфенбург, построенный королем Людвигом – тем самым, что воздвиг памятник самому себе, замок Нойшванштайн в горах (его абрис – на заставке диснеевских фильмов, как образ сказочного строения). Только во всем облике Шереметевского поместья видна какая-то тяжеловесность, приземленность, этакая устойчивая материальность. Это как, к примеру, дулевский фарфор сравнивать с каким-нибудь майсенским: немецкие-то чашки на свет можно разглядывать, видеть их прозрачность, а в Дулеве бросаются в глаза именно толстые стенки – стукнешь по лбу, точно не разобьется. И, конечно, сразу возникает повод позубоскалить: вот, дескать, какая в России культура – массивная.

А я представляю себя на месте Василия Сергеевича Шереметева. Он покупает поместье в глуши, в непроходимых лесах, с мечтой построить там замок. Какая блажь! Если доедете от Юрьева до Йошкар-Олы, увидите там местный кремль – он мне почему-то напоминает прообраз Белогорской крепости в «Капитанской дочке». Какие-то тонкие стены. И пушки, пушки, пушки. В гарнизоне Петруши Гринева мортира была одна, а здесь множество – ошестинившиеся, готовые дать отпор полудиким языческим племенам, не особо преклонявшимся перед «наследием Европы». Культура в России, в отличие от Запада, распространялась, так сказать, почкованием – самоотверженным трудом дворян, которые как могли несли образцы европейского миропонимания, что называется, «в массы», здесь и сейчас, на местах, посаженные царем, не особенно рассчитывая на взаимопонимание с местным окружением. До утонченности ли? До прозрачных ли чашек майсенского фарфора? Эти «очаги» тлели и разгорались каждый по-своему, но все равно их объединяло нечто общее – самоотверженное служение внутри не очень дружелюбного мира и попытка – во что бы то ни стало – наладить диалог с ним. И декабристы в Сибири жили по тем же принципам, воспринимая ссылку как культурную миссию. Тем, собственно, и спасались.

Вот в чем разница, скажем, с идеей американского «фронттира», обозначавшего границу «цивилизации», которую огнем и мечом надо отодвигать все дальше, уничтожая сопротивление индейцев. Их фронтир сегодня – это границы России, столь же неведомой и дикой, как и земли гурунов, потому что мы живем в собственных измерениях, видим мир по-другому. И разве что не носим скальпы у себя на поясе, хотя, кажется, после ухода Гуччи и Прады должны, по их глубокому убеждению, уже щеголять лишь в набедренных повязках. Всечеловечность же позволяла видеть в самых угрюмых проявлениях нецивилизованности отблески разума, и, может быть, именно поэтому Пушкин стал великим поэтом – ведь только в такой среде любая инаковость становилась кирпичиком в общем здании гармоничного, целостного восприятия мира. Запад себе такого позволить не мог: вспомним, что творили англичане в Индии или Китае.

Танго с искусственным интеллектом русскому сознанию не очень интересно. В этом и есть парадокс: целеустремленное нагнетание на Западе истерии по поводу нового промышленного уклада, повторение, как мантр, слов про послушное, малообразованное и пассивное большинство, которое требуется окоротить, поставить в зависимость от умных машин, – все это не очень ложится на наше сознание, в котором всегда есть место для прощения слабых, для того, чтобы протянуть руку помощи, а не добивать упавшего. То есть все дело в «оптике», как говорили некоторые французские постмодернисты, или в этике, ценностях, способах представления себе самому мира, в котором ты живешь.

Конечно, опаздывать нельзя. Кажется, уже совсем скоро можно будет представить себе ситуацию, когда, к примеру, два боксера на ринге, прежде чем сойтись в кровавом мордобое, будут пускать на «препати» искусственные интеллекты, которые, быстро обменявшись информацией с данными о состоянии бойцов, заранее объявят о победе, которую одержит наиболее подготовленный из них. Никаких синяков, никакого пота и бесконечных раундов. Безрисковость и стерильная безошибочность – это ведь идеал западной цивилизации!

Право на ошибку, право на риск, казалось бы, на корню уничтоженные за прошедшее столетие в современном миропонимании, оказываются

похожими на те самые па, которые совершали истосковавшиеся по теплу представители аргентинского плебса, выражавшие тем самым протест, неповиновение, надежду, ярость, любовь. Изъясн технотронного мозга, прямолинейного взгляда из точки А в точку Б – это невозможность взглянуть на мир, на проблему с другого ракурса, отрицание самого факта существования альтернатив. Искусственный интеллект постоянно наступает на ноги своему партнеру – то ли оттого, что у него шестой палец еще совсем недавно удалили из пятерни (и из стопы, я надеюсь), то ли оттого, что механический танец – это все-таки топтание на месте, а не выражение чувств. Опаздывать нельзя, но и нельзя превращать гонку с искусственным интеллектом в самоцель. Скорее, в игру, в тонкое, самурайское любование прихотливостью и изломом линий человеческой красоты на фоне лязгающего, пестрящего насилием и ужасами измельчавшего мира.

Самый главный приз технологий в борьбе с человеком – это наше сознание, его окончательное и тотальное порабощение. Казалось бы, еще чуть-чуть, и оно полностью превратится в компьютерную программу, в «софт», который можно будет выгружать «на внешние носители». 100 следов, оставленных тобой в интернете (заходов на сайты, лайков под постами, задержке внимания на тех или иных сообщениях), уже достаточно для того, чтобы сделать самый тщательный, наиболее глубокий психологический портрет, который невозможно создать традиционными методиками – изошренными тестированиями и интервью. Но мы никогда не были так свободны, как сегодня, – ведь цифровые интеллектуальные системы наивно полагают, что знают о нас все.

Одной из важнейших границ между искусственным интеллектом и человеком является не скорость мышления, как нам всячески пытаются показать, а граница между правдой и вымыслом, между иллюзией и человеческой, невыдуманной реальностью. Лукавство робота состоит в том, что любую химеру он может представить как абсолютную реальность, аргументируя, нажимая именно на те струны, которые позволят человеку поверить в выдумку. Это означает, что тотальная погруженность в логику ИИ играет с теми, кто подверг себя этому испытанию, злую шутку: верить машине – значит, обманывать самого себя. «Ах, обмануть меня нетрудно...» Но проблема состоит в том, что ИИ сегодня пытается копировать внешние стороны человеческого поведения, явные, заметные проявления его мысли. И – деградирует вместе с теми, кто полностью ему доверяет.

Стремительный, ускоряющийся бег Нового времени начался с того, чтобы облегчить человеку, в его антропологической, телесной оболочке, отношения с окружающим – грозным, непонятным, враждебным, суровым – внешним миром. И сегодня тело, опираясь на электронные костыли и «умные» экзоскелеты, превратилось в пассивное, разлагающееся от своей неподвижности нечто, а кибергуманизм, победив человека в его биологическом статусе, принял за его сознание – за его иллюзии об «образе и подобии Бога». Сознание тоже предлагается понимать как беспомощное существо, которому «трудно совладать» с гигантскими объемами информации, а потому его нужно снабжать «мыслительными механизмами». Ну, словно тех же пионеров-первопроходцев в Северной Америке, «удачно» использовавших ружья и пушки против томагавков. Эсхатологические прогнозы по поводу искусственного интеллекта, собственно, опираются как раз на недоверие человека к себе самому, на представление о беспомощности,

о заведомой ничтожности, грубости, лености «мыслящего червя». А ведь всего лишь надо поменять «оптику»: многочисленные способы оценки мыслей через внешние проявления могут помочь индивиду обнаруживать леность, браваду, скупость, жестокость, ненависть, зависть – там, где они еще только-только дали ростки в душе, еще не проявили себя во всем махровом цвете, и, соответственно, побороть их, сделаться лучше. Другими словами, компьютер может помочь человеку стать образом и подобием Божиим, а не деградировать до уровня мыслящего железа.

Как, каким образом? Да вот, хоть через игру. Все эти западные теории (Хейзинга, Берна) воспринимали игру лишь как несерьезную форму культуры. А ведь на деле человек за тысячелетия выработал с ее помощью приемлемый способ узнавать о границах – между добром и злом, между правдой и вымыслом, между честью и бесчестьем и т. д. Игра позволяла видеть то, что спрятано в повседневности под мишурой косноязычных лозунгов и лукавых сентенций. И чем больше болтовни, мелочного, тщательного копания и препарирования деталей, тем больше соблазн уйти в игру, где все ясно и прозрачно. Вот почему так привлекательны новые многопользовательские геймы для молодых людей: современная компарса стремится к правде, прячась от прессинга скучных и устарелых «общественных технологий», пытаясь сохранить остатки личной уникальности, подчиняясь суровым требованиям социума.

...Написал эти строки и понял... что мы победим. Всечеловечность – это еще и мистическое умение собирать разбросанные там и сям смыслы в единый образ. Сам факт его собирания говорит об идеалах, об их присутствии в нашей жизни несмотря ни на какой прагматизм и ужимки искусственного интеллекта. Оптинские старцы завещали нам «молиться, верить, терпеть, прощать и любить». Каждое по отдельности это действие, может быть, и будет когда-то симитировано искусственным интеллектом. Но вот так, чтобы все вместе, через боль и надежду, – вряд ли. А потому – пусть витийствуют, пусть сочиняют новые пугалки. Пусть! Мир, удивительно хрупкий и фиалково-нежный, по-прежнему наш. Потому что умеет скрежетать зубами и отвечать, да так, что оголтелой Моське на шпильках и с бакенбардами мало не казалось. Любовь масштабнее самых причудливых гендерных инноваций.

Олег НЕХАЕВ

Родился в 1955 году в городе Снежное Донецкой области. Журналист, литератор. Возглавлял несколько телекомпаний, работал в «Российской газете», в журнале «Русский репортер», в настоящее время редактор интернет-портала «Сибирика».

Удостоен высшей награды Союза журналистов РФ «Честь. Достоинство. Профессионализм» и премии «Золотое перо России». Роман «Забери меня в рай» вошёл в длинный список Международной премии интеллектуальной литературы им. Александра Зиновьева. Лауреат конкурса «Русский Гофман» (очерк о Н. Гоголе).

Живет в Зеленогорске, Красноярский край.

ПОДЛЕЦЫ ТАКИХ НЕ ПЕРЕНОСЯТ

Из книги «Астафьев», которая готовится к печати издательством «Молодая гвардия» в серии ЖЗЛ

Иркутск, 2003 год

К этому времени в живых в Сибири из писателей-классиков остался только Валентин Распутин. Но его голос почти не был слышен. Я приехал в город, где он жил, чтобы встретиться с ним. Узнать о причинах его своеобразного затворничества. Ведь после появления повести «Пожар» в последующие 17 лет он напомнил о своём существовании всего лишь несколькими рассказами.

Но было ещё и другое. Более важное...

Не давал покоя разговор в больнице с Виктором Петровичем Астафьевым. Он уже чувствовал, что жить ему осталось совсем немного. «Болезненных» тем я с ним старался не затрагивать. Тем более не касался его разлада с Распутиным. Два величайших художника после многих лет душевного единения стали как враги. Различия в общественных позициях образовали в их отношениях непреодолимую пропасть.

Для Астафьева это было наболевшим. Он сам мне поведал о том, что читает Распутина. Скажет: «Мог бы Валя и приехать...» Распутин не приехал. Астафьева вскоре не стало.

Иркутская встреча мне нужна была в первую очередь, чтобы рассказать об этом астафьевском откровении... Как камень с души снять.

Позвонил ему. Попросил выделить время для общения.

— О чём разговаривать?! Зачем?! Кому это сейчас нужно! — категорично звучал из телефонной трубки голос Распутина. — Я больше двад-

цати лет занимался публицистикой. Сколько сил потратил на защиту Байкала! Ничего не изменилось. И вообще мне некогда. Послезавтра уезжаю на родину.

С большим трудом, но мы всё же договорились встретиться на следующий день, правда, с его неперменным условием: «Не больше пятнадцати минут на весь разговор».

Нежданно выпавшее свободное время я потратил на прогулки по старому Иркутску и беседы с горожанами о Распутине. Из двадцати человек 14 знали, о ком идёт речь. Больше того – ни от одного из них я не услышал дурного слова о Распутине. Не помогло и обострение разговоров, напоминанием о его участии в политике. В ответ звучало: «А какое он имеет к этому отношение!» Все просто гордились знаменитым земляком, правда, совсем не зная, чем он сейчас занимается и почему даже в родном Иркутске его появление на людях стало большой редкостью.

Своеобразную черту под нашими разговорами подвёл свободный художник Александр Чегодаев. Посетовав на давний отказ Распутина в позировании для портрета, он уверенно заявил: «Даже если он больше ничего не напишет, всё равно войдёт в историю как величайший писатель. Его “Прощание с Матёрой”, “Последний срок”, “Живи и помни” будут читать долго».

Я понял, что те, отведённые для беседы, нищенские четверть часа мало что дадут в постижении Распутина. Нужно ехать с ним на родину, в далёкий Усть-Удинский район, откуда он пошёл во взрослую жизнь.

Хотелось понять, как этот мальчишка из голытьбы, знавший «яблоки только по картинкам», а далёкий город по случайным рассказам, – выбился, как говорили раньше, в люди.

Он был из такой глубинки, что стал первым в своей Аталанке, кто поехал в райцентр за... средним образованием. И пока он страстно постигал учёбу, помогавшая ему мать сгорбилась от таскания воды в казённую баню.

Ему с самого начала было больше уготовано потеряться в той жизни. И никто бы за это не осудил.

Всё это выглядело хорошей прелюдией, но известный иркутский журналист на корню убил все мои надежды, сообщив категоричное: «Он уже лет шестнадцать никого из чужих с собой в такие поездки не берёт. Сколько ни пытались поехать с ним корреспонденты, бесполезно! Так что даже и не надейся. Возьмёт, как всегда, Костю, он у него как друг-биограф, и Машу-телевизионщицу. Всё! Остальным дорога заказана».

К самому себе

Распутин принял меня недоверчиво. Для коренных ангарцев это характерно. Сначала прощупают твои намерения, а потом или найдут мягкий предлог указать на дверь, или одарят хлебосольным гостеприимством. Уж это я хорошо знал. Несколько лет проработал собкором по региону строительства Богучанской ГЭС, которая строилась тогда в срединной части Ангары. Да ещё и фильм сделал об ангарцах и их уникальном ангарском говоре.

...Беседуем с Распутиным о Сибири. Говорим натужно, а между нами незримо сидит настороженная птица общения. Чувствуется: одно неверное слово, словно хруст ветки под ногой, и она стремглав бросится

в небесную синь открытого окна. Ни диктофон, ни блокнот я так и не решаюсь достать.

Разговор наш происходил в местной писательской организации. Распутин вдруг поднялся и, прощаясь со мной, кому-то невидимому сказал в глубь комнаты, что его долго не будет.

Пугаясь, что упускаю последнюю возможность, чуть было не спрашиваю его об отношениях с Астафьевым. Спыхватываюсь и тараторю, как пулемёт, вслед ему, уходящему. Говорю, что весной, как Робинзон, забытый загулявшим егерем, жил один и голодал три недели на маленьком острове Ушканьего архипелага посреди Байкала. А потом – это я ему уже рассказываю, спускаясь с ним по лестнице, – обошёл и весь удивительный Большой остров. Сделал это специально, чтобы сравнить его впечатления и свои. Распутину тоже однажды пришлось пожить на этом острове.

Он недоверчиво смотрит на меня, останавливается и спрашивает: «Там же в одном месте трудно по берегу пройти?»

И, радостно соглашаясь с ним, рассказываю и про это место, и про бутылкообразные листовницы, и белоснежные мраморные скальные выступы, и чёрные наплывы застывшей магмы, миллион лет назад остуженные ледяной байкальской водой. И о многом другом, что видели совсем немногие. Обычные туристы туда никогда не добираются.

И Распутин мне тоже рассказывает о своих байкальских открытиях. А дальше мы начинаем делиться обоюдными впечатлениями о бывшей сибирской столице чая – Кяхте. Свои размышления о ней он описал в книге «Сибирь, Сибирь...».

Потом мы будем ещё шагать по улице и говорить, говорить... Наконец, душевные камертончики сверены.

Утром едем в его родную Усть-Уду.

Запись в блокноте:

Полишестого утра. Я, как перст, стою возле театра уже минут двадцать. Через пустынный проспект идёт человек. В руках тяжёлые пакеты. Только потом понимаю, что это Распутин несёт увесистые книги. Свою ношу, как крест, тащит сам. Дальше тоже он никому не будет позволять, даже близкому окружению, подыгрывать его известности. В подъезжающем автобусике сидят оговорённые сопровождающие и маленький фольклорный ансамблик. Это областной отдел культуры отправляет в отдалённый район «культурный десант».

Ломая себя

Не зная, как сложатся наши отношения дальше, прагматично решаю, что вначале, для оправдания командировки, нужно поговорить об обычном, а потом уже рискнуть спросить Распутина о главном. Благо сидим с ним в автобусе рядышком. А ехать до райцентра часов шесть.

– Валентин Григорьевич, у меня такое чувство, что сейчас вы, как Игренья из вашего «Последнего срока», выезжаете на характере?

– Может быть. Сомнения, по правде говоря, меня посещают часто. Уныние тоже случается. Иногда и безнадежность полная бывает. Но нельзя... Нельзя этому поддаваться. И главное – нельзя своё мрачное настроение высказывать публично. Это же сказывается на других.

– Тяжело вам было пробиваться к признанию из своей родной Аталанки?

– А у меня всё как-то само собой получалось. Школа. Университет. Ещё до его окончания начал работать в иркутской молодёжной газете, где была по-настоящему творческая обстановка. Из одиннадцати журналистов – семь членов Союза писателей. Все писали рассказы, и я писал. Потом – молодёжка в Красноярске...

– Вы начинаете мне рассказывать биографию...

– А что вы хотите услышать?! – он резко и удивлённо на меня посмотрел и тут же спокойно продолжил: – Ну да, была у меня ломка. После деревни работа в газетах потребовала нивелировки языка. И мне приходилось поддаваться на это. Ломать себя. Но очень скоро я опаматовался и понял, что это не моё. И как только я вернулся к родному языку – мне стало гораздо легче...

До таёжной Усть-Уды мы добрались часов за пять. Именно здесь он оканчивал школу. Об этом периоде у него есть почти документальный рассказ «Уроки французского», по которому был снят хороший одноимённый фильм. Распутин шутит по этому поводу: «Теперь, когда мне хотят сделать приятное, говорят: читали-читали ваши “Уроки...” – и начинают сообщать киношные подробности, которых нет в рассказе».

Поразительно, но его бывшая учительница французского волей судьбы оказалась во Франции. Случайно зашла в парижский книжный магазин, увидела на обложке «В. Распутин», открыла книгу ради любопытства и тут же прочитала её на одном дыхании. Спустя десятилетия они встретились в Москве воочию. Вновь увидели друг друга ученик и учительница, которая помогла ему, когда он голодал. Правда, переступая при этом этические нормы. Её уволят. (Но только в книге. На самом деле после замужества она просто-напросто уедет из Усть-Уды.) А потом тот литературный мальчишка-школяр получит от неизвестного отправителя целую посылку книжных макарон и три яблока. Жизнь же оказалась значительно прозаичнее...

В родную школу Распутин не заглядывал почти 50 лет. Когда зашёл... Память тут же подсказала, казалось бы, совсем забытое... Сохранились даже истёртые временем деревянные ступеньки. Вот только большинство из тех, с кем он когда-то по ним поднимался, – ушли из жизни. И он потом с горечью скажет уже многократно проговорённое: «Странно: почему мы так же, как и перед родителями, всякий раз чувствуем вину перед учителями? И не за то вовсе, что было в школе, нет, а за то, что случилось с нами после».

«После» все деревни по Верхней Ангаре спешно переселили. Людей посрывали с мест. Их родные земли оказались на дне искусственного моря. Братская ГЭС тогда гремела на всю страну. Слезы и боль ангарцев были заглушены грохотом турбин. А Валентин Распутин возвращался в свою новую Аталанку, перенесённую на возвышенный берег нового «моря».

Он всё хорошо помнил. Как пароход «Фридрих Энгельс» подходил к берегу буквально по лесу, раздвигая кроны деревьев. Их ведь не вырубали, так и оставив на дне. Всё делали в спешке. Даже кладбища не перенесли. О живых тоже вспомнили в самую последнюю очередь. А затоплено было больше ста обезлюдевших сёл и посёлков.

Несколько десятилетий прошло с тех пор, как надругались над красавицей Ангарой. Но разумности прошедшие годы не прибавили. В «море» – заражённая рыба. Вода смешана с вредными сбросами.

Кое-где появились даже «ртутные» отмели с опасного химзавода. А на дне до сих пор продолжали стоять окаменевшие лиственницы, как кресты над исковерканными судьбами людей. По словам Распутина: «Многие переселённые деревни погублены. Люди спиваются. Рожают уродов. В школе моей Аталанки таких детей уже чуть ли не третья часть».

После встречи с родной землёй Валентина Григорьевича больше не надо было уговаривать высказаться. Первое же выступление в клубе, и сразу – душевное единение с пришедшими:

– Я всё время спрашиваю себя: что же так тянет сюда? Ведь никогда здесь, на Ангаре, не было лёгкой жизни. Всегда было трудно. А после перестройки она стала совсем гнетущей. То есть физически жизнь, может, раньше была и хуже, но нравственно, духовно... Такое ощущение, что украли у нас за прошедшие годы Россию.

Приезжаешь в свою Аталанку... Последний раз там был в сентябре. Грязища – непролазная. А я в ботиночках заявился. Да в них пройти там нельзя. Какой там коммунизм, как обещали раньше! Какой там капитализм с его благами, как обещают сегодня. Просто пройти по улице нельзя из конца в конец. Какое там светлое будущее! Надолбы вот такие стоят. На брюхо ляжешь, перевалишься на другую сторону и дальше пошёл. Лесовозы всё разбивают. Деревянные тротуары ломают. Неухоженность страшная. Я там поживу и уезжаю на иркутский асфальт. Потом – на московский. Уж в столице совсем хорошо. Строят красиво сейчас. Лицо, правда, своё Москва потеряла, но зато европейский облик обрела. Тротуары с мылом кое-где даже моют. А что ж меня всё тянет в Аталанку? Да потому что родное там. Родина потому что. И без этого как-то и не живётся мне. Но это только с возрастом начинаешь остро чувствовать.

В этот момент я поднялся, осторожно подошёл поближе к сцене и, фотографируя, стал наблюдать за лицами пришедших на встречу людей. Они смотрели на него не шелохнувшись. Так родня встречает дорогого и долгожданного человека. Если бы Распутин просто стоял и молчал, они бы и это восприняли, наверное, с радостью. Уж с такой любовью они смотрели на него... А их самый знаменитый земляк говорил с ними просто, тихо и очень проникновенно. Будто советуясь с ними: правильно ли он жил, когда был в отъезде? И они его слушали. А он, как-то даже стесняясь такого особенного к нему внимания, продолжал неспешно рассказывать:

– Я повидал мир. Поездил, может, даже с избытком. Было что посмотреть, было чему удивляться... Но только здесь ближе всего находишься к самому себе, к своей сути. И человек остаётся человеком только тогда, когда он сохраняет связи со своей землёй. Когда помнит о ней. Он может уехать куда-то, работать далеко, потому что не всегда находится дело по способностям на родной земле. Но если он о ней забывает – это гибель. Человек перерождается. Происходит его мутация. Он может состояться профессионально. Но если он порывает со своими корнями – он порывает и со своим родительством...

Запись в блокноте:

Перед поездкой в Усть-Уду отмечал командировку в иркутской администрации, и высокопоставленный чиновник из отдела культуры предупредил меня: «Только не вздумайте с ним завести разговор об Астафьеве. Он сразу прервёт общение. Об этом уже все знают».

«И жив этот народ»

Повод поговорить об отношениях двух писателей усть-удинские встречи дали почти сразу. Распутин рассказывал во многом о том, что волновало и Астафьева. Их впечатления иногда были так близки, что зачастую звучали по своей сути в одной тональности.

Уж не помню, в каком посёлке он рассказал о своей зарубежной поездке: «Я дважды был в Америке. Прожил там около двух месяцев. Слава богу, насмотрелся. Совсем другой народ. Только я не хочу сказать, что мы лучше. Во многих отношениях – хуже. Но мы остаёмся больше людьми. Мы ещё умеем плакать по-настоящему и любить по-настоящему, без выгоды и расчёта. И такими нам лучше и оставаться всегда. Мы должны начать возвращаться к России».

И именно об этом также, после посещения Америки, говорил и Виктор Астафьев. Они оба были честны и не уподоблялись типажам советской пропаганды о «загнивающем империализме». Напрочь в них отсутствовал и квасной патриотизм. Они оставались похожими друг на друга, даже когда находились по разные стороны. Даже когда дошли до такого разлада, что делали всё, чтобы даже случайно не пересечься на каком-нибудь мероприятии.

Почитатели творчества Распутина во время одного из моих общений с ними категорично не согласились с вышеприведённым выводом. Они напрочь отмежёвывали своего кумира от Астафьева. Тогда я достал блокнот и зачитал цитаты. Тут же попросив определить распутинское или астафьевское авторство. Их вывод был однозначным и неверным.

Валентин Распутин как человек, по сравнению с Виктором Астафьевым, никогда не был распахнутым миру. Это – абсолютная правда. Почти всегда молчаливый, закрытый в своих чувствах. Скромный в публичных проявлениях. Деликатный и великодушный. Но в нём скрывался и осмысленный омут. В нём была и потаённая бездна.

Для многих и многих оказались неожиданными цитаты из его личной переписки: «Про народ наш уж и говорить нечего. Неизвестно, что теперь и народом называть». И вот ещё: «Я подумываю, не уехать ли с родины... тяжело стало и жить, и работать... Говори о чём угодно и лучше всего о мировых проблемах и гармониях, но не о своих маленьких делах: мы хоть и в грязи, в дерьме купаемся, но это наше родное дерьмо, и нам в нём приятно».

И дальше: «В прошлом году сделали мы глупость, переехали на другую квартиру... и не подумали о том, что кругом будут жить коммунальщики, которых в каждой квартире как сельдей в бочке. И когда я переехал в отдельную, я стал для них буржуем, и всю злость на нынешние порядки, не разобрав, они стали вымещать на мне. А тут ещё дверь мою при ремонте кожей обтянули – это уж верх всего. И началось – то навалит перед дверью, то какую-нибудь гадость подсунут. Пакость мелкая, но неприятная, и терпением побороть её до сих пор не удаётся».

В нём всегда была какая-то удивительная пронзительная выделенность. И через его глаза можно было заглядывать в его душу.

Дважды, в Красноярске и Иркутске, когда он возвращался вечером домой, его жесточайше избивали какие-то отморозки. Каждый раз били скопом. Одного. Увечили так, что врачи опасались за восстановление зрения, а в последнем случае, когда проломили голову, беспокоились уже за его возвращение к привычной работоспособности. Подлецы таких честных и светлых не переносят.

Встречаясь с ангарцами, Распутин никогда не затрагивал на своих примерах тему людской жестокости. Оставшись наедине, спрашиваю его:

– Валентин Григорьевич, когда вы говорите о народе – всё время обобщаете. Когда говорите с народом – словно его жалеете. Даже своим землякам не сказали ни одного резкого слова. А ведь есть за что...

– Тут нужно отделять одно от другого. Только в советской энциклопедии легкомысленно называли народом всё население страны. А на самом деле – это российская коренная порода нации, трудящаяся, говорящая на родном языке и сохранившая свою самобытность. И жив этот народ. И его долготерпение не надо принимать за его отсутствие. В нём вся наша мудрость. И народ не хочет больше ошибаться. Бойтся порывов, чтобы не дойти до самоистребления.

Можно гневаться, что в деревнях сегодня спиваются. Что людям нечем заняться. Что они теряют себя. Есть о чём говорить... Но сам народ ругать нельзя. Это всё равно что мать. Только устал он уже от всех этих мытарств.

– Кто-то из учителей вас спросил: почему нас так не любит Москва? И вы ответили...

– Да, не любит. Хотя в отдельные периоды её поддержку мы чувствовали. Сегодня федеральная власть старается забирать слишком много. Забывая отдавать. Вот в Усть-Уде опять большая задолженность по зарплате. А Москва будто бы этого не видит. Сегодня государство волнует прежде всего собственное самоутверждение. Народ в глубинке брошен. К нему ведь никто и не обращается. Власти разговаривают сами с собой. А когда с нашим народом по-человечески – он творит такие чудеса, что другим и не снились. Только вот никак не дожждётся он, чтобы с ним по-человечески...

Запись в блокноте:

Разговариваем вместе с Распутиным с главой района Владимиром Денисовым. Он сетует, что весь бюджет расходуется на выплату той самой зарплаты, которую всё время задерживают. На развитие ничего не выделяется. Не жизнь, а выживание. Лесозаготовительные предприятия с трудом находят рабочих среди местного населения. 70–80 процентов трудоспособных – уже не работники. Водка сгубила. Работают до первой полочки и потом в запой. Вот и получается по Распутину, что настоящего народа в Усть-Удинском районе в лучшем случае – только треть. Сам он этого не говорил. Но вывод из его рассуждений напрашивался очевидный.

Штрих к портрету

Как называлось то помещение, где нас поселили вечером, не помню. Может, это было какое-то общежитие? Но мы все должны были располагаться в одной большой комнате со множеством кроватей.

Зашёл Распутин и тут же спросил: «Я вот здесь примощусь, если не занято?» По-моему, его с трудом, но всё же уговорили перебраться в более комфортные условия. Но штрих к его портрету вышел примечательным.

Увидев через окно, что он стал спускаться вниз к ангарскому берегу, хватаю фотокамеру и бегом за ним.

Распутин стоял на пустынном мысочке. А перед ним – огромное пространство серой воды, с нависающей над ним чёрной тучей. Кадр-символ. Кадр-находка. Во мне всё трепетало от восхищения. Он обернулся на моё громкое прерывистое дыхание и, увидев, что я ловлю его в видоискатель, тихо сказал: «Не надо. Давайте просто постоим и помолчим».

И мы стояли. Сбоку валялись остатки ржавого катера. С воды тянуло порывистым ветром.

Молчали.

Тот упущенный кадр я помню до сих пор. Но в памяти сохранилось и сказанное затем Распутиным:

– Когда-то именно через эти места везли на дощанике в сибирскую ссылку протопопа Аввакума, – он задумался, а потом, лишь на мгновение скрестив на груди руки, продолжил: – Если бы колесо истории повернулось к тому времени, я бы скорее всего оказался среди раскольников. Наверняка бы был среди этих русских бунтарей! – и пояснил: – Те люди были настоящей крепости. Это мы сейчас стали слабаками и живём будто в торгашеской лавке.

Сверху заполошно замахал руками его негласный биограф Костя Житов. Пришла машина. Едем смотреть строящийся храм. Распутин отдал на него все деньги от недавно вручённой ему литературной премии. На месте выясняется, что их хватило только на фундамент.

Под начавшийся дождь, Распутин стал рассказывать, что церковь будет деревянная. Красивая. С золотистыми луковками-куполами.

– И в Овсянке тоже вся из дерева построена, – как-то само собой вырвалось у меня. – Когда её освящали, Виктор Петрович сказал, что многие люди не понимают, для чего это всё нужно. И сам же пояснил: когда душа у людей порушена, то с восстановлением храма и она тоже начинает возрождаться...

Распутин молча выслушал меня. Никак не выразив своё согласие или несогласие со сказанным. Постоял. И пошёл один на кладбище, где у него был кто-то похоронен из родни.

Запись в блокноте:

За книгу-альбом «Сибирь, Сибирь...» Валентин Распутин был удостоен Премии правительства России. Так оценили мастерство его текстов. А автор фотографий, которые сопровождали очерки, Борис Дмитриев, не получил ничего. Вот из-за этого он и начал гневно протестовать, грозя судебными исками организаторам. Распутин, не имея никакого отношения к этой скандальной ситуации, предложил ему взять половину его премии. И тот взял – полмиллиона рублей. А потом ещё и засудил тех, кто попытался его устыдить. Кстати, упомянутые премиальные как раз и предназначались тогда Распутиным на возведение церкви в Усть-Уде. А фотографу он ещё не один месяц выплачивал свой «долг»...

«Как душу держать»

Однажды в Болдине я целую неделю общался с американцем Джулианом Лоуэнфельдом. По профессии он юрист. Изучая русский язык, пришёл к Пушкину. Стал переводить его произведения на английский. А красота и сердечность пушкинских строк привели его к Богу. И он принял православие.

Какой же силой должно обладать русское слово в писательской огранке, чтобы совершать такое чудодействие!

Переводчица из Японии Харуко Ясуоко взялась переводить распутинскую повесть «Живи и помни». И уже хотела бросить всё, столкнувшись с языковыми трудностями, но её не отпускала судьба героини-праведницы Настёны. И она вновь продолжила перевод. Содержание так её захватило, что она на неделю приехала в Сибирь. А с выходом книги в Токио крестилась в православие с именем Анастасия. Распутинское слово также привело её к удивительному преображению. Как напишет в своём дневнике Валентин Курбатов, она «знала теперь, как и за кого жить и как душу держать».

Только упомянутая повесть вовсе не радостна. Волнующая и тягостная. Во время войны муж Настёны Андрей Гуськов становится дезертиром. Пробравшись в Приангарье, скрывается в тайге возле родной деревни. Вскоре селяне замечают, что Настёна забрюхатела. Так обернулись для неё тайные встречи с мужем. Тот опускается в своём падении всё ниже и ниже, и тянет за собой любящую его жену – верную ему и падшую в людском восприятии. Её преданность превращается в гибельную безысходность. По собственной воле она уходит из жизни и исчезает в ангарской пучине. А с ней гибнет и её долгожданный ребёнок. А с ним для предателя Гуськова обрывается и единственная связующая духовная ниточка с будущим. Он так и не сподобился на человеческий поступок, который мог бы спасти всех. Прежде всего – себя.

Страшная повесть. Очень значительная для литературы тех лет. Знаменательная как явление. Только где в ней социалистический реализм? Он даже рядом нигде там не прохаживался. Конечно, можно допустить, что цензоры увлеклись талантливым содержанием и просмотрели для себя важное. Такое случалось и во времена Пушкина. Но Комиссия по присуждению Государственных премий СССР в 1977 году тоже оказалась заворожённой.

В этом же ряду и астафьевское восклицание в письме Курбатову: «Валя Распутин написал что-то совершенно не поддающееся моему разуму, что-то потрясающее по мастерству, проникновению в душу человека, по языку и той огромной задаче, которую он взвалил на себя и на своих героев повести “Живи и помни”». И вот что страшно: привыкшее к упрощению, к отдельному восприятию жизни и литературы и приучившее к этому общество, неустойчивое, склизкое... оно, это общество, вместе со своими “мыслителями” не готово к такого рода литературе. Война – понятно; победили – ясно; хорошие и плохие люди были – определённо; хороших больше, чем плохих, – неоспоримо; но вот наступила пора, и она не могла не наступить – как победили? Чего стоила нам эта победа? Что сделала она с людьми?»

Астафьев уже тогда обращает внимание на то, что иногда обстоятельства уродуют человека и нет ему никакого снисхождения от государства. А прояви вовремя хоть чуточку к нему милосердия, и, глядишь, и не пошла бы его жизнь под откос.

А самому Распутину он пишет:

«Очень ты хорошо написал повесть, Валя! Очень! Я такой образцовой, такой плотной и глубоко национальной прозы давно не читал в нашей современной литературе. Да и есть ли она?»

А вот дальше проявляется его удивление уже другого рода:

«Но концовка... и в самом деле скомкана, в сравнении с остальным обстоятельным текстом. Да и сам знаешь, Валя, что-то есть в ней от

лукавого. Ты сам и виноват. Нигде не допустил сбою, везде был предельно точен и искренен. И вот... Ты знаешь, как запутано всё было в ту пору? Народ ехал куда попало, убегал от баб, а бабы от мужиков. Твоей Настёне с ребёнком, да и вместе с мужем затеряться было в любом леспромхозе – тьфу! – раз плюнуть. Туда брали кого попало и как попало.

Нравственное что-то, совесть, растерянность, неумение сдвинуться с места не позволили? Но Настёна вон какую изворотливость проявляла до этого! Что-то тут надо доделывать, Валя. Что-то додумывать и придумывать, чтоб конец повести (романа!) был на уровне всей остальной вещи. Один въедливый читатель написал мне, что да, повесть Распутина – это отдельно от всей литературы стоящая вещь и долго ей жить, но всё-таки Распутин окончил трагедию там, где у Достоевского она только начиналась...»

И подобные советы Распутину звучали ещё не раз от других литераторов. Здесь надо заметить, что Виктор Астафьев по писательской молодости не устоял однажды под напором пермской редакторши и «оживил» своего героя. А вот Распутин не поддался, выдюжил. После журнальной публикации книга вышла с тем же безнадёжным окончанием. Пытаясь отбелить его, некоторые критики писали, что таким образом Настёна не захотела идти против мнения народа. И даже этот «спасительный» вывод тоже тогда отдавал новизной затронутых взаимоотношений: человек и народ.

Однажды судьба свела меня в прибайкальском селе с художником, у которого не раз бывал в гостях Валентин Распутин. Даже пару раз он купил у него картины. И всё было хорошо. Но потом этот художник прочитал распутинское «Живи и помни». И когда Валентин Григорьевич в следующий раз заглянул к нему, тот ему откровенно рассказал, что в начале войны тоже дезертировал. Смалодушничал. И за это отсидел десять лет. А потом ещё несколько лет отбывал сибирскую ссылку. И показал ему автопортрет из лагерного периода. Реакция Распутина, была, по его словам, негодующей, яростной. Он обозвал его предателем, бросил на стол только что купленную у него картину и больше никогда у него не появлялся. И руки при встрече не подавал.

– Я для чего ему это всё хотел рассказать... – озлобленно пояснил мне художник. – Для того, что сошёлся я тогда с женщиной. И живу с ней до сих пор. И она всё поняла. А он даже не дослушал меня...

Распутин в «Живи и помни» осуждающе написал о дезертире: «На войне человек не волен распоряжаться собой, а он распорядился». За это в повести писатель «расправился» с ним жесточайше, обездушив. Но и в реальной жизни упомянутого художника с отголоском похожей судьбы он тоже не пожалел. Хотя, исходя из высказывания Распутина, можно было ожидать иного: «Для писателя нет и не может быть чело- века конченного. Да, я уверенно говорю: мы должны судить или оправдывать. Или – или... но не забывая судить, а потом оправдывать: то есть старайся понять, постичь душу человеческую. Пока жив человек, каким бы плохим ни был он, есть надежда, что точка ещё в его судьбе не поставлена»*.

Бывает, что воспринятые убеждения начинают настолько довлеть над человеком, что выдавливают из него его самого. Так кукушонок,

* Интервью с Валентином Распутиным // Комсомольская правда, 1982, 8 августа.

подложенный в чужое гнездо, постепенно выбрасывает всех прежних его обитателей. И незамеченная подмена признаётся зачастую истиной даже теми, кто был порождён ею.

Известный критик Лев Аннинский по просьбе издателя Геннадия Сапронова написал предисловие к книге «Твердь и посох» (переписка Виктора Астафьева с Александром Макаровым). И в нём вдруг взял и поделился опытом опубликования своих статей в советское время: «Чтобы прошла искренняя, независимая, вольная нота, – редактору и цензору надо “выдать должное”... Спасительные фигуры известны. То глазки отведёшь на коммунистический “призрак”, то плечико полубожишь: в случае чего, мол, подставлю.

Значит ли это, что тут ложь во спасение? Вовсе нет! Я действительно изначально верю в коммунизм, я в случае чего действительно готов подставить плечо, если стране будет туго. То есть я не кривлю душой. Но я вовсе не хочу на каждом шагу перед каждым охломоном выставлять свои убеждения, мне их выставлять – унижительно, и я, конечно, обошёлся бы без ритуальных поклонов, если бы не редакторский прессинг, знакомый каждому, кто печатался при советской власти».

Строки из предисловия, приведённые выше, были написаны и опубликованы в 2005 году. Они предваряли издание, которое являлось расширенным вариантом переписки из книги Виктора Астафьева «Зрячий посох». Вот только как раз её сам Астафьев, не «строая глазки», не мог опубликовать целое советское десятилетие. Издатели решились на это только через три года после объявления перестройки. Это к теме о необходимости «ритуальных поклонов». Виктор Астафьев, преодолев период журналистского греха, обретя статус профессионального писателя, больше в литературе уже никому не кланялся.

В советское время часто звучала песня со словами: «Раньше думай о Родине, а потом о себе». Под «Родиной» подразумевалось государство. В первом опубликованном рассказе Валентина Распутина «Я забыл спросить у Лёшки...», не говоря уже о его газетных публикациях, всюду выпирает ничем не прикрытая партийная идеология. Она, как густой соус у плохонького кулинара, всегда шла в ход, чтобы скрыть недостатки основного блюда.

В рассказе описывается, как во время валки леса молоденького Лёшку зацепило падающей лесиной. Два друга бросились сопровождать его в больницу, до которой ходу было тридцать километров. Единственный трактор бригадир им не дал, потому что нельзя прерывать работу, план нужно выполнять.

В начале их продвижения всё было терпимо. Они даже говорили про строительство коммунизма и веру в него. А дальше парню «захужело». И они уже его тащили на плащ-палатке. Но им всё равно не давал покоя вопрос: «Куда люди станут вписывать имена лучших строителей коммунизма?»

А потом покалеченный парень затих. И дальше они уже несли его мёртвого.

Небольшой рассказ от первого лица заканчивается так: «Я неожиданно вспомнил о том, что ещё забыл спросить Лёшку, будут ли знать при коммунизме о тех, чьи имена не вписаны на зданиях заводов и электростанций, кто так навсегда и остался незаметным. Мне во что бы то ни стало захотелось узнать, вспомнят ли при коммунизме о Лёшке, который жил на свете немногим больше семнадцати лет и строил его всего два с половиной месяца».

Неужели Валентин Распутин был тогда таким верующим в государственную утопию? Конечно, было бы ещё хуже, если бы автор написал этот рассказ на полном безверии...

Спустя лет тридцать популярная всесоюзная газета устроила обсуждение значимости одного трагического подвига. В каком-то селе парень бросился спасать загоревшийся трактор. И сгорел вместе с ним. В нормальном обществе всё должно было быть ясно без обсуждений: человеческая жизнь превыше ценности любой железяки. Но в советском устроили из этого обширную долговременную дискуссию. Песня «Раньше думай...» давно уже звучала не только по радио, но и внутри многих людей.

...Возвращаемся с Валентином Распутиным в Усть-Уду из какого-то посёлка, и он рассказывает мне, что, когда строилась Усть-Илимская ГЭС, среди рабочих по очистке будущего дна нового водохранилища оказался его дядя Лёня. И он с ним поехал смотреть, как происходит это действие. Ему это нужно было для тогдашней работы над повестью «Прощание с Матёрой», где тоже про затопление и про губителей исконной ангарской жизни. И дальше Распутин заговорил обо всём с какой-то залихватской азартностью.

В отдалённом затапливаемом селе он увидел целую улицу нетронутых домов. С расписными ставнями. С массивными охлупнями на крышах. С воротами при кованых жиковинах. С русским печками. И всё это находилось при полнейшем безлюдии. По улицам ходили только брошенные собаки, кошки и... поджигатели. Как раз они-то и очищали деревню огнём.

Дальше Распутин поведал словно о какой-то бесовщине с его участием. Рассказал, как они сидели в пылающем добротном доме, подожжённом с дальней стороны, и пили в нём самогон с родственником. Тот уже знал поминутно, сколько и что горит. И в такой смелости был его своеобразный кураж. Испытал его вместе со страхом и Распутин. Дверь они прикрывали, когда дом уже весь дрожал от гудящего пламени и по стёклам окон струилась расплавленная горящая смола.

Всё это спустя несколько лет Валентин Распутин повторит, но уже в кратком изложении, в документальном фильме «Река жизни». То бесовство ему явно не давало покоя.

Когда мы с ним тогда говорили, мной уже было прочитано его «Прощание с Матёрой». И я тоже видел, как жгли дома на дне будущего Богучанского «моря». И видел слёзы тех, кто лишился родины. И это было страдальческое бедствие. А рассказанное Распутиным представало как бы безучастным видением с другой стороны. Не с той, как видела всё это Дарья в его повести. Вот только нужной смелости спросить, как уживалось в нём одно с другим, тогда у меня ещё не было.

А в 1993 году расстреливали российский парламент. Валентин Распутин, оценивая поведение некоторых зрителей, восторгавшихся удачными попаданиями танкистов, скажет о них: «Это уже не зеваки, а действующие лица», — и согласится с тем, что подобные эмоции — «нравственное падение».

А вот и ещё одна странность в моём его восприятии...

Издатель Геннадий Сапронов организовал путешествие по воде Валентина Распутина с киношниками как очередное прощание с исчезающей Ангарой в связи со строительством здесь новой, уже четвёртой гидростанции.

Вместе с ними плыл и Валентин Курбатов. Именно он и не соглашался во многом с позицией директора Братской ГЭС Виктора Рудых, который, стоя возле плотины, утверждал, что получаемые блага цивилизации благодаря вырабатываемой электроэнергии важнее, чем потеря «какой-то Кежмы». А то что переселённые из зоны затопления более шести десятилетий назад жители той же Аталанки так до сих пор и живут не подключённые к электроэнергии ГЭС – это не его проблема. И совестью он от этого не мучился. Кстати, он был как раз потомком той родни, деревню которой сожгли и затопили.

Мне казалось, сейчас не выдержит и решительно вклинится в этот разговор Распутин. И замолчит, устыжённый, директор гидростанции. Распутин вклинился и урезонил... Курбатова: «Валентин, если бы в этом мире Россия была одна, тогда бы можно было всего этого миновать. Но когда пошла такая гонка... Что же тут было делать? Приходится соглашаться со всем». Это в Распутине так заговорил государственник.

И ещё он тут же пояснил про нуждающихся в защите людей: «Народ он – когда служит государству. И служит России. А сейчас неизвестно, кому он служит. Мы разрозненны...»

Вот и обнажилась принципиальная дилемма. Государство для человека? Или человек для государства?

Можно предположить, что если бы присутствовал при вышеозначенном разговоре Астафьев, то здесь бы вовсю грохотали и сверкали громы и молнии. Он бы наверняка не позволил, чтобы с такой барственной уверенностью звучал начальственный цинизм.

В этом и заключается кардинальное позиционное расхождение Астафьева и Распутина. В их публицистике, особенно в последние годы, это проявлялось явственно и многократно. Правда, до этого никогда не звучало с таким откровением распутинское утверждение о фактически отстранившемся народе...

Запись в блокноте:

В Усть-Уде по местной инициативе открыли выставку в честь прошедшего юбилея Распутина. Посмотреть свеженькие экспозиции зазвали Валентина Григорьевича. Чувства у него смешались. Он как бы увидел сторонний взгляд на самого себя. «А это зачем?! – удивлялся он, увидев в уголке советскую атрибутику с трудами Сталина. – Державник я всё-таки в другом понимании». А когда его объявили «ангарским Ломоносовым», он смеялся так, как никогда больше за всю поездку: «Господь с вами? Ну какой я... Это что вы такое учудили...» А потом, уже наедине, Распутин скажет мне: «Хорошо, если это искренне. Но со временем, думаю, всё сойдёт и забудется».

Как враги

Когда в 1973 году выйдут распутинские «Уроки французского», Виктор Астафьев поделится своим впечатлением с литературоведом Николаем Яновским: «Валя Распутин лучше и лучше пишет – что мне теперь, вешаться, что ли? Наоборот, радостно, что идёт парень плечом подпереть одряхлевший лит. дом и завшивевшую лит. шубу встряхнет».

А когда поплывёт с рыбаками по Ангаре, то, вглядываясь в её ширь, Астафьев сообщит в письме жене:

«Я впервые и с удивлением обнаружил, как точно пишет об Ангаре Валя Распутин, нет, нет, не пейзаж, не внешние приметы, хотя и это он делать мастер, а как бы душу саму этой вкрадчивой и бурной реки. Мне даже показалось сейчас, что и сам Валя чем-то неуловимо, глубинно, колдовски-скрыто похож на свою родную реку, хотя и не подозревает об этом».

Валентин Распутин тоже характеризовал творчество своего старшего друга в возвышенной степени: «Талант астафьевской мощи и страсти – явления редкое, в нынешней литературе по точности, красоте и эпическому полнозвучию народного языка он не имеет себе равных. Не слишком ли? Нет, не слишком. Многие сотни писем, которые получает писатель после каждой своей новой книги, лучше всего свидетельствуют, что сейчас, как никогда прежде, люди расположены к правде, какой бы неприятной она ни была».

Журналист Николай Савельев несколько раз рыбачил с Виктором Астафьевым на отдалённых притоках Енисея. Об одной из таких поездок на Сым он вспоминал: «Там, в таёжном зимовье, говорили о многом. Запомнилось, что Виктор Петрович всегда ставил Валентина Григорьевича Распутина наособицу, но на божницу не возводил. Вот его слова: “Пушкину было дано пронзить своё время, а мне нет. И Вале тоже”». Это был честный взгляд на их место в русской литературе.

Очень быстро Распутин становится для Астафьева настолько близким по духу и родным человеком, что общение выходит за литературные границы. Старший помогает младшему деньгами. Они знакомятся семьями. Отдыхают вместе на курорте в Болгарии. А когда в 1986 году на съезде писателей СССР грузинская делегация, оскорблённая содержанием астафьевского рассказа «Ловля пескарей в Грузии», бросится осуждать автора, на его защиту, выйдя на трибуну, первым встанет Валентин Распутин.

Если бы не проявившаяся слабость советской власти, они, наверное, никогда бы не разошлись. Демократические подвижки породили активность разных политических сил, которым тоже захотелось властвовать. Началось разделение на сторонников и противников. Предлагались разные пути обустройства новой России. И Валентин Распутин с Виктором Астафьевым оказались на противоположных сторонах. И не только во взглядах на будущее. Они кардинально расходились в оценках многих моментов истории страны, например роли Сталина или компартии. После резких публичных высказываний о происходящем их переписка прекратилась. Навсегда.

Валентин Курбатов пытался отвлечь Распутина от политики и вернуть его к литературе. Об этом он сообщает в 1992 году в письме Виктору Астафьеву:

«...Виделся в Москве с Валентином Григорьевичем. Гнул своё, по-нуждая его выйти из ложно использующих его организаций. Он обещал, но ещё сто раз передумает, связанный ложным чувством общего дела. Воли не хватает на разрыв, хотя когда они его связывали, они как раз сомневались мало и сейчас будут держать изо всех сил, зная, что лучшего знамени у них не будет и уйдёт он – они окажутся только бойкими говорунами и искателями власти. Он и это знает. И всё-таки не уходит... Чувствует себя тяжело. Спрашиваю: “Что же вообще-то делаешь? Ну, если не пишешь, то хоть думаешь о чём?” – “Ни о чем не думаю. Коротаю жизнь”. И так тяжело сказал, что я заткнулся и больше не лез».

В 1993 году внутреннее властное российское противостояние неожиданно перешло в вооружённое столкновение. Танки президента расстреляли Белый дом с парламентариями. Сделали свои озлобленные словесные выстрелы в друг друга и прежние друзья-писатели. Виктор Астафьев, хотя и не подписывал «Письмо сорока двух», но всё же согласился с направленностью его содержания. А направлено оно было против тех, кто был тогда повержен, но не уничтожен. На стороне последних продолжал стойко находиться Валентин Распутин.

О чудовищности риторики «победителей» свидетельствует отрывок из их письма-обращения:

«Хватит говорить... Пора научиться действовать. Эти тупые негодяи уважают только силу. Так не пора ли её продемонстрировать нашей юной, но уже, как мы вновь с радостным удивлением убедились, достаточно окрепшей демократии?»

Это был не документ, а клич к погромному набегу власти – шашки наголо и вперёд большевистскими методами: запретить, закрыть, распустить, отстранить, посадить... В ход пошло даже требование прекратить законно избранные органы власти.

Среди подписавших были явные радикалы, вовсю кричавшие: «Раздавить гадину!» Но под обращением стояли и фамилии таких уважаемых гуманистов, как Алесь Адамович, Василь Быков, Даниил Гранин, Дмитрий Лихачёв... С ними со всеми был хорошо знаком Виктор Астафьев. И все они не понаслышке знали, как делали раньше «врагов народа» и потом расправлялись с ними. Но именно эти люди и призывали власть пойти тем же страшным путём уничтожения несогласных. Примечательно, что за два года до этого пытавшиеся совершить госпереворот путчисты, а среди их руководителей были те, с кем близко общался Валентин Распутин, тоже бросились предпринимать подобные действия.

Оказавшись по разные стороны, противники мало чем отличались друг от друга в проявлениях ненависти. Виктор Астафьев много раз объяснял это нашей неготовностью к свободе. Но в тот момент он мог быть сам обвинён в этом. Однако неправость ему тогда виделась только в другом и в других. Астафьев пишет письмо редактору главной газеты коммунистов:

«“Доброжелатели” прислали мне “Правду”... с разглагольствовани-ями защитника народа В. Г. Распутина, и я увидел воочию, что эту газету, как чёрного кобеля, не отмоешь добела – была “Правда” кривдой, кривдой и осталась».

Сообщаю вам... что всё, что принял Распутин, всё, на что по дешёвке купился, предлагалось и мне – место в Верховном Совете, место советника, место фрейлины в свите Горбачёва и, естественно, воздаяния за это харчем, вельможными привилегиями, хоромами. Но я хотел работать, исполнять своё дело, Богом определённые обязанности и ото всех почестей и подачек отказался – вежливо. И так вежливо, что не утратил уважения к себе, а Михаил Сергеевич, насколько мне известно, не утратил уважения ко мне».

Валентин Курбатов в этот момент оказывается на меже. Пишет Астафьеву:

«...Мне тяжело видеть происходящее с нами со всеми, стыдно видеть родную литературу, в которой вчера родные люди собачатся, как враги, вместо того чтобы увидаться друг с другом и поговорить без посредничества подлых газет и телевидения. Это, конечно, не может

длиться долго. Обморок кончится, и нам будет стыдно глядеть в глаза друг другу. И чтобы это кончилось поскорее, я готов стоять посередине, как и сотни других таких же дураков, и получать обвинения той и другой стороны».

Никто не подозревал, что творилось в то переломное время в душе Распутина... Вернее, был один человек, кто знал. Втайне от мужа переписку «с Вaley» продолжала вести Мария Семёновна. Вот строки из её письма, никогда ранее не публиковавшиеся:

«Я, в последнее время особенно, опять часто и с горькой тревогой думаю о тебе. И ты можешь сказать, мол, думай, если больше не о чем. Но нет же, просто потому, что давно, сколько я тебя знаю, по родственному привязалась к тебе и всё-всё, связанное с твоей жизнью и творчеством, меня радует и тревожит, волнует и я безмерно дорожу и дорожила всегда каждой с тобою встречей, где и какой краткой она бы ни была. Если помнишь, даже страничку черновика просила, правда, так и не допросилась, ну да ничего.

И когда мне бывает очень необходимо поговорить о самом сокровенном или просто выговориться, я обращаюсь к тебе и всякий раз благодарю тебя, что ты меня слышал, читал сумбурные и длинные мои письма до конца, а иногда и отзывался.

Не скрою, в последнее время мне не раз и не два не терпелось дать тебе телеграмму, особенно когда твои, но “не твои” публикации читая то в “Правде”, то ещё где, хотела напомнить тебе, что у политиков не бывает друзей, а без них так трудно жить; сказать – напомнить, что лжесвидетельство – непростительный грех, или когда ты поехал со свитой генсека в Японию... “Валечка! Зачем тебе всё это?”»

Письмо, строки из которого ниже, уже после смерти Виктора Астафьева, было передано Марией Семёновной не в архивы, а на хранение «лично» хорошо знакомому ей редактору Агнессе Грemicкой. Вот что ей тогда написал Распутин:

«...Как бы хотелось мне в ответ на тревогу и сострадательность Вашего письма успокоить: да-да, Вы правы, надо всё бросать к чертям собачьим, всю эту суету и канитель, от которой всё равно никакого толку, и возвращаться к столу, к “произведениям”, кои никто, кроме меня, не “создаст”...

С этой стороной моего положения более или менее ясно. Брошу. Но к столу, Марья Семёновна, уже не сяду. Присаживаться буду, да, не вытерплю, чтобы не присаживаться совсем, но “произведений”, как говорят, достойных нашего времени и достойных автора, уже не будет. Не примите только, пожалуйста, мои слова за уничижение, которое паче гордости, и говорю их только Вам, да и то в ответ на упрёки. Я никогда всерьёз к себе как писателю не относился, потому что знал, с какими потугами достаётся мне каждая строка, и возню вокруг меня, прежние похвалы и чины принимал сначала даже с испугом. Потом он прошёл, но чувство, что меня принимают за другого, чем я есть, и что я, сам того не желая, умею каким-то образом втереть глаза, оставалось. То, что я написал, прилично, наверное, даже более чем прилично (я имею в виду не статьи), но и только. Я был способен только на это. Что ж делать, есть писатели короткого дыхания, есть среднего (не буду ни на кого указывать из наших общих близких знакомых, но Вы их знаете), и есть среди них упрямцы, которые держатся через силу, уже и не дышат, а судорожно хватают воздух, но не сходят с дистанции. Лучше уж сойти, ничего постыдного в этом, я думаю, нет, и потихоньку заниматься

каким-нибудь сподручным безвредным делом. Надеюсь и я оставаться безвредным.

Объяснять свои шаги трудно, всякое объяснение, как только принимаешься за него, кажется оправданием. Больше всего возмущение и недоумение среди моих друзей вызвало моё участие в Презид. Совете. Не стану скрывать, что мне польстило предложение Горбачева, я не из тех, кто умеет заглядывать далеко вперёд и предвидеть последствия. Но творческие последствия предусмотреть было нетрудно. Я согласился не потому, что прельстился возможностью быть на виду. Быть на виду для меня мука смертная, кто знает меня получше, тот знает и это. Я согласился по глупости – в надежде, что так иногда будет удаваться замолвить словечко хоть за малую часть из того, на что государство всегда плевало. Дурак дураком и никакой не политик, я всё же имел случай наблюдать, как делается политика и кто варит эту кашу. И будь у меня поменьше порядочности, мог бы написать об этом, но мне не может, к сожалению, пригодиться и этот опыт, так что моя жертва, можно сказать, была напрасной. Едва ли нужно жалеть об этом. Как не жалею я о многих прежних глупостях, о том, что пил водку, месяцы и годы отдавал пустякам. Жалею, что оказался под конец жизни малообразован и малосилен, но и это уже не поправить, так что приходится и с этим в себе мириться».

Валентин Распутин, почти полностью отойдя от литературной деятельности, поучаствовал за два последующих десятилетия в огромном множестве различных общественно-политических мероприятиях. Одних только обращений и заявлений к народу страны, подписал около десятка. И при этом он соглашался с высказыванием известного филолога Владимира Лакшина о том, что «искусство в точном смысле слова гибнет и вянет, когда политика прижимает его к груди».

Виктор Астафьев очень быстро отмежевался ото всех писательских союзов и общественных объединений, стал держаться обособленно. Его главным занятием стало писательство. И в 1997 году он публично призвал вернуться к нему своего бывшего друга Валентина Распутина:

«Мы, его старые почитатели... и читатели его, ждём не речей, не махания руками, не патриотических подвигов, а повестей, рассказов, ибо только то, что сделано, написано на бумаге, – и есть истинный труд, в котором, кстати, и патриотизм, и все прочие чувства любви к своей Родине и её истерзанному народу он умел куда как славно изображать. А всё остальное “суета суёт”, как говорил покойный мой приятель, незабвенный Анатолий Дмитриевич Папанов».

Виктор Астафьев это написал в одном из журналов к 60-летию Распутина. Выглядело это как шаг к примирению. Затем он пригласил его на Литературную встречу в Овсянке. Но тот был непреклонен до самого конца. Не приехал он в Красноярск, даже тогда, когда провожали Астафьева в последний путь.

Запись в блокноте:

В честь «визита» Валентина Распутина в Усть-Уду в детском приюте приготовили кедровые саженцы «для торжественной закладки аллеи». Перед самым началом действия одна из организаторов, всё внимательно осмотрев, выбросила из мешка «бракованный» кедрик. Распутин этого не видел. А когда подошёл, бережно подобрал с земли росточек со сломанной вершинкой и пошёл его сажать вместе с сиротской ребятнёй.

Как чудо

Почти сразу после того, как был опубликован мой большой очерк о Распутине в общероссийском издании, встретился на каком-то мероприятии с толковым замминистра иркутской областной администрации Сергеем Ступиным (о нём и Валентин Григорьевич отзывался доброжелательно). Увидев меня, тот всплеснул руками: «Вы зачем так написали?! Он же в ярость, наверное, пришёл, когда всё это прочитал!»

Как же зачастую придуманное нами представление о человеке расходится с тем, что есть на самом деле. Знаю об этом, потому что до опубликования материала о Распутине отправлял его ему на сверку. И тем самым проверял уже своё, сложившееся представление о нём, после личного общения. И он почти всё принял без возражений, за исключением двух фактологических неточностей. Принял и вот эти нижеследующие абзацы, показавшиеся некоторым его сторонникам чуть ли не крамольными:

«По тому, как уничтожалась народная самобытность, Распутин не видел большой разницы между Октябрьской революцией и перестройкой. Совершенно понятно, почему от него отмежевались скороспелые “демократы”. Для него это была “не власть, а напасть”. Но почему его в своё время не предали анафеме коммунисты – неясно абсолютно.

Распутин ещё в “застойные годы” стал своеобразным ангарским диссидентом. То, что он написал тогда в зрелый период, – находилось по другую сторону от “советской литературы”.

А в 1980 году он, найдя действующую церковь, принял обряд крещения, что по тем временам расценивалось верховной идеологией как “духовное закабаление человека и его опускание до уровня ничтожества перед богом”.

Распутин мог поставить свою подпись рядом с росчерками депутатов-коммунистов под обращением против “реформ смерти”. И тут же как бы забирал швартовый с политического причала, напоминая, что народ: “слишком много сил и жертв отдал в XX веке порядку, оказавшемуся нежизнеспособным по той причине, что он не мог считать Россию своей духовной родиной. Была власть, и сильная, было огромное социальное облегчение, но отвержение души и Бога сделало народ сиротой”».

Свой среди чужих. Чужой среди своих.

Это Солженицын, как бы уточняя местоположение Валентина Распутина, назовёт его «нравственником». Но ни голос первого, ни второго – народ уже практически тогда не слышал. Или не хотел слышать?

Повторюсь, Распутин без возражений принял вышенаписанное. А у многих о нём было тогда совершенно другое мировоззренческое представление.

Тогда же я его спросил:

– Вы заметили, что во время встреч земляки вам не задали ни одного «политического» вопроса?

– Заметил! И вот это как раз и внушает надежду, что мы меняемся. Не так быстро, как хотелось бы, но меняемся. Вся эта политизация нашей жизни... Дурная политизация исковеркала не только жизнь «больших», но и «маленьких» людей. Совсем недавно на этой политике все были помешаны.

– Мне ваши земляки рассказали, что пять лет назад принимали вас в Усть-Уде намного-намного сдержаннее. А сейчас – с таким уважением и доверительностью, что позавидуешь...

– Появилось другое отношение. Тут, может, сказывается то, что в девяностые годы меня ведь немало кляли. И такие статьи до земляков наверняка доходили. И на меня смотрели не то чтобы с сожалением, а даже и с состраданием. Особенно не вникая: прав я или нет. Наблюдали: додают меня или не додают. А сейчас меня начинают признавать заново. И это – как чудо.

Примечательно, что не только Виктор Астафьев, но и Валентин Распутин тоже не раз кардинально разочаровывался в людских проявлениях.

Валентин Курбатов, заехав в 1994 году в Москву, пишет Астафьеву о неожиданных переменах в восприятии своего иркутского тёзки:

«Навестил я и приехавшего в тот же день Распутина. Он сказал только, что последние месяцы в Сибири убедили его в правоте Вашего взгляда на народ – ничего уже из этого теста не испечёшь. Оттого он попробовал было ещё рассказ написать в пару к своему слабому недавнему сочинению “Сеня едет”, но написал, да сам в ведро и бросил, потому что понял, что никуда Сеня не едет и обманывать себя на его счёт нечего».

В его последней завершённой повести «Дочь Ивана, мать Ивана», женщина берётся за оружие и убивает насильника. Так она вместо бездейственного государства сама восстанавливает справедливость. Есть там и высказывание о народе, вложенное в уста одного из персонажей: «Да ведь мы все, если разобраться, трусили... Стерпели, как последние холопы. Мы вместо того, чтобы поганой метлой их, рты разинули, уши развесили... Как-то всенародно трусили... Если кто и пикнул – не дальше собственного носа... В водочке захлебнулись? И это есть: может, на треть захлебнулись. А остальные где? Где остальные?»

Беседа со мной, он скажет:

– Единственно за своих аталанских «радовался», когда не стало электричества, что они не могли смотреть телевизор. Из него особенно столько грязи было вылито на свой народ, чего не делало ни одно другое государство. Так развращать, так испоганивать всё светлое... Как собирать теперь сердца и души?

Вернуться к настоящему сейчас – наитруднейшее дело. Может, настолько трудное, что если и можно его с чем-то сравнить, так только с тем, что нам пришлось преодолеть в Великой Отечественной войне. И, может, легче было победить фашистов, чем врага, который внутри нас самих.

Молчим. С ним легко молчать. Но мне надо отрабатывать профессию. Неторопливо спрашиваю, с намёком на его общественную активность, которая больше приносила разочарования, чем пользы:

– Валентин Григорьевич, почему же писатели оказались сейчас в общественной «тени», ведь два предыдущих века они были в России «властителями дум»?

– Прежде чем попасть в «тень», сначала многие из них вовсю разваливали Союз... Участвовали в деле, которое не может быть писательским. Поэтому и оказались затем в небрежении. Во многом мы сами виноваты... Наверное, слишком часто говорили о необходимых вещах... До затвердения... Всё пошло насмарку... И эта боль... Вот эта оглушённость – она сказала на многих. За короткий исторический миг число читателей сократилось чуть ли не в тысячу раз. Не считать же, право, за читателей глотателей душещипательных пустот, от которых сегодня пухнет книжный бизнес. Это – наркотические таблетки

в книжной обёртке... И их любителей нужно относить к наркоманам, а не к читателям. В храме всё же другой язык, чем на улице. До этого в нашей словесности Смердяковы могли быть литературными героями, но не могли быть авторами... Мне кажется, что сегодняшнее вызывающее бесстыдство литературы пройдёт, как только читатель потребует к себе уважения.

Запись в блокноте:

В Юголоке на сцену вышла бабушка Екатерина Петровна Пушкина. Вежливо поздоровалась с «товарыщами». Сложив на груди руки, молча поклонилась, сидевшему в первом ряду Распутину. И начала с волнением «сказывать», как однажды загоревала о погубленной ангарской красоте. А подруга возьми и спроси: «А ты Распутина знаешь? Наши паренё, обо всем этом пишет». И стала бабушка Катя в семьдесят лет учиться сама грамоте. Да не с букваря начала, а с распутинской книги «Живи и помни». Несколько месяцев её одолевала: «Не напрасно сердце билось – прочитала!» Сказала это. Поклонилась народу. И зашагала в радости на своё место.

Связующее звено

На третий усть-удинский день у Распутина появилась приятная усталость. Словно душа родиной открылась. За автографами – очередь. Земляки приходят с его книжками, изданными в разные годы, и терпеливо выстаивают каждый раз по тридцать-сорок минут. Потом начинается фотографирование на память. Проходит ещё день-другой, и «транжирство времени», как назвал это процесс Распутин, наконец завершено. Возвращаемся в Иркутск. Сквозь жару, рыжую пыль и метель из бабочек. Моё место рядом с ним в автобусе никто не занимает:

– Валентин Григорьевич, последние дни вы пребывали в окружении огромного количества людей, а бывает, что просто не с кем поговорить? Словно один в целом мире?

– Последние годы – так оно и есть. Близких людей становится всё меньше и меньше. Старость, она ведь не делает человека красивее. В любом отношении – ни внешне, ни внутренне. Старость, она многое огрубляет в человеке. Выстужает его. У меня сейчас очень небольшой круг людей, с кем можно говорить о чём угодно.

– Часто вы подходите дома к своим колокольчикам? Как-то вы «поговорились», что общаетесь с ними, если довольны собой.

– Не часто. Но иногда подхожу. Посмотрю на них. Полуюбуюсь. Поглажу их, чтобы откликнулись перезвоном. Поправлю своё настроение... Это как детская забава. Правда, я их только в зрелые годы стал собирать. Люблю смотреть на них, прежде чем начинаю работу.

– Сейчас что-то пишете?

– Только что вышел мой новый рассказ... Работаю над большой вещью, но идёт с трудом.

– Удивительно, но сегодня, по крайней мере в Приангарье, вас начали читать даже те, кто до этого не был вашим почитателем...

– Читают, потому что я их земляк. А может быть, кто-то проверяет: исписался я или ещё нет. У меня ведь тоже существует своеобразная ревность к своим друзьям-писателям. Читаю их новые книги, хотя сейчас

и значительно меньше. Но есть люди, написанное которыми я никогда не пропущу.

– Астафьев был в их числе? Хотя осведомлённые иркутяне посоветовали мне вообще не касаться этой темы в разговоре с вами...

И в этот момент Распутин резко поворачивается ко мне и негодуя говорит:

– Да кто же это вам сказал, что у меня было плохое отношение к Астафьеву?! Я его всегда высоко ценил как писателя. А все эти политические дразги... Никому они не нужны. Со временем о них никто даже и не вспомнит.

– Виктор Петрович ждал, что вы приедете...

– Да... Я готов был приехать... Но не на те «собрания» (имеются в виду «Литературные встречи» в Овсянке. – О. Н.), где было слишком много для меня чужого народа... Я к нему был готов приехать... И теперь уже...

И мы долго-долго молчим. Автобус ревет на подъёме. С трудом, из последних сил поднимаясь на возвышенность. В конце концов мы встанем. Из-под капота пойдёт пар. Водитель скажет: «Ремень полетел!» Понимание, что исчезло связующее звено, возникло не в движении, а только тогда, когда остановились.

А остановились мы прямо на перевале.

Запись в блокноте:

Последовавший приезд Валентина Распутина в Красноярск был тихим. Он сообщил о нём Марии Семёновне и прямоком отправился в Овсянку. Чуть позднее скажет: «Я не был у Виктора Петровича все 90-е годы и не попрощался с ним. Это произошло в силу разных причин, о которых, может быть, и не стоит говорить. А сейчас я почувствовал просто потребность, невозможность дальше жить с этим, не побывав на могиле. Собрался и поехал. И почувствовал облегчение. Такое же облегчение бывает после исповеди и причастия, когда всё тяжёлое, горькое уходит и чувствуешь себя легко-легко... Могучий он был человек – и духа могучего, и таланта!»

Роман СЕНЧИН

Родился в 1971 году в Кызыле, Тувинская АССР. Работал монтажником, дворником, грузчиком. По окончании Литературного института вел в нем семинар прозы (2001–2003).

Публикуется в журналах «Октябрь», «Дружба народов», «Новый мир», «Знамя», «Нижний Новгород», «Урал» и других. Автор ряда романов и сборников рассказов. Роман «Елтышевы» в 2011 году вошёл в шорт-лист премии «Русский Букер десятилетия» и принес автору Премию правительства РФ (2012). В 2015 году за роман «Зона затопления» удостоен третьей премии «Большая книга», в 2017-м – премии «Писатель XXI века» в номинации «Проза» (за книгу «Постоянное напряжение»).

Живет в Санкт-Петербурге.

ЗА ЗАВТРАКОМ

Фрагмент книги-очерка «Поминки»

На обеденном столе пакет с продуктами. Мясо, рыба, хлеб, колбаса, сметана. Купил в Торговом центре. Вернее, это рынок рядом с продуктовым магазином, но по привычке его, рынок, называют Торговым центром или Торгушкой. В девяностые торговые центры такими и были – какой-нибудь универсам или универсам, а вокруг киоски, ларьки, прилавки, ящики с товаром...

Я много писал о нем в своих вещах, где действие происходит в Минусинске. Ну как не писать, если с лета девяносто четвертого наша семья торговала там плодами труда на огороде. Только в самые последние годы перестали ездить – викторию, помидоры (остальное сажали уже только для себя) стали продавать на месте. Дешевле, конечно, но не надо собираться, трястись в автобусе, иногда стоя, искать свободное место за прилавком...

Было время, во дворе стояли три машины – «Москвич-2141», «Москвич-412 пикап» и грузовой ГАЗ. В девяностые, которые я так часто поминаю, лучшим вложением денег нам казались автомобили. Ну и нужны они были, особенно здесь, в деревне. На «сорок первом» ездили в город, на пикапе или грузовике – в лес, за перегноем, за бутовым камнем, за глиной. Были заказы от местных; раза два на ГАЗе отец отвозил покойников на кладбище.

В деревне осталась эта традиция – везти гроб в кузове с откинутыми бортами. Возле гроба ближайшая родня, девочка или мальчик кидает пихтовые или еловые лапки на дорогу, за грузовиком идут соседи, друзья,

следом катятся автомобили. Сначала свои, а потом и чужие – обгонять похороны не принято...

Наша четырехэтажка в Кызыле была на центральной улице, и часто по ней двигались подобные процессии. Бывало, с оркестром. Трубы, кларнеты драли душу «Похоронным маршем». Иногда кто-нибудь из музыкантов фальшивил или пускал петуха, и от этого становилось еще... Хочется сказать «страшнее», но нет, не страшнее. Страха не помню, была торжественность, что ли, сопричастность к прощанию навсегда. И эти петухи странным образом подчеркивали сопричастность.

Мы, дети, подростки, отвлекались от своих игр во дворе. Замирали, смотрели на грузовик, на красный гроб, на идущих за грузовиком музыкантов с желтыми блестящими инструментами, с большим барабаном, на темных людей с опущенными головами... И взрослые тоже останавливались, на полминуты, на минуту переставали спешить по делам.

Потом так стали провожать только известных, уважаемых в городе людей, а потом и вовсе пресекли эту традицию. Или сама пресеклась. Простых грузили из морга, реже из домов (если родственники решали устроить там прощание) в «пазики» или микроавтобусы, непростых – из Дома политпросвещения, где был траурный зал, и везли на тоскливое, посреди каменистой степи, кызылское кладбище.

И так, я видел, происходило повсюду, кроме, может, каких-то деревень. Особенно незаметен последний путь в больших городах. Проедет автомобиль с надписью «Ритуал», и даже не сразу поймешь, что он там возит. Дети больше не прекращали игр, взрослые не останавливались.

Во время пандемии и попрощаться не разрешали. Поначалу. Потом стали допускать к гробу самых близких. А в последние месяцы похороны снова стали многолюдными, с речами над могилой, а то и с залпами из автоматов.

Такие похороны я видел в прошлый приезд – шестого мая в соседнем селе, в Знаменке.

А холодильник-то включить забыл! Это надо было сделать в первую очередь, еще до огорода.

Подхожу к счетчику, поднимаю рычажок. Щелк. И холодильник тут же оживает, начинает тарахтеть. Хорошо. Раздвигаю шторы, и кухня-комната сразу оживает. Становится уютно.

На подоконнике оставленные газеты. Верхняя густо пожелтела, вздулась. Убираю – вполне может нагреться в особенно солнечный день так, что загорится. Тем более окно на южную сторону.

Провожу ладонью по клеенке на столе. Ладонь чистая. Пыли нет совсем. Удивительно. Обычно каждый день появлялась.

У меня привычка – садясь за стол, обеденный или письменный, проводить по нему ладонью. И почти всегда бывает пыль. Когда сдуваю ее, когда протираю столешницу влажной салфеткой. Раза два в неделю протираю и книжные полки в своем кабинете, принтер, ноутбук, глобус-бар, который подарила мне жена на позапрошлый день рождения. Да и на кухне – этой или той, в Екатеринбурге, – тоже.

Борьба с пылью становится для меня какой-то манией. Раньше я пыль и не очень-то замечал, а сейчас хочу заметить, вернее, ожидаю увидеть, чтобы начать небольшую уборку в родительском доме, но не вижу.

Впрочем, ничего удивительного. Где-то вычитал, что пыль – это в основном крошечные кусочки нашей кожи, волокон ткани, волосы, остатки пищи... Если в доме нет людей, никто не готовит и не ест,

не курит, не трясет одеждой; если окна и двери плотно закрыты, если нет насекомых, мышей, то пыли и неоткуда взяться... Космическая, хм, наверно, просачивается, но за полтора месяца ее скопилось маловато – не почувствовать на ладони...

Да, в домике чистота и порядок. Не знаю, убого выглядит обстановка или нет – я к ней привык. Даже к наклейкам от колбасы, которые мама зачем-то переклеивала на холодильник, на обои, даже вон на серванте одна есть. Может, прятала под ними царапины и пятна, а может, хотела большей пестроты, яркости. Отрывать эти липкие этикетки «Дымов», «Залихватский расколбас», «Сервелат фирменный» не решаюсь – чувства, что родителей здесь уже никогда не будет, нет. Вот сейчас я стою посреди кухни, а они словно на огороде, во дворе. И вот-вот вернуться.

И я всерьез начинаю их ожидать. Дождусь, покажу, какую замечательную баранину привез, пелядь, расскажу, что у жены беременность протекает хорошо, что заключил с издательством договор на новую книгу...

Нет, никто не идет. Тишина, лишь тикает будильник на серванте. Так же он тикал в октябре, когда я приехал ухаживать за родителями, и в ноябре, когда сидели за этим столом мама, моя жена и я, перед тем как ехать в город хоронить отца. И в феврале тикали, когда я вернулся сюда с похорон мамы, и в мае, когда жил здесь несколько дней, мотаясь то в сельсовет в Знаменке, то в город, собирая документы, чтоб подать на наследство.

Так же тикал будильник многие дни и ночи, когда здесь никого не было. Тикал, тикал, тикал в полном одиночестве.

Еще в феврале я хотел вынуть батарейку, но не стал – без этого тик, тик, тик, кажется, умрет и сам дом. Оставил. Решил: батарейка сядет, и будильник остановится сам. Без моего вмешательства.

Днем я почти не замечаю тиканья, а на ночь убираю будильник под матрас на диване.

Так, надо переодеться, поесть и за работу. Первым делом – забор. Когда проезжали с Леной мимо него, увидел: один столбик повалился, другой накренился под тяжестью полета. Вот-вот, если не поменять, весь пролет ляжет, а может, утащит и два соседних с обеих сторон.

Еще весной понимал, что нужен ремонт, но в начале мая земля не оттаяла на глубине, пришлось бы раздалбливать лунки ломом. Адов труд. Решил отложить. А сейчас деваться некуда.

Вообще забор – это второе после травы бесконечное дело. Лес у нас здесь сосновый, а сосновые столбики долго не держатся, да и почва – песок. В нем дерево за пяток лет превращается в труху.

Соседских участков, примыкающих к нашему, нет, поэтому с трех сторон забор только наш, в улицу и закоулки, а с четвертой – пруд. И когда потихоньку, всегда между другими занятиями, более неотложными, заканчиваешь обновлять столбики, слеги, доски, там, откуда начал, уже нужно ремонтировать снова.

Заборные доски нынче хлипкие, в тех местах, где их прибиваешь к слегам, быстро становятся пористыми, какими-то пенопластовыми, и достаточно потянуть на себя, чтобы или сломать, или сдернуть с гвоздей.

Читал: деревья растут быстрее, поэтому не успевают набраться плотности. Это интересная гипотеза. Всё делается быстрее – фильмы быстрее снимаются, книги быстрее пишутся, куры быстрее растут, и вот даже деревья...

Конечно, можно заказать столбики стальные, забетонировать, да и вообще профлистом отгородиться от остального мира, хотя это уродливо выглядит. Но мне нравилось возиться с забором, это был некий ритуал, что ли. Как поступать теперь – не знаю. Приезжать наверняка буду реже и короче. Когда маленький ребенок – много не поездишь, надолго не отлучишься.

Да и нет у меня большого желания куда-либо ездить. Наездился. Раньше гнала сюда необходимость поддержать родителей, помочь им. А теперь родителей нет...

За что я благодарен литературе. Или литературному процессу, или как это назвать... В общем, то, что происходит после написания книг и их издания. Благодарен, что побывал во многих городах России, да и по миру покатался.

С две тысячи второго года до девятнадцатого ездил, ездил, ездил. Девятнадцатый вообще получился кочевым. Я даже мысленно попросил ту силу, что выстраивает сюжеты человеческих жизней, чтобы это кочевание притормозилось. Следующий год стал пандемийным, поездки почти не случались, и я этому радовался. Больше писалось, читалось.

А теперь путь в Европу мне и большинству мне подобных литераторов, оставшихся в России, кажется, заказан. Если не навсегда, то надолго.

Доходят намёки: нужно уезжать отсюда, сделав громкое заявление, тогда там ты можешь стать если и не своим, то не таким замаранным. Может быть, и книги продолжат переводить и издавать. А если ты здесь, тебя воспринимают как соучастника...

Мама не разрешала покупать электрочайник – боялась, что проводка не выдержит. Кипятили воду по старинке в чайнике на плите.

Когда я приехал на мамины похороны... Вернее, ехал ухаживать за ней, но по дороге из абаканского аэропорта в Минусинск узнал, что мама умерла... Да, приехал сюда... Опять же, не сам приехал, а Лена привезла. (Если стараешься сказать, как было на самом деле, складно не получается.) Да, Лена привезла, мы поискали одежду, в которой похоронить маму, смертное не нашли, хотя она когда-то, давно, говорила, что приготовила. Что-то выбрали – я плохо соображал, но Лена сказала: подойдет. Уговаривала поехать с ней, у нее переночевать. Боялась, наверное, меня здесь одного оставлять, в холодной осиротевшей избе. Я отказался – действительно хотел побыть один эти двое суток до похорон. А может, боялся участия в похоронных сборах, боялся каждую минуту помнить, что мамы нет.

Здесь была знакомая, родная почти обстановка, Чичи, которую надо кормить, печка, которую необходимо топить. Очистить от снега дорожки к калитке, к туалету, к поленнице. Дела были, а дела спасают от мыслей...

Лена, уехала, я сходил к колодцу, хотел налить воды в чайник, но в нем оказалась пахучая густая жижа. Видимо, мама лечилась какой-то травой. Вылил, помыл чайник, но запах не уходил. С тех пор стал кипятить воду в кастрюле.

В мае, да и сейчас хотел купить новый чайник, и останавливал себя – зачем? Неделью, две можно и так. Если когда приеду надолго – куплю... Да, новые вещи, посуда здесь в ближайшее время вряд ли появятся.

Нет, нужна по крайней мере лопата. Обязательно! Штыковая, но не с заостренным концом, а плоским. Не знаю, как она правильно называется. Садовая, огородная? У нас тут перебивало много лопат, но все

оказывались из плохой стали, невозможно копать. Одна лишь, привезенная из Кызыла, служила надежно, правда, сточилась за эти тридцать лет до самой тулейки... А новую надо после покупки не забыть наточить – на Торгушке есть будка, где затачивают инструменты. Столбики ошкуривать... Да, столбики заказать...

У мамы в телефоне записаны номера тех, к кому можно обратиться, если что. Перед тем как второй раз лечь в больницу, в декабре, она долго инструктировала меня, кто чем может помочь, что у кого можно купить, кому летом можно предложить для продажи ягоду. Будто знала. Да чувствовала, конечно...

«Костя дрова привозит и столбики... У Тани молоко покупаем... У Жени – яйца...»

После завтрака позвоню Косте, поговорю насчет столбиков. Ошкурить, пока свежие, какие вкопать, остальные пусть лежат на всякий случай. На будущее.

Завтракаю тем, что больше всего любил есть подростком. Вареная колбаса с белым хлебом и чай. Правда, раньше в чай добавлял молоко и сахар. Подслащивать чай давно перестал, и с молоком как-то теперь невкусно. Может, чай другой.

Ну да, раньше был в основном грузинский. Без сахара пить было трудно – язык деревенел.

Бывая на родине, я заказываю в кафешках или ресторанчиках хан-чай. Его и в пакетиках продают, как кофе «3 в 1».

Мама, помню, часто его варила, когда жили в Кызыле. Не по всем правилам – даже не во всех ресторанах эти правила соблюдают, мало кто отважится пить чай с пленкой жира, – но тем не менее этот элемент тувинской кухни наряду с бараниной прижился в нашей семье.

Правда, может, и не во вкусоности хан-чая было дело, а потому, что другого, лучшего, почти не бывало. Грузинский мало чем отличался от этого плиточного, из которого делают хан-чай, да и с тем были перебои. Чай «Три слона» считался уже дефицитом, а о другом мы только слышали. Чтобы сбить горечь плиточного или грузинского, приходилось добавлять молоко, соль или сахар...

По сути, соленый чай с молоком до восьмидесят девятого года был основной приметой того, что мы живем в национальной республике. Автономной республике в составе РСФСР. Впрочем, и РСФСР – нынешняя Российская Федерация – редко возникала в разговорах, в телевизоре, радио. Жили в Советском Союзе – этого понимания, казалось, было тогда достаточно.

В Кызыле построили огромное для города в семьдесят тысяч жителей здание музыкально-драматического театра. Были тувинская и русская труппы. И там и там спектакли по классике или по современным произведениям о советских людях. Не о тувинских и не о русских, а о советских. Единственным на моей памяти исключением стал спектакль по книге местного писателя Анатолия Емельянова «От мира не уйти», где действие происходит в Туве – в верховьях Малого Енисея. Там жили староверы, и актеры изображали, какая дремучая, беспросветная, страшная у них жизнь.

Позже, году в девяносто первом или втором, у Емельянова вышла книга «Староверы», где об этих людях было написано с откровенной симпатией, даже с некоторой завистью, что вот держатся своей веры из поколения в поколение, не предадут, и себя он, коммунист, сравнивал

со староверами: тоже не предает дело коммунистической партии... Он, кажется, тогда и умер, сразу после распада СССР и запрета КПСС. Скорее всего, «Староверы» вышли посмертно. (Где-то у нас эта книга была, но искать сейчас бесполезно – часть библиотеки с переезда находится в чулане – в избу всё не влезло.)

Были еще такие спектакли: забытые царским режимом и местными нойонами араты страдают и мучаются, и вот происходит революция, и они с помощью русских ссыльных сбрасывают оковы рабства...

В Туве было местное издательство. Выходили книги на тувинском и русском языках, в том числе и переводы с тувинского на русский и наоборот. Несколько переведенных с тувинского я прочитал. Основная тема опять же: раньше, во времена нойонов, баев, царского правительства (хотя будущая Тува официально не входила в состав Российской империи, была у нее под протекторатом) простым тувинцам плохо жилось, а после революции стало житья хорошо.

То, что Тува до сорок четвертого года была независимым (ну почти, из тех, какие теперь называют «частично признанные») государством, публично почти не упоминали. В городе был – и есть – стадион «5 лет Советской Тувы», построенный к этой дате вхождения республики в братскую семью народов, но название с событием, кажется, мало кто ассоциировал, да и название в народе у стадионе было другое – «Пятилетка».

Была – наверняка есть и сейчас – филармония. Часто в ней проходили концерты симфонического оркестра, а выступления, например, ансамбля песни и танца «Саяны» случались изредка – их предпочитали возить по Союзу и зарубежью; если и можно было услышать песни на тувинском языке, то в сопровождении баяна и рояля. Народные инструменты считались пережитком прошлого, экзотикой, которую стоит демонстрировать подальше от самой Тувы.

В общем, не поощрялась национальная культура. Ни тувинская, ни русская. Хотя русская всё равно пробивалась – в основном через литературу прошлых веков. Ну куда было деть, например, православие, если им пропитаны многие произведения русских классиков, обязательных для прочтения и в школе, и в вузе? А ламаизм, шаманизм дели – заключили в музейные витрины, а из реальной жизни вытравили.

Православная церквушка на окраине Кызыла была и в самые атеистические времена, а вот хурээ или легального шамана – ни одного. Как там у Шукшина: «Как вы относитесь к проблеме шаманизма в отдельных районах Севера?.. Можно, конечно, сделать вид, что такой проблемы нету».

Ну да, ну да, сделали вид, что нету. А проблема была, память о шаманах, о ламах сохранялась, обида, что не дают камлать, не дают славить Будду, тлела. И потом вспыхнула пожаром.

В октябре, когда маму положили в больницу, а отец почти не поднимался с дивана, я ел не за обеденным столом, а за письменным в комнате. И смотрел телевизор.

Но сейчас завтракаю на кухне, телевизор выключен – боюсь залипнуть.

Почему-то в деревне очень тянет его смотреть. Может, из-за отсутствия бурной жизни вокруг. Тихо до звона в ушах, если не выходить за ограду, можно неделями не увидеть человека, да и если пройти по улице, тоже не факт, что кого-нибудь встретишь; автомобили мимо нас

проезжают редко, поэтому необходимо хотя бы по радио услышать голоса людей, в телевизоре увидеть шевеление жизни. Особенно необходимо, наверное, тем, кто приехал сюда из большого города, где ощущаешь, слышишь это шевеление даже за герметичными стеклопакетами, задвинутыми шторами.

И местным надо чувствовать: за пределами их пары сотен избышек что-то есть. Если посмотреть на деревню в сумерках, то во многих окнах видишь синеватый свет. Люди смотрят телевизор.

Но, может, не только из-за телевизора большую часть времени, если находился в доме, я проводил не на кухне, а в комнате (где, конечно, включал телевизор). Комната, пусть немного, напоминает нашу квартиру в Кызыле. А именно – отцовский кабинет. Там стоял этот письменный стол, основательный, темно-коричневый, а две стены комнаты от пола до потолка, как и в кабинете, заслонены стеллажами с книгами.

Комната эта метров семь-восемь квадратных. Не помню, каким был кабинет – мне он казался огромным, хотя, думаю, не очень сильно превышал размером комнату. Но огромность ему предавали именно книги. Не сдавливали пространство, а расширяли. И всё там казалось надежным – и стеллажи, и стол, и диван, пусть узкий, зато тяжелый, кожаный, и шифоньер в углу, тот самый, что стоит сейчас на кухне, отделяя другой диван, из зала нашей кызылской квартиры, от закутка с рукомойником.

А где тот диван, из кабинета?..

Может, оставили, может, привезли и он не поместился в избышке, сгнил тихонько в сарае под другой не вместившейся мебелью. По сути, часть вещей так и осталась в коробках, мешках, ящиках – одни на чердаке, другие были во времянке, которая однажды выгорела изнутри, третьи в чулане, четвертые в сарае без стен и с давно полопавшимся шифером...

Мне нравилась наша квартира в Кызыле. Или стала нравиться после того, как мы переехали сюда, в крошечный домик? Нет, помню, как я спешил в нее после уроков, как ходил по комнатам, когда был один, представляя себя то таким владельцем замка, то Фирсом из «Вишневого сада».

Первый этаж, сквер за окнами, три комнаты... Когда мы с сестрой подросли, сделалось тесновато, но вскоре отец освободил от себя кабинет, стал подолгу жить в опустевшей после переезда бабушки и деда избышке на окраине Кызыла, надо было охранять добро – наступали времена воровства, обнищания, а вернее, желания, какой-то прямо потребности разрушать, ломать. Недаром так часто тогда употребляли слово «пакостить», а потом – «беспредельничать». Многие парни ускоренно проходили путь из озорников в бандиты.

Я не очень-то любил озорничать. То ли не оказалось этого, заложенного природой во многих представителях мужского пола инстинкта, то ли родители воспитали не так, как многих. Впрочем, послушным я не был, но и в разных проказах почти не участвовал. А когда нескольких моих друзей отправили на зону для несовершеннолетних – так называемую «малолетку» – за разорение дач (именно разорение: били стекла, банки с соленьями в подполах, ломали мебель), большую часть времени стал проводить дома. В кабинете. Отец же в избышке сколотил себе большой, чуть покаты́й стол, но почти не писал – силы и время уходили на грядки, на кроликов, на, как я понял позже, не кончающиеся дела по хозяйству. Жизнь в доме на земле, даже если дом вполне благоустроенный, совсем не та, что жизнь в квартире. Земля сама вытаскивает из дома: нет грядок, заботься хотя бы о газоне, подмети, прибай, подкрась.

Хм, да и какие газоны на участках у простых русских людей? Я же говорил: новые соседи хотели эти самые газоны, а получились грядки...

С детства я знал, что в Кызыле не буду жить. После школы сразу уеду. И цель была – Ленинград. Опять же с детства я им буквально бредил и грезил. Собирал фотографии, репродукции картин с видами города, не мог оторваться от фильмов, где действие происходит в Ленинграде или императорском Санкт-Петербурге. Любил заочно, а потом и увидев, потрогав, и Дворцовую площадь, и слепые дворцы-колодцы. Учил наизусть не те стихи, какие задавали на уроках литературы, а те, что были о городе моей мечты.

Да, я люблю его, громадный, гордый град,
Но не за то, за что другие...

Лет в тринадцать я узнал о ленинградском роке. Стал искать в нашем, находящемся в стороне от всего нового, закрытом от большого мира хребтами Саянских гор Кызыле записи этого самого рока. Кое-что находил, в том числе, как узнал потом, раритеты вроде альбома «Все братья – сестры». И когда никого не было в квартире, я вместе с Гребенщиковым задумчиво-печально тянул: «Но пески Петербурга заносят нас и следы наших древних рук...» Или на пару с Цоем радостно-звонко общался стенам, книгам, шифоньеру, своему прыгающему в зеркале отражению: «Видели ночь, гуляли всю ночь до утра-а!»

На летних каникулах, да и на осенних с весенними, школа часто устраивала поездки куда-нибудь. Не бесплатно, конечно, но со скидками. То в Шушенское, которое от Кызыла в трех сотнях километров, собирали группы, то в Алма-Ату, в Иркутск, в Ленинград. Я просился у родителей в Ленинград, подкапливал деньги. Зачем мне Алма-Ата, зачем Иркутск, зачем в очередной раз в Шушенское, если есть Ленинград?..

Я застал еще открытый «Сайгон», толкущихся (слово «тусующихся» тогда не знал) возле него хиппи, панков, прочих неформалов; ходил на концерты в рок-клуб, просто гулял по городу один, а не в стаде экскурсантов. Сопровождавшие нас учительницы потом жаловались родителям: совсем никакой дисциплины!..

После десятого класса (а теперь надо уточнять, что до восьмидесят девятого года включительно была десятилетка) я провалил первый же экзамен в Новосибирский университет – уже и не помню, на какой факультет по настоянию родителей поступал, – и уехал в Ленинград учиться на штукатура-облицовщика-плиточника. Через три с половиной месяца загремел в армию. В декабре девяносто первого дембельнулся и приехал домой. Тогда было уже не до города мечты – рушились не только мечты, но и сама реальность.

Вообще-то всё это я уже описал и в книге «Нубук», и в книге «Лед под ногами», и в «Дожде в Париже», в десятках рассказов и повестей... Я писал для того, чтобы воспоминания стали не такими острыми, потери и ошибки не такими болезненными. И это помогало. До недавних пор. Потом те воспоминания, что, казалось, были надежно заключены в коробки книг, оформлены и упорядочены, стали вырываться, коробки лопаться. И нужно опять перебирать воспоминания, переоценивать.

В восемьдесят девятом другая страна, но правопреемницей которой стала наша (и та была наша, а теперь многие куски ее нам, оказавшим-

ся жителями правопреемницы, недоступны, от нас наглухо отгородились), уже потрескивала. Еще не очень пугающе. Потрескивала и Тува. Как камень-желвак, который долго разогревается, накаляется в костре, а потом взрывается так, что всё костровище – в разные стороны.

В сентябре я уезжал из одного Кызыла, а через два года и два с половиной месяца приехал в другой.

В общем, до отъезда в Ленинград я был уверен, что жил в городе хотя и с тюркским названием, окруженном азиатскими голыми горами, но по языку русском, а по культуре советском со слабой примесью тувинского колорита...

Мама, прочитав мою книгу «Дождь в Париже», где в основном о Кызыле, а не о Париже, похвалила, сказала, что многое очень точно описано, что поплакала над некоторыми эпизодами, а потом сделала важное замечание: «Плохо, что тувинцев у тебя нет совсем. Только упоминаются». Я, помню, согласился: да, это ошибка, и, может, если будет переиздание, дополню, впишу. А потом, поворошив в памяти тогдашнюю – в восьмидесятые, да и в начале девяностых – жизнь свою и своего круга, увидел: а тувинцев-то в нашем круге, в общем-то, и не было.

Вскоре после издания «Дождя...», осенью восемнадцатого, мы с женой уехали в Таллин. Ей предложили там работу. И я увидел: в Таллине многие русские живут отдельно от эстонцев. У них свои магазины, свои ресторанчики, свои парикмахерские (кстати, очень похожие на парикмахерские позднего советского времени), свой театр, свой литературный журнал, свои культурные мероприятия, свое телевидение, с куда большими советскими традициями, чем наше, российское... В общем, свой маленький русский мир у тамошних, часто говорящих с некоторым акцентом, давным-давно не бывавших в России, русских. Я вот ни слова (кроме воспетого Довлатовым «тере») не знал по-эстонски и ни капли этим не тяготился. А есть местные русские уроженцы, которые и без этого «тере» спокойно там живут, работают. Может, из-за этой слишком спокойной, удобной, а значит скучной жизни мы через полгода и вернулись в Россию.

Впрочем, сохранилось ли это «спокойно» теперь, когда Эстония рвет все связи с Россией?

В российских СМИ сообщают, что после двадцать четвертого февраля отношение к русским там изменилось. Но вопрос: к каким? Наверное, к России, а не собственно к русским. Русских-то туда за эти месяцы въехало полно – и из России, и из Украины. И украинцев, которые умеют разговаривать только по-русски. Да, российские телеканалы в Эстонии отключили, а как в бытовом плане? Всё собираюсь написать тамошним знакомым и никак не соберусь. Да и как спрашивать? «Притесняют вас эстонцы?» И вряд ли местные всё мне расскажут в соцсетях...

Да, свой круг, свои круги... Не так давно я прочитал новую вещь Андрея Волоса под названием «Мешалда». Вряд ли это роман в чистом виде, да и книгой «Мешалда» пока не стала – опубликована в журнале.

С Андреем Германовичем мы давно знакомы, выпивали вместе не раз, разговаривали, бывали вместе в поездках по России и за рубеж; бродили по Пекину, например... Объединяет нас то, что мы родом из национальных республик. Он из союзной, а я из автономной.

Волос родился и вырос в Душанбе – столице Таджикистана. Вернее, Таджикской ССР. И в «Мешалде» много воспоминаний... нет, точнее, тоже анализ прошлого... В общем, то, чем я пытаюсь заниматься сейчас... Я даже скопировал фрагмент, процитировал в своей рецензии

на эту вещь. Вот она, эта цитата, в ноутбуке на журнальном столике возле дивана.

...Позже нашу улицу переименовали, она стала улицей Бехзод. На первый взгляд хрен редьки не слаще. Но все же улица Бехзод была еще хуже улицы Лумумбы, потому что если в связи с Лумумбой у меня возникали ассоциации хотя бы народно-освободительного толка, то новое название не вызывало их вовсе. Мама говорила, что улица названа в честь какого-то таджикского художника. Мама всегда все откуда-то знала, а папа не знал, но мог залезть в энциклопедию и уже тогда бы знал, но я не уверен, что название улицы было достаточным поводом для наведения справок.

Что же касается нашего круга вообще, то в нем и вовсе никому не было дела до таких мелочей: мы жили в русском городе, ничто таджикское нас не интересовало, даже конголезское слово вызывало у нас больший интерес, нежели таджикское. И что Кемаль-ад-Дин Бехзад – персидский художник-миниатюрист пятнадцатого века, и что улица Бехзод – потому что таджикский язык окающий, я узнал позже.

Мне казалось, мы живем в русском городе, но на самом деле, конечно, русским был не город, а наш круг.

При этом – парадокс! – и сам наш русский круг был не совсем русским. Русские составляли в нем подавляющее большинство, это так. Но сюда же входили и татары, и лезгины, и якуты, и табасаранцы, и вообще кто угодно. Я бы не удивился, обнаружив в нашем кругу хоть бы даже чернокожих. Хоть бы того же Патриса Лумумбу.

Лишь таджиков в нем не могло оказаться.

Наш круг был не столько «русским», сколько «не таджикским».

Понятно, что таджики платили нам той же монетой и не худшей чеканки. В их собственном кругу все знакомы, каждого можно окликнуть. Всё свое, родное. А там – там какая-то плотная, вязкая каша: это они, русские.

Стоя на берегу, человек догадывается, что глубины моря полны жизни. Но у него нет и мысли породниться с ней – чужой и, вероятно, опасной.

Между нами не было любви, но и ненависти не стояло.

Ну вот так же и мы жили – раздельно. У меня в школьные годы был один приятель-тувинец – Артур Оксур, да и то потому, что мы с ним до восьмого класса учились вместе. Среди приятелей моих родителей тувинцев не помню. Коллег – да, но чтобы собирались за столом, вместе отмечали праздники – нет.

Но и раздельность, как оказалось, была зыбкая.

Пришло время, камень-желвак взорвался

Когда я вернулся в Кызыл в конце девяносто первого – русского круга там не увидел. Он распался, раздробился, осколки прятались по домам. За два года моего отсутствия произошло грандиозное: то, что теперь называют русским миром, почти исчезло. И дальше год за годом остатки его вымывались и вымывались. Теперь Тува в полной мере мононациональный регион. Несколько процентов нетитульных – так называемая статистическая погрешность.

Кто-то пожмет плечами и скажет: «Ну и в чем проблема? В Туве должны жить тувинцы. Логично?» Логично-то логично, но речь о моей родине, о пресловутых могилах предков: прадеда и прабабушки, бабушки, бабушкиных братьев и сестер, моих дядь и тетей, двоюродных, троюродных братьев. Пока остались еще те, кто следит за могилами, но скоро и они или умрут, или уедут.

Вехи памяти

Галина МУХИНА

Родилась в 1939 году. Окончила исторический факультет Уральского госуниверситета, аспирантуру по кафедре новой и новейшей истории Московского государственного педагогического университета им. В.И. Ленина.

Кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории Омского госуниверситета им. Ф.М. Достоевского до 2017 года.

Автор трёх книг и полусотни статей по истории и культуре. Живет в Омске.

«ИСКУССТВО ПОЧУВСТВОВАЛО СЕБЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ СИЛОЙ»

К 200-летию со дня рождения
художественного критика В. В. Стасова

Русский музыкальный и художественный критик Владимир Васильевич Стасов (1824–1906) открывал своеобразие нашей отечественной культуры через обнаружение в ней глубинных национальных черт. И прежде всего её народности и правдивости. Само время, связанное с Крымской войной, отменой крепостного права, литературным рассветом и общественным подъёмом – поднимало проблему национальной идентификации. Наконец, сама официальная доктрина (1833): «православие, самодержавие, народность», способствовала обращению к этому аспекту. Её создатель – С. С. Уваров, ставший министром народного просвещения, запечатлел в триаде особый национальный дух и особый исторический путь России, поскольку образованному слою русского общества необходима была национальная идея. Связал воедино национальное самосознание, веру и долг верноподданного перед самодержцем – ради укрепления Отечества, чтобы противостоять разрушительным процессам в Европе, переживавшей «падение религиозных и гражданских учреждений». Против «либеральных и мистических идей» он выдвинул «неприкосновенное святилище наших родных понятий», имеющих охранительное значение*. Так закладывались основы

* Уваров С.С. Государственные основы / Сост., предисл. и коммент. В. Б. Трофимовой / Отв. ред. О. А. Платонов. — М.: Институт русской цивилизации, 2014.

для воспитания национального самосознания (которое в 30–40-х было очень слабо развито) в системе образования.

Эта формула, однако, по мнению историка А. В. Пыжикова (1965–2019), учёного-новатора и общественного деятеля, подчёркивала преобладающее влияние Византии на русскую культуру в целом. А. В. Пыжиков утверждал: «Влияние это ощущалось в сфере религиозной и политической, где также преобладали религиозные основы. В повседневной же жизни разрекламированное церковное наследие оставалось всегда чуждым для коренного населения, питавшегося преимущественно фольклорными соками». Он убеждал, что критик Стасов разрабатывал «образ коренной России», считая, впрочем, что «сегодня его вклад в изучение народной жизни своего рода *terra incognita*». А во второй половине XIX века его «поиски русского идеала буквально взорвали интеллектуальную жизнь». Новизна идей «вводила в ступор официальные и славянофильские круги», шедшие под знамёнами «православия, самодержавия, народности». В противовес санкционированной доктрине Стасов «нащупывал тот остов, на котором выросла настоящая Россия, а не её правящая прослойка», обнажая «сердцевину коренного бытия». Так, Пыжиков, который изучал историю России ретроспективно, в последние годы увлёкся проблемой её дохристианского мировоззрения и воодушевлённо выступал с этой темой на разных каналах в интернете, обнаружил «неожиданного» Стасова, близкого ему по духу и темпераменту. И исполнил давнее желание критика издать в целом виде его «Происхождение русских былин»^{*}.

Богатое наследие Стасова позволяет насладиться его мыслью, обаянием личности, мастерством стиля. И важно отметить звучание и его слова, и его чувства, и глубину смыслов им открываемых в творениях авторов, убедительность доводов.

Стасов внедряет новый статус для художников – национальный, который определяет народностью и правдой. Так, в статье 1883 года «Перов и Мусоргский (1834–1882 и 1839–1881)» этот критерий применяется им в анализе и личности, и творчества обоих авторов, чтобы выявить, в чём заключена «вся их сила и талант» и чем они будут дороги потомкам. В созданиях этих авторов ему слышались «пронзительные ноты», щемящее чувство «негодования и боли».

В чём здесь у Стасова выразился критерий народности? Во-первых, объектом для обоих художников явился народ: они – «живописцы народа» – «во всей правде», «во всей суровости», даже «шершавости». В чём их «глубокая сила, оригинальность, новизна»? – Русский крепостной мир – «истинная сфера их совершеннейших созданий». Они полжизни были свидетелями крепостного права, ибо оба жили в глухой деревне, а полжизни посвятили его изображению. «Крестьянские типы, крестьянские сцены принадлежат к наивысшему» из всего, что только создано Перовым и Мусоргским. Мусоргский сам слышал вопли, скандалы помещиков, которые стенали о потерянных правах и разорении. В 1868 году, когда композитор изучал псковскую деревню, его восторг вызвал один мужик. «Очень умный, оригинально ехидный», словно «сколок» с шекспировского Антония. По мнению Стасова, их крестьянские типы – это смесь «добродушия, наивности, покорности, пригнетенности», а также – «ума, лукавства и едкой насмешливости»,

^{*} Пыжиков Александр. Неожиданный Владимир Стасов. – Владимир Стасов. Происхождение русских былин. М.: Издательство «Концептуал», 2019.

а сцены с ними у обоих художников – это лучшее из всего ими сделанного. «Сельским проводам покойника» Перова ни на йоту не уступает «Трепак» Мусоргского. Та же трагичность, глубина чувства. Та же щемящая нота повторяется в «Трепаке»:

Лес, да поляны, безлюдье кругом.
Вьюга и плачет, и стонет;
Чуется будто во мраке ночном,
Злая, кого-то хоронит.
Глядь, так и есть! В темноте мужика
Смерть обнимает, ласкает;
С пьяненьким пляшет вдвоем трепака,
На ухо песнь напевает:
<...>
«Горем, тоской да нуждой томимый,
Ляг, прикорни, да усни, родимый!
Я тебя, голубчик мой, снежком согрею...»

Оба художника выразили безысходные страдания бедных людей, «целая жизнь рассказана в их лохмотьях, позах, в тяжком повороте их голов, в измученных глазах». «Такие глубоко народные художники» не могли пройти мимо «глубоко народного типа “юродивого”», который играл «всегда слишком крупную роль в старой крепостной России». «Божий человек» Перова – одна из капитальных его картин. «В рубище, босоногий, всклокоченный, покрытый тяжелыми железными веригами», «в позе и с жестом полубезумного», с «помешанным сверкающим взором», произносящий какие-то странные речи. Юродивый Мусоргского в «Борисе» тоже «жалок», «чуден», «с безумием в голосе», жалобно поет: «Месяц едет, котенок плачет, юродивый, вставай, Богу помолися, Христу поклонися!» Та же фигура, что и у Перова, только возвышенная «до трагизма, до истинной патетичности».

И монахи у них – тоже национальны, ибо «принадлежат к одному и тому же народу» – при всём разнообразии характеров. Так в «Часпитии в Мытищах» Перова – «под видом жирного красного здоровяка», на пути к Троицкому монастырю отдыхающего под тенью деревьев за самоваром. Традиционно же было принято изображать духовенство как «благодушных, елейных пастырей», только «чистыми, светлыми голубицами, помышляющими только о небесном». Но после Пушкина и его гениальной «Сцены в корчме», после Гоголя и его сцен с дьячками, попами и монахами, какими всякий их видел в действительной жизни, особенно в глухих углах России, – немыслима была прежняя односторонность. Варлаам в «Борисе» – «широкая и многообразная личность», никак у Перова – это «натура могучая, богатырская... прожигавшая жизнь, закаленная в вине и разгуле». Его жадность, дикость, дремучесть, сила – находит своё выражение в песне «Как во городе было во Казани».

В неоконченных произведениях: в картине «Никита Пустосвят» Перова (где есть «истинные шедевры национального характера» – как воплощение силы, мужества, энергии) и в опере «Хованщина» – оба высказались о столкновении эпохи стрелецких бунтов и русского раскольничьего мира. Мусоргский шире Перова, глубже, с талантом исторического видения: в «Хованщине» – народная масса, народные страсти и вождь раскольников Досифей – «пламенный и осторожный фанатик, патриот, светлый ум и раб старых народных преданий». Оба творца

с интересом относились к пугачевцам, но оба в конце жизни повернули в чуждую сторону – вопреки своему призванию.

Мусоргский внёс в русское искусство «нераздельное соединение слова и музыки, правду интонации, доведенной до наивысочайшей степени естественности и жизненности». Он сумел выразить русскую национальность «во всех ее глубочайших реальных чертах», а его комические сцены составляют «венец и торжество творчества».

И в его романах представлены все слои русского общества: крестьянский, дворянский и средний; мужчины и женщины, старые и молодые, взрослые и дети, няньки и семинаристы, полководцы и юродивые. Любовь как главный мотив большинства композиторов почти или вовсе отсутствует. На сцене всегда «важное, глубокое»: то трагическое, то поэтическое и картинное, то насмешливое.

Позднее Стасов вновь вернулся к Перову и отметил его «глубоко серьезное» настроение, полное негодования от событий, которых многие не замечали. У него «целые толпы русских типов», реальные лица и сцены. Его натура – как у Гоголя, и тоже с двумя главными нотами: юмор и трагедия. Из лучших его картин – «Деревенские похороны», «Тройка» – как «грозная суровая трагедия». Однако у него же есть и целая галерея русских людей, мирных, беззаботных, – птицеловов, рыболовов, охотников: только бы птицу на дудочку поймать, рыбу из воды вытащить, зайца догнать. Но это тоже «темное царство» на разных ступенях русской жизни, простые картины русских нравов, но только от этого «“наивного” юмора... в этих картинах едкое жало».

Понимая необходимость создания русской музыкальной школы, Стасов отстаивал право на национальную самобытность. Его задевало, что во главе консерватории стояли директора, ничего общего не имеющие с настоящей русской, народной музыкальной школой. Здесь «высокомерно» игнорировали русскую музыку и называли русских композиторов «дилетантами». Отсюда – его поддержка Бесплатной музыкальной школы, верной наследию Глинки и Даргомыжского. Считая, что европейцы не могут «схватить настоящий склад, дух и характер истинно русского музыкального создания», искажают его, он находил в исполнении хора и оркестра этой школы истинный канон для всей русской музыки. Читл Балакирева и Римского-Корсакова как композиторов, руководителей этой школы, дирижеров концертами, издателей сборников русских песен «из уст самого народа» и в гармонии «с глубоким пониманием русского музыкального духа».

По инициативе В. В. Стасова и М. А. Балакирева Бесплатная музыкальная школа была основана в 1862 году Г. Я. Ломакиным (1812–1885) по типу воскресных общеобразовательных школ, в большом числе возникших тогда в России, с целью распространения музыкального образования среди широких народных масс. Её учащиеся набирались из малообеспеченных слоев населения. Сначала школа давала чисто хоровые концерты под управлением Ломакина, выдающегося хорового дирижера, педагога и композитора, руководившего до того знаменитым шереметевским хором. С 1863 года главой школы стал также и Балакирев, занявший потом пост директора (1868–1874 и 1881–1908). Балакирев начал устраивать симфонические концерты, ставя своей задачей пропаганду произведений Глинки, Даргомыжского, членов «Могучей кучки», а также классики и новых сочинений зарубежных композиторов.

В. В. Стасов благословил ломакинскую школу, которая призвана была стать народной по составу – «из трудящегося класса» (где есть

швея, портниха, горничная, шляпница). Он писал: «Пусть только она перестанет быть исключительно барскою, господскою. Не много нужно стараний и хлопот, чтобы все классы общества уравнились». Но главное для критика – быть верным своему времени и национальному вкусу, отказаться от подражания чужому, от традиций исполнения XVIII века – с его мягкостью и нежностью, нескончаемыми адажио, расплывающимися пианиссимо, «от которых млели чувствительные сердца маркизов с золотыми табакерками и падали в обморок маркизы в роброндах». Потому что «более здоровому и крепкому поколению нынешнего времени» та музыка не подходит, не трогает его, возбуждает «скуку и утомление», она кажется ему «вялою, невыносимою, надоедающею» – из-за «условности и школьной формы», «разнеженной сладости, чувствительной приторности», из-за отсутствия «огня, жизни и энергии». Надо исполнять свою музыку, создать «самобытные исполнительские таланты», только так хор почерпнет «всю настоящую силу, вдохновение и своеобразность». Он говорил «прощай» расслабляющему изяществу аристократической музыкальной культуре прошлого столетия – последнего века торжествующего дворянства – во имя народного энергетического созидającego искусства.

Руководство М. А. Балакирева и Н. А. Римского-Корсакова обеспечило школе громадную положительную роль в деле пропаганды русской реалистической и лучших образцов западноевропейской музыки. Ссылаясь на статью П. И. Чайковского, Стасов подтверждал особую роль Балакирева на поприще русской музыки, который считал русский народ музыкально богато одаренным и потому способным внести лепту в общую сокровищницу искусства и для которого Глинка являлся великим образцом русского художника. Его оперу «Руслан и Людмила» он поставил в Праге – для представления русской музыки иностранцам.

Самыми великими, могучими из опер у Римского-Корсакова он считал «Псковитянку» (1868) и «Снегурочку» (1882). Это Древняя Русь, ее народ, разнообразие характеров, событий, картин и сцен возносятся «до высочайшей степени... силы, красоты и талантливости»: вече, встреча и въезд Ивана Грозного, хор «трепещущего народа», волшебная сказка няни, горелки; проводы Масленицы, явление Весны, хор гуслиаров, заклинания Купавы, умирание Снегурочки, хор Яриле, «огненная» пляска скоморохов.

Оперу Бородина «Князь Игорь» он оценил как «одно из величайших чудес нашего века», соглашаясь с А. Сувориным, который по её общественному, народному драматизму ставил рядом с творением Глинки «Жизнь за царя», называл патриотической, близкой сердцу каждого русского, ибо её патриотизм считал естественным, необходимым и благородным. Ничего выдуманного – всё взято из «Слова» и русской летописи. Здесь та же «мощь эпической поэзии», «грандиозность» народных сцен и картин, «изумительная живопись характеров» и, наконец, «народный комизм». А в его «Богатырской» 2-й симфонии слышится бой, могучие удары богатырского меча, поэтическая песнь гуслиара, а в финале – «светлый, сияющий, великий пир и праздник народный».

Считая М. Глинку создателем целой русской музыкальной школы, Стасов выдвигает на первый план проблему национальную. Тогда были только «отдельные признания национальности в музыке» – великие немецкие авторы (Моцарт, Вебер, Мейербер). Немцы же долго оценивали Глинку и его последователей только с общемузыкальной стороны, со стороны таланта, общепринятых законов и преданий.

Но дело не только во «внешнем, поверхностном» обращении к народным темам, теперь речь идёт о способности «выражать истинный народный дух», его глубины, правду, красоту. Это как способность и потребность, по мнению Стасова, раньше всего в наш век проявилась у славян: русских (Глинка) и поляков (Шопен). И будущее музыкальных школ критик связывал прежде всего с национальной музыкой, рассматривая её как «надежный, несокрушимый источник», который уходит корнями своими к народным мелодиям. И отныне, считал критик, «народность» царит в музыке и «заняла такое прочное место, которого не покинет, конечно, никогда уже более». (Но верна поговорка: никогда не говори никогда, если учесть современные «музыкальные» потоки, подчас лишённые своих корней.)

Глинка, выросший на народной песне, обладал богатым материалом «истинно народного настроения и истинно народного выражения, истинно народной формы, какого нигде почти уже более не было». Отсюда «великие чудеса» гения. В опере «Жизнь за царя» главное – во второй её половине. Здесь убедителен Сусанин как личность. А ещё более «истинный народный элемент» – в чудных русских хорах: мужских и женских (особенно женский хор: «Разливалась, разгулялася»). И в полных драматизма польских хорах, в их изящных танцах, в изображении русской зимней выюги и особенно – в «гениальном, совершенно беспримерном во всей музыке, мощном и величественном хоре с колоколами “Славься”».

Глинка – «гениальный эпик», это одно из поразительных явлений его натуры. Во всей своей жизни он не проявлял этого «великого своего дара, своего глубокого понимания истории, своей страсти и любви к ней». Повсюду только довольно обыкновенный, посредственный русский патриотизм, какой у Собинина, Вани и даже самого Сусанина. Но среди этой ординарности – «вдруг колоссальные, исторические картины древней Руси», какими дышат хоры – «несравненное, великое» «Славься». И картины, которыми наполнена вся его опера «Руслан и Людмила», – «с глубочайшим постижением русской народности, с глубочайшим выражением истинного русского духа и колорита, особенно в древнюю, языческую, даже доисторическую эпоху Руси, – вот что истинно непостижимо и неожиданно». Лирические сцены задумчивого богатыря на поле давно отгрохотавшей битвы, «глубоко народные сцены древней языческой свадьбы, древнеязыческих похорон, сцены древних восточных плясок и русского волшебства» (колдовство Финна и Наины) – нет ничего подобного во всей всемирной оперной литературе.

Для Стасова важен критерий историзма, историческая правда, её широкие горизонты. По оценке критика, русский народ – один из самых музыкальных в мире и славился этим с глубокой древности, на что указывают древнейшие наши летописи. «С гусями в руках приходят русские, славяне к иноземным народам и тем поражают их». У этого «чудного музыкального племени» сохранились чудные народные песни, пережившие бедствия, иноземные нашествия, порабощения, перевороты. Сквозь столетия русский народ – «непоколебимый и непотрясаемый», пронес свою народную песнь «в целости и ненарушимости». Почти повсюду в Европе она померкла, лишь у русских и скандинавов «уцелела во всей силе и славе своей, лишь у них одних она сохранилась по настоящую минуту в устах самого народа и звучит в его устах немолчной, неудержимой и страстно любимой в продолжение всей жизни, от первых дней рождения и до смерти; она сопутствует этим

двум национальностям во всех их делах и работах: и в деревне – и в городе, и на пашне – и на люльке штукатур и маляра вверх стены под кровлей, и в кузнице, и за прялкой, и на фабрике, и на свадьбе, и на штурме, около знамени, перед смертью или победой». Это «ненаглядное сокровище» – народную музыку – русский народ иногда защищал «с такой страстью и энергией, с какой, быть может, никакой другой народ и никогда».

Стасов любил XIX век – за его быстрые скачки, разнообразие, обновление. И, конечно, за создание русской национальной культуры и её школ. «Первым проблеском» взлёта русской живописи ко второй половине XIX века Стасов считал П. А. Федотова. «Свежий кавалер» – это настоящее чудо: какой-то «странный» отставной военный написал «такую оригинальную, необыкновенную, талантливую картину» и стал вскоре родоначальником жанра бытовой русской живописи. Хотя он «очень мало знал и читал», не был знаком с голландцами, с Хогартом, однако стал его продолжателем. Его учила «сама натура и жизнь русская», начиная с юности. «Юмор, едкость, чувство правды, глубокая наблюдательность, меткость», умение композиции, способность писать – всё это соединялось в нем – «прирожденно», «просто и естественно». По иронии судьбы Федотов создавал красками то, что живописал Гоголь «огненным словом», хотя не любил и не понимал Гоголя, от которого тогдашняя Россия сходилась с ума. Быть бы ему художником второстепенным, живописцем-моралистом, если б не «Свежий кавалер» и «Сватовство майора». Здесь «глубоко и сильно» представлено «то самое “тёмное царство”», которое потом выедет на сцену А. Островский. В лице закоренелого чиновника 1830-х годов, которому только бы «денег да крестик» (он – в халате, босиком, в папильотках, с орденом на груди – олицетворение злости, чванства, бездушия). А в другой картине – солдафон 1830–1840-х годов, где столкнулись два лагеря (майор и купеческое семейство с перерзрелой невестой), враги – «бездушные, огрубелые, пошлые и свирепо эгоистичные», готовые «надуть друг друга». Народность здесь присутствует – в правде и в справедливости.

В истории русского искусства, по мнению Стасова, особо отметилось «Товарищество передвижных выставок», созданного для того, чтобы самим вести художественное дело. Ему предшествовало создание артели молодых художников, решивших покончить с Академией, работать сообща и делить общий барыш. И тогда родилось «нечто новое, прежде небывалое – *характер и самобытная мысль* для управления жизни». Потерялся престиж заграничных поездок и наград, ушла апатия и покорность, появилась сплочённость – «искусство почувствовало себя общественной силой». Случилось по Толстому: простились с «идеальностью». Как сказано в «Войне и мире», «презрение ко всему условному, искусственному есть *исключительно русское чувство*». В самом факте существования Товарищества Стасов увидел здоровую «потребность правды», проявление реализма и национальности, освобождение от предрассудков. Реализм и национальность отразились в выборе сюжетов. Свобода художника естественно, как растение к солнцу, поворачивала к национальному. По Стасову, есть различия между народностью «казанной и официальной» (охранительной формулы С. С. Уварова: православие – самодержавие – народность, как это сложилось при Николае I) и «настоящей», рождающейся в художнике, когда ему никто не мешает. Наша художественная национальность 1850-х вела своё начало от той, которая была уже в творениях Грибоедова,

Пушкина, Гоголя: литература опережала живопись и вела её за собой. А вместе с тем, новое русское искусство находило собственные темы – независимо от литературы. Новым становилось и пространство: в искусство вливалась провинциальная Россия. Возникало новое истинное русское искусство – национальное искусство свободных художников. Национальность касалась всех слоёв и классов общества и для всех мест. Большинство новых художников вышло из народа, они знали его жизнь, и в этом была их сила. Для искусства важно не только прекрасное, а всё, что интересно для человека в жизни. Одно упущение: следовало включить в устав Товарищества пункт о бесплатном доступе, хотя бы на несколько дней, на его выставки, которые проходили в русских городах.

Демократический взгляд Стасова был обращён и к выбору тем художниками. Напрасно передвижников обвиняли, считал критик, что они «вечно только и знали, что деревню да мужиков!». У них были представлены «все классы русского общества». По преимуществу русский народ состоит «не из больших людей, а всего более из маленьких, не из счастливых, а из бедствующих», и потому большинство в русских национальных картинах должны быть «не Данты и Гамлеты, не герои и шестикрылые ангелы, а мужики и купцы, бабы и лавочники, попы и монахи, чиновники, художники и ученые, рабочие и пролетарии, всяческие “истинные” деятели мысли и интеллекта». Критерии широкого охвата действительности критик черпал из литературных достижений. И настаивал, что русское искусство призвано отражать социальную жизнь, как это делает «великая, правдивая и талантливая русская литература».

И. Е. Репина критик выделял особо: он создал такую галерею своих современников, с бесконечным разнообразием народных классов, что превзошел в этом всех товарищей. В его портретах – широкий диапазон персонажей: «начиная от простых, но замечательных русских мужиков и восходя до гениальной личности Льва Толстого», переданной им «с неподражаемым совершенством и глубиной». Кажется, как никто и никогда «с дерзостью смелого починателя» он попробовал изобразить «творчество и работающую, внутри головы, мысль великого человека», как и «огненными чертами» запечатлел Листа и Глинку. У него совершенно свой, особенный взгляд и чувство «в постижении и передаче масс людских», в чём он встречается только с Верещагиным. Главная задача их творчества – это хоры: им важен масштаб масс, «с их жизнью и душевными движениями, с целыми прожитыми годами, отразившимися на лице и всей фигуре», и в этом проявляется их главное значение. Отличительная черта созданий Репина – «сила и грандиозность». Мелкие события и сцены, мелкие личности и мелкие сюжеты – совершенно вне его натуры. Это «Самсон русской живописи». Ему нужны «широкие, далеко простирающиеся горизонты». Но он способен выражать с силой и глубиной только то, что видел «собственными глазами, что испытал собственной душой». Воображение никогда не помогало ему в лучших его созданиях. Изображать то, чем ты сам был однажды глубоко потрясен, собственное свое душевное движение – верный путь к тому, чтобы потрясти и тронуть других.

«Бурлаков на Волге» Стасов считал «одною из самых замечательных картин русской школы, а как картина на национальный сюжет – она решительно первая из всех у нас». Ни одна другая не может сравниться с нею «по глубине содержания, по историчности взгляда, по силе и

правдивости типов», «по своеобразию художественного исполнения». «Важнее и глубже задачи никто еще из русских живописцев не брал». «Скотоподобное порабощение простолюдина, низведение крестьянина на степень рабочей лошади, тянущей лямку бечевы, и это в продолжение долгих столетий, – вот мысль картины», да ещё выполненная «с каким блеском и талантом!». Даже внешность исполнения – поражала не только русских, но и иностранцев. Немецкий художественный критик Пехт писал: «Бурлаки» – это «самая солнечная картина» Венской всемирной выставки (1873). Стасов писал пронзительнее: «под этим-то раскаленным солнцем... целая толпа несчастных каторжных, но каторжных “по своей воле”, “по добровольному найму”, тяжело шагают, в своих лохмотьях, по берегу Волги» («людская мозаика с разных концов России!») Но только это были «не элегические, плаксивые и жалующиеся бурлаки Некрасова, с “мерным похоронным криком”, те, “чей стон у нас песней зовется”, – нет, это были могучие, бодрые, несокрушимые люди, которые создали богатырскую песню “Дубинушку”: “Эй, ухнем, эй, ухнем, ай-да, ай-да”, – под грандиозные звуки которой, быть может, еще много поколений пройдет у нас, только уже без бечевы и лямки». Репин создал «великую, истинно историческую русскую картину»: вместо «академических приемов и фальши» – это настоящая правда жизни, за которую Репин долго подвергался преследованиям «за “неизящество” типов, за “грубость” натур», взятых для картины, «за бедность, лохмотья». В этом многослойном разборе репинского шедевра критик показал нерасторжимую связь современности с бытовой и песенной традицией, с целостностью русского ментального склада.

Его «Протодьякон» (1877) – «опять нечто равное “Бурлакам” по могучей силе постижения и передачи», без прикрас и идеализаций, это «не отвлеченная какая-то личность, а человек плоти и крови, выращенный целой жизнью, отпечатавшейся на всем существе его»: «лицо с поднявшимися бровями, эти глаза с бесконечным выражением животности, разгульности и лукавства, эти развевающиеся космы седых волос и бороды, этот широкий костюм, как у венецианского патриция, эта жирная рука на чреве, этот жезл, сжатый кулаком другой руки», что «чувствуешь, как прошли пятьдесят-шестьдесят лет жизни этого человека». «Такое изображение души и натуры, такая психология, такая глубокая живопись – торжество и венец искусства».

Критика глубоко потрясло живописание В. В. Верещагиным войны на Балканах. Это «живописец мужчин и, по преимуществу, мужчин взрослых». Солдаты у него – «все тот же народ, только случайно носящий мундир и ружье», «ни на единую минуту не прекращавшие жить народной жизнью люди, как солдаты графа Льва Толстого». У него – «искренняя, ни с чем не сравнимая любовь к человечеству вообще и к народу в особенности», «непреклонная ненависть к официальной лжи и квасному восхвалению», «глубоко человеческое сердце, не желающее различать “своих” от “чужих”», когда речь идет о «бог знает за что измученных и исковерканных жизнях». Он – «один из самых истинных, самых необыкновенных “историков” нашего времени». В Европе его громко признали «апостолом человечности» и «пламенным проповедником против варварства войны». Когда началась болгарская война против Османской империи, Верещагин бросил Париж, мастерскую и индийские сюжеты – и полетел на войну, участвовал в сражениях и писал этюды с живых сцен. Лучшие картины из болгарской войны – «это самое зрелое, это самое совершенное, это самое трагическое, это самое

потрясающее», что только он создал. Исчез этнографический элемент, он преобразился в историка. «Ужасы войны, зверство и дикое остервенение в минуты боя; невыразимые страдания невинных, посланных на убой жертв; добродушие и наивность этих жертв»; «геройство и простота души; целые поля убитых и изуродованных; целые тысячи раненых»; «обозы искалеченных»; снеговые равнины, где замерзали медленной смертью сотни и тысячи «брошенных и раненых»; все это написано «из глубины души, потрясенной до самых корней», – такого еще «никогда никто не писал в Европе». Его выставки в городах Европы стали триумфами, среди зрителей – толпы крестьян и солдат.

Стасов связывал с правдой и правду истории, и правду характеров, и нравственную правду. Анализируя картину Н. Н. Ге «Петр и Алексей» (1871), критик ставит под сомнение его взгляд на историю: взгляду победителя (Петра) он противопоставляет «взгляд потомства», непредвзятый, не зависящий от ореолов и величия. Здесь происходит драма: сошлись отец и сын, две крайности. Грозный царь – это «сама энергия, непреклонная и могучая воля», уличивший царевича в измене, ставшего ему врагом. Царевич перед ним – «длинный и тощий, настоящая фигура тупого, узкоголового дьячка» – несмотря на черный бархатный богатый наряд; с поникшей головой, ничтожный, презренный. Но критик взывает к справедливости: «Даром, что он великий человек, даром, что Россия ему всем обязана, а все-таки дело с Алексеем – одно из тех дел, от которых история с ужасом отвращает свои глаза». Петр I – «великий, гениальный», но деспот к своему сыну. Обе фигуры – глубоко трагические, не понимающие друг друга, с разными взглядами, но сцена требует другой трактовки. Даже если художник выбирает точку зрения Петра, энергичного и деятельного – в противовес сыну, который хочет «покоя и бездействия», не следовало бы останавливаться на некой средней ноте, то есть представлять из апофеоза силы – «торжествующую силу» в виде некой жертвы, что не отвечает жестокому нраву Петра. «Значит, на допросе сына он был либо формален и равнодушен, либо гневен и грозен до бешенства». И в этом случае Стасов требует соответствия правде – правде самого характера героя.

Свою миссию Стасов видел не только в разработке критериев народности и самобытности художественной культуры России, но и в том, чтобы добиваться понимания и признания её достижений в профессиональной среде и публике – отечественной и зарубежной. Так ему пришлось отстаивать русские картины В. М. Васнецова, столкнувшись с равнодушием даже отечественных художников к его «Богатырям» (1898), когда даже за рубежом подчас стали понимать лучше, что такое русская национальность в искусстве, чем у себя дома. Хотя Стасов не одобрял его поворот от жанровой живописи к русско-волшебным, сказочным сочинениям, так как они были «неудачные выдумками и слабо написанные» картины, его глубоко огорчило невнимание публики к выставленным «Богатырям». Его «Богатыри», парировал он нападки, несут «не только одно впечатление силы и кровавых будущих расправ», но и «впечатление благодати, великодушия и добродушия», которыми полон более всего сам Илья Муромец на вороном могучем коне и во всеоружии – «главная срединная фигура»: смотрящий вдаль, «кого разить». Его будут слушаться оба товарища: Добрыня с длинным славянским мечом, на белой шустрой лошаденке, и Алеша Попович, «бабий пересмешник, лукавый и красивый», с луком, плетью и гусями, что не смотрит вдаль, не думает о богатырских делах, а о своих

собственных. Трое едут «перед нами, словно прямо на нас, и для нас, и за нас, по важным историческим делам и задачам». «Богатыри» – это пара «Бурлакам»: в них – «вся сила и могучая мощь русского народа». Но одна сила – «угнетенная, еще затоптанная», а другая – «торжествующая, спокойная и важная» – никого не боится и делает по своей воле, что нужно для народа.

О критерии правды Стасов писал в письме М. Горькому 14 июня 1905 года, различая характер типов и действия драмы «Дети солнца». Если типы – верные, а действия просто нет: какая же это «драма жизни». «Настоящая жизненность» здесь – только раз: в сцене народного волнения и выраженная метким, правдивым языком. Другое дело – смерть малоросса, сумасшествие Лизы – неправдоподобны, придуманы. И ещё: он восхищался Букоемовым, который вместе с другими его со-зданиями, дышит «жизнью, правдою и верою в солнечное будущее человечества», невзирая на нынешний «ужас и безобразие». Для Стасова важно, что Горький создал великую галерею людей – «измученных, испорченных, страдающих, но тянущихся к Солнцу». Так романтическая устремлённость его героев, столь характерная у романтиков: Байрона и Гюго, – оказывается самым существенным принципом правдивости.

В. В. Стасов, будучи выразителем и защитником русской ментальности, требовал того же от художников. Главным мерилом художественной критики он считал народность, которую связывал с отстаиванием исторической правды, общинности, справедливости и свободного творчества – во имя утверждения, укрепления и развития национально-го духа. Сам своими трудами создавал новое ошеломляющее видение – истинную, невыдуманную Россию, которую любил, ценил и которую следовало беречь, отстаивать, не давать в обиду, хранить как бесценное сокровище.

Руслан СЕМЯШКИН

Родился в 1983 году в Симферополе. Окончил Таврический национальный университет по специальности «история» и Одесский региональный институт государственного управления.

С публицистическими статьями и очерками печатался в журналах «Наш современник», «Простор», «Литературный Азербайджан», «Памир», «Политическое просвещение», «Известия СКП-КПСС», в газетах «Правда», «Советская Россия», «Литературная газета», «Литературная Россия», «День литературы», «Красная звезда» и других.

Живет в Симферополе.

«НАМ БЫЛО ТОГДА И ПО ДВАДЦАТЬ ЛЕТ И ПО СОРОК ОДНОВРЕМЕННО»

100 лет со дня рождения Юрия Бондарева (1924–2020)

Юрий Бондарев... Это имя хорошо известно всей читающей России, и представлять его нет большой надобности. И тем не менее в год столетия со дня его рождения, до которого он не дожил всего четыре года, поразмышлять о творчестве этого выдающегося писателя, о нем самом, гражданине, патриоте, мыслителе, все же необходимо.

Сейчас, когда наша страна продолжает свою битву с силами коллективного Запада, задумываясь о Бондареве, убеждаюсь в том, что мое восхищение широтой и глубиной, многогранностью его личности не ослабевает. Прекрасно осознаю, что всего, в полном объеме, с исчерпывающими рамками охвата и постижения им созданного духовного и нравственного капитала, выразить на бумаге не представляется возможным. Настолько велико и значимо его печатное слово. Да и восприятие произведений, при всех их бесспорных художественных достоинствах, не может быть одинаковым. Ведь по большому счету у каждого свой Бондарев. Свой в постижении его сюжетных ходов и линий, его порой очень и очень неоднозначных и противоречивых героев, в его авторском отношении к ним, в его понимании задуманных и выбранных тем.

О том, как он стал писателем, Юрий Васильевич рассказывал: «Помню: осенний дворик, моросящий дождь, низкое небо, стук капели по железу, запах ремонта – сырой извести и какое-то грустное волнение как предощущение чего-то. Или зимним вечером возвращаюсь из школы и неотрывно смотрю на белые рои снежинок, медленно плывущих в длинных конусах света от фонарей. Теперь мне кажется,

что стремление передать все это, смутный толчок к писательству возник именно тогда, в детстве, в замоскворецких переулках».

Но между школьными годами и тем моментом, когда Бондарев воплотит в жизнь так рано проснувшийся в нем интерес к литературному творчеству, была война, сыгравшая решающую роль в становлении будущего корифея русской советской литературы.

По-другому быть не могло, ведь и Юрию Васильевичу, родившемуся в 1924 году, да и всему тому славному поколению, к которому он принадлежит, было суждено пройти самое суровое, самое безжалостное, бесчеловечное, жуткое испытание. И, буквально со школьной скамьи, пройти его без подготовки, не имея за плечами никакого жизненного опыта, необходимых знаний и закалки. У них не было на все это времени – будучи, по существу, мальчишками, им пришлось взрослеть и мужать в небывалой доселе в мировой истории, величайшей битве добра со злом, развернувшейся на их родной земле, земле их отцов и дедов. Но при этом, проявляя беспримерные образцы мужества, героизма, стойкости, воли и выдержки, им суждено было сформироваться в высоконравственных граждан, патриотов, созидателей. Однако не многим им, родившимся, как и Бондарев сто лет назад, суждено было вернуться домой после окончания той страшной войны.

В одном из лучших своих романов «Тишина», переносящим нас в первые послевоенные, мирные дни, двое молодых героев: один – сержант, ставший инвалидом, другой – вернувшийся в Москву капитан-артиллерист Сергей Вохминцев, встретившись у буфетной стойки, обмениваются такими, в полной мере относящимися к самому автору словами:

- А ты капитан? Когда же успел? С какого года? Лицо-то у тебя...
- С двадцать четвертого, – ответил Сергей.
- Счастли-и-вец, – протянул Павел и повторил твердо: – Счастливцев...

Повезло.

- Почему счастливцев?
- Я, брат, по этим врачам да комиссиям натаскался, – заговорил Павел с хмурым веселостью. – «С двадцать четвертого года? – спрашивают. – Счастливцев вы. К нам, – говорят, – с двадцать четвертого и двадцать третьего редко кто приходит.

К поколению Сергея Вохминцева принадлежали и другие самые лучшие, полюбившиеся с первого прочтения герои писателя, те герои, с образами которых прочно ассоциируется и сам Юрий Васильевич. Это капитан-артиллерист из повести «Батальоны просят огня» Борис Ермаков, командир батареи из «Последних залпов» Дмитрий Новиков, бывший командир роты, а после войны инструктор автоклуба Алексей Греков из повести «Родственники», лейтенант Кузнецов из романа «Горячий снег», командир артиллерийского взвода Вадим Никитин из знаменитого «Берега», командир взвода разведки, лейтенант запаса Александр Ушаков из романа «Непротивление».

Свои ранние повести, принесшие ему известность, бывший фронтовик, получивший ранение на подступах к Сталинграду, командир противотанкового орудия, по меткому выражению критика Ю. Идашкина, «мальчико без биографии», с одними воспоминаниями детства, и одновременно – суровый многоопытный мужчина, крещенный в огненной купели», Бондарев, заметивший однажды, что «нам было тогда и по двадцать лет и по сорок одновременно», – писал, вновь погружаясь в незабываемые годы героического и трагического противостояния,

пережитого им в военное лихолетье. «Повести “Батальоны просят огня” и “Последние залпы” родились, – вспоминал Юрий Васильевич, – я бы сказал, от живых людей, от тех, которых я встречал на войне, с которыми вместе шагал по дорогам сталинградских степей, Украины и Польши, толкая плечом орудия, вытаскивал их из осенней грязи, стрелял, стоял на прямой наводке, спал, как говорят солдаты, на одном котелке, ел пропахшие гарью и немецким толлом помидоры и делился последним табаком на закрутку после танковой атаки».

Так, на пережитом, навсегда врезавшимся в память огненном материале, Бондарев и прокладывал свой путь в литературу. Вне всякого сомнения, на этом тернистом пути ему повезло. Но везение не было случайным. Был напряженный труд, первые пробы пера, выбор и осмысление своей тематики, своего нового писательского слова, кропотливый учебный процесс. В Литературном институте, куда он поступит в 1946 году, его также повстречает большая удача – он попадет в творческий семинар под руководством одного из крупнейших писателей своего времени К. Паустовского.

При всей несхожести прозы этих двух мастеров отечественной литературы, при полном различии их творческих подходов ученик все же многое воспринял и от своего учителя. С благодарностью вспоминая о тех уроках, Бондарев скажет: «Некто скептический, прочитав книги Паустовского и мои, мог бы заключить, что учеба у него мало что мне дала, поскольку писательские манеры наши весьма далеки одна от другой. Но Паустовский сделал для меня чрезвычайно много: привил любовь к великому таинству искусства и слова, внушил, что главное в литературе – сказать свое. Вряд ли можно требовать от учителя большего».

Благодаря прозорливости блестящего наставника и настоящего мастера, а именно так, под именем «Мастер» напишет свои воспоминания о нем Бондарев, молодой писатель придет к четкому пониманию того, что «главное в литературе – сказать свое». Этой непростой задаче он и посвятит всего себя как писателя, страстного публициста, а позже, в самое трагичное время разрушения великой страны, предательства продажной верхушкой интересов миллионов соотечественников, – и как философа-патриота, мыслителя-борца. По пути подлинного служения Родине, народу, великой русской культуре и литературе Юрий Васильевич продолжал идти до последней своей весны 2020 года.

В чем же заключалось это «свое», заставившее Бондарева преодолеть все сомнения и колебания, отказавшись от учебы в авиационно-технологическом институте, вступая на незнакомый для него литературный путь? На первый взгляд – желание, духовная потребность, гражданский долг перед своим поколением, перед товарищами по оружию, не вернувшимися с войны, перед будущими поколениями, рассказать о горячих боях, танковых атаках, драматизме и беспримерном героизме, пережитыми в годы Великой Отечественной. Но более внимательный подход позволяет заметить, что это изначальное впечатление неполно. Хотя бы уже потому, что самое раннее большое произведение писателя – повесть «Юность командиров», увидевшая свет в 1956 году, – фактически повествует о буднях советских воинов, офицеров артиллерийского училища. Затем будут написаны и замечательные роман и повесть, события в которых развиваются в первые послевоенные годы – «Тишина» и «Родственники». Следовательно, Бондарева никак нельзя считать представителем исключительно так называемой военной прозы.

Позвольте, скажут многочисленные поклонники творчества Бондарева, ведь и названные выше «Юность командиров», «Тишина», «Родственники», а также «Берег», «Выбор», «Игра», «Непротивление» – разве не пронизаны они военной тематикой? Неужели в них не присутствует война в самых характерных ее проявлениях? Или главные герои – Вохминцев, Греков, Никитин, Васильев, Крымов, Ушаков – не были ее непосредственными участниками? Или, может быть, в своеобразной трилогии о судьбах художников и о советской действительности второй половины XX века – романах «Берег», «Выбор», «Игра» – нет «военных» глав, имеющих самостоятельную, по существу автономную от основного повествования направленность, но в действительности неразсторжимо с ними связанных?

Да, во всех этих произведениях правда о войне через все пережитое героями этих творений, через их чувства, через духовно-нравственные испытания и поиски, заявляет о себе не менее основательно, чем и в сугубо военных вещах – в повести «Последние залпы» и романе «Горячий снег». И все же даже с учетом того, что Юрий Васильевич совместно с О. Кургановым и Ю. Озеровым выступит создателем сценария выдающейся советской киноэпопеи «Освобождение», запечатлевшей всю гигантскую панораму Великой Отечественной войны, и за работу над которым писатель будет удостоен Ленинской премии, он не становится летописцем войны как исторической данности. Бондарева прежде всего интересует и в военных, и в мирных условиях человек, его внутренний непростой, противоречивый мир. Исследованию этого мира и служит проза писателя, а тема войны выступает лишь тем фоном, пускай и очень существенным, порой, как в романах «Берег», «Выбор», «Непротивление», судьбоносным, на котором более полно раскрывается и постигается философия художнического замысла автора.

Придя в большую литературу со своим видением и восприятием действительности, с глубоким пониманием непреходящего значения духовности, нравственных ценностей и постулатов, Бондарев, последовательно, преодолевая раз за разом новые творческие вершины, весь свой талант и мастерство всегда обращал на освоение философского направления в русской советской прозе, которое до него чаще всего связывали с именем Л. Леонова.

Потому-то Бондарев так упорно и работал над постижением той глубинной связи между прошлым, настоящим и будущим, без которой «люди перестали бы познавать самих себя, бродя по перекресткам жизни как ледяные плоские зеркала, отражаясь в них немymi знаками». Отсюда, из прошлого, с военных лет, когда происходило сугубо нравственное, в жесточайших условиях войны с ее беспощадными законами, и чисто гражданское становление его Никитина в «Береге», Крымова в «Игре», и в то же время падение Ильи Рамзина в романе «Выбор», как раз и прокладывалась та невидимая, но скрепляющая нить с будущим. Взаимосвязь дня вчерашнего и сегодняшнего, их причинно-следственную неразрывность, писатель блестяще отобразит и в своей маленькой, в какой-то степени даже бытовой повести «Родственники», в которой развернется жизненная драма, заложенная в недалеком прошлом, когда вопреки кровному родству совершаются большие подлости и предательство. Но в жизни за все необходимо расплачиваться, в том числе и за преступления без срока давности. Сам себе вынесет приговор и Илья Рамзин из романа «Выбор», однажды предавший Родину и в результате отвергнутый собственной матерью.

Между прочим, Илья Рамзин в бондаревской галерее персонажей занимает особое место. Этот образ привлекает внимание не только сам по себе, но во многом и как антипод художника Васильева. Он показан писателем в трех временных отрезках – в юности, на войне и в пору зрелости, когда подходит время подводить жизненные итоги. И при этом, конечно, особо важно определить мотивы его поведения, вынудившие этого мужественного и отчаянного бойца сделать тот роковой выбор, по большому счету сломавший ему всю последующую жизнь, о которой на финише он скажет: «Сейчас я ценю жизнь не дороже ломаного гроша». Потому Бондарев и отправит Рамзина наконец-таки в Россию. Все же расставаться с опостылевшей жизнью лучше на родине...

Рамзина, бесспорно, как личность погубят его непомерное честолюбие и экзальтированная страсть к жизни. И хотя он не пойдет служить к генералу Власову и не станет военным преступником, выкарабкаться на поверхность жизни ему придется, лишь пройдя через все унижения и, разумеется, пойдя на уступки своей совести, загнанной в дальний угол и основательно им придавленной, а затем, на какое-то время успокоенной, но, тем не менее, окончательно не заглушенной, продолжавшей в нем все же теплиться.

Существование на чужбине, горькое одиночество приведут его к последнему выбору – добровольно уйти из жизни и быть похороненным на родной земле. Вот так, в конечном итоге, завершится земное прозябание человека с хорошими задатками, небесталанного, но сломленного, не выдержавшего убийственного напора жизненных испытаний и обстоятельств, пошедшего однажды по ложному, недостойному русско-го человека пути.

Эта суровая правда жизни далеко не всеми воспринималась так же однозначно, как самим автором, не являвшимся при этом сторонником указующего перста и не осуждавшим своих героев. Среди читателей и критиков, а следует отметить, что практически все написанное писателем, особенно в советский период творчества, вызывало бурный поток критических разборов, суждений, дискуссий, – было немало и тех, кто трактовал вроде бы предельно понятные негативные поступки героев по-своему, пытаясь найти им оправдание. Были и те, кто испытывал жалость к Рамзину, кто находил оправдание даже тому факту, что он тридцать пять лет не давал родной матери знать о себе и не интересовался ее жизнью. При этом они осуждали ее, мать, за то, что она простить сына уже не смогла. Во всей этой драме, в основе которой находились элементарные человеческие пороки и заблуждения, как и в «Последних залпах», «Тишине», «Береге», «Игре», «Искушении», «Непротивлении», «Без милосердия», «Родственниках» Бондарев, во всех красках своего художнического дара воссоздаст острую проблематику лобового столкновения противоположных идейно-нравственных взглядов и позиций. И в этом противостоянии, а оно, известное дело, сопровождает нас на протяжении всей жизни, позиция Бондарева воспринимается как неподъемная глыба, так как он всецело на стороне добра, справедливости, высоких нравственных идеалов.

Бондарев навел читателя на мысль о том, что в жизни неизбежно предстоит делать выбор. Выбор жизненного пути, выбор целей, приоритетов, ценностных ориентиров. И от того, каким он будет, всецело зависит вся последующая жизнь. А в ней между тем говорил нам писатель, с выбором, но уже на отдельных участках жизненного пути, повстречаться придется не единожды. Потому-то, думается, нелишне будет вновь обратиться и раздумьям художника Васильева, приходящим к нему в финале романа:

...Не искушение ли моим человеческим бессилием познать тайну правды и красоты времени? Не отсюда ли эта повторяющаяся у меня мука вины, тоска и сожаление о том, что весь мир висит на волоске, что исчезает что-то главное? Что исчезает? Доброта? Вера? Доверие и жалость друг к другу? Нет, не красота спасет мир, а правда равной неизбежности и понимания человеческой хрупкости каждого. Всех. Не сила, а трагическая слабость всех перед смертью. И здесь ничто не поможет. Ни талант, ни слава, ни положение. Ничто. Илья сделал свой выбор в сорок третьем году, чтобы выжить... А я после войны выбрал свой путь в искусстве к вершинам тщеславия через смирение: работать, работать, работать. Как одержимому. Значит, я был трудолюбив и удачлив – это что, счастье? Смысл моей жизни? а что же есть смерть? Самоисчерпаемость? Нет, Илья не исчерпал себя... Неужели смерть – тоже выбор, опыт вселенской силы, которая проводит свой эксперимент над человечеством и мешает познать истинный смысл жизни? <...> Что я хочу понять? Сделанный Ильей выбор? <...> и все-таки я хочу понять: есть ли единый смысл жизни? И есть ли единый смысл смерти? Неужели я хочу понять что-то запредельное, мистическое, непознаваемое? Нет, не волю придуманного бога, а высшую силу вселенной, ее разумную энергию, что, может быть, проводит над нами опыты, как убежден был Илья. Неужели она обманывает нас и правдой, и ложью, глупой надеждой на вечное здоровье, на помилование смертью и испытывает даже умопомраченной любовью... И разбивает общность духа. Так ли это? Но если все так, то нет единого смысла жизни и нет единого смысла смерти. Значит, на земле тысячи смыслов и тысячи выборов – и что же тогда? Может быть, поэтому я замечал, как логична и красива ложь и как неуклюжа, нелогична правда.

Воображение художника Васильева способно было рождать беспокойные и тревожные картины. И вопрос даже не в том, что он задумывался над смыслом смерти, тем более во сне. Сны его в романе выступают в качестве художественных приемов писателя, стремившегося представить широкий обзор переживаний, чувств, мыслей своего героя, олицетворявшего творческую интеллигенцию, к которой принадлежал и сам Бондарев. Немаловажно Юрию Васильевичу было обнажить и скрытую работу подсознания, которое, как известно, не фиксируется какими-либо четко выраженными внешними проявлениями. Таким образом он вырывал читателей из привычных и общепризнанных границ времени и пространства, а глубинные, но незримые, недоступные эмпирическому наблюдению внутренние процессы становились вполне осязаемыми. Мы же их могли переживать и осознавать острее и глубже.

Так вот, задумываясь над выбором Рамзина, имевшего лишь туманное прошлое, но лишившего себя настоящего и будущего, Васильев, единственный в романе осознающий всю сложность происходящих событий, и пытается отвечать на вопросы самые что ни на есть существенные, основополагающие, балансирующие на грани жизни и смерти. Его занимает постижение вечных истин, потому он и стремится осмыслить собственный жизненный путь, ответив себе: а был ли в нем смысл?

Жизнь здорово встряхнула Васильева, повернула лицом к реальной действительности, и он увидел многое из того, что ранее ускользало от его взора, вроде бы способного многое запечатлеть. И вот к двум его страстям – любви к извечной, грубой и нежной красоте природы и исключительной преданности работе, без которой терялся для него смысл существования, прибавляется и третья страсть – сострадание. Васильев начинает понимать, что без одного, без доброты, жалости, способности протянуть руку помощи, человечеству никак не обойтись.

Без этих скреп оно бессильно. И разве эти бондаревские заключения, трансформировавшиеся в напутствия современникам и будущим поколениям, потеряли свою актуальность? Неужто нынешняя наша действительность кардинально изменилась и мир людской стал добрее, гуманнее, совестливее? Или, может, в нем перестали вспыхивать военные конфликты и люди отказываются брать в руки оружие, и уже больше нигде не проливается человеческая кровь? Ответ очевиден... Но должно ли это останавливать нас в нашем неизбывном стремлении к миру, всеобщему взаимопониманию и общечеловеческой естественной потребности творить добро? Нет, не должно!

Вспоминается спор писателя Никитина с западногерманским собеседником, критиком и публицистом Дицманом, описанный Бондаревым в романе «Берег». Мы, говорит нам писатель, русские и советские люди, выступаем наследниками всего духовно-нравственного наследия человечества, его лучших и нетленных образцов. И мы не просто все это духовное богатство наследовали, но и продолжаем его качественно развивать в новых исторических условиях, как всегда, не сулящих России спокойной и умиротворенной жизни.

«Спор в романе идет о гуманистическом наследии русской культуры и всего человечества, – писал в 1975 году известный русский советский критик и литературовед Ф. Кузнецов. – Никитин яростно отрицает попытку Дицмана присвоить это наследие себе – в целях парадоксальных: для обоснования собственной бездуховности и безнравственности. “Зыбкость границы”, границы между добром и злом, – “это ваш Достоевский, самое главное в его романах”, – восклицает Дицман. “По моему, главное в Достоевском – поиск истины в человеке...” – отвечает Никитин. В современный идеологический спор, утверждается в романе “Берег”, вовлечена вся история духовного развития человечества, спор идет по самым сложным и глубоким категориям развития человеческого духа, – и мы не можем не выиграть этот спор».

Да, спор с западным миром продолжается. И он уже давно приобрел цивилизационный характер. Сможет ли Русский мир выйти из него победителем? Одолеем ли мы эти силы коллективного и разнузданного зла? Хочется верить, что одолеем... непременно одолеем.

«Художественные открытия Бондарева связаны с новым ракурсом воззрения на мир, с новыми типами героев, которыми, несмотря на сложный комплекс переживаний, сомнения, нелегкий путь самопознания, овладевает горячая вера в свое дело, – писал известный литературный критик Н. Федь. – Писатель воссоздает многослойный и неоднозначный процесс духовных исканий современника, которые выступают как самая жгучая и острая потребность эпохи. Бондарев испытывает человека на прочность. Он пишет жизнь, как она есть, признавая за ней достоинства и недостатки, каковы ей присущи. Поэтому столь пронзительно звучат хотя бы вот эти его слова: “Я стараюсь помнить, что литература – это великое переселение из мира внешнего в мир внутренний, что ей дано проводить всеобщую ревизию совести, порицать мировой порок безразличия друг к другу, жестокость, алчность, варварское соперничество с самой природой, которое ведет к гибели природы и человека не только физически, но и через сознание собственной вины”.

Парадокс: если тяжела десница жизни, то может ли человек быть счастливым? Ответ напрашивается вроде бы простой: какое же это счастье под давлением, стало быть – не может. Своим искусством Бондарев

разрушает этот парадокс. Он создает такие характеры, которые стремятся к постижению истины в наиболее трудные периоды их бытия и через страдания прорываются к счастью. При этом они начинают сознавать, что их жизнь протекает в один из наиболее драматических этапов всемирной истории».

К этому следует добавить, что и сам писатель жил в это непростое, драматичное, а затем, в 90-е, так и вовсе «подлое», напрочь бездуховное время. И в духовных исканиях его героев отчетливо просматриваются искания самого Бондарева, никогда не устававшего размышлять над самыми глубинными и сущностными проблемами земного бытия. И не просто рассуждать, но и находить ответы на самые глущие вопросы, вызывавшие у него беспокойство и тревогу, и не только как у писателя, но и как у гражданина, всегда придерживавшегося твердой, непоколебимой гражданской позиции, основывавшейся на убеждениях и воззрениях, нацеленных на построение высокодуховного людского социума – основы для счастливой и полновесной человеческой жизни на земле.

С каждым новым произведением Бондарев, ни в коем случае не идеализируя своих героев, представляя их в реальной противоречивости и непохожести людских характеров, подводил нас к пониманию непрерывности жизненных путей на земле, к вечному поиску смысла жизни, к незыблемой взаимосвязи прошлого с настоящим и будущим. Этим же философским исканиям, глубинным размышлениям над наиболее острыми вопросами современности служила и многогранная публицистика Бондарева и особенно его блестящая книга небольших новелл и миниатюр «Мгновения». Ее трудно подвести под определенный литературный жанр. Но в этой удивительной мозаике человеческой жизни как главной ценности бытия весь Бондарев – самобытный мыслитель, философ, гуманист, продолжатель традиций и убежденный последователь духовных исканий и стремлений своих величайших предшественников: Л. Толстого и Ф. Достоевского, И. Тургенева и А. Чехова, Л. Леонова и М. Шолохова.

Бондарева всегда интересовал человек, живущий в реальной действительности. Потому и выработался у него с годами *свой целостный* взгляд на мир и человека в нем. И человека отнюдь не обыденного и неприметного, а героического, способного на решительные действия и совершение подвигов.

При этом важно отметить, что героическая личность в произведениях писателя характеризуется не только свершением подвигов в их материальном выражении (например, в количестве подбитых на войне танков), а и добровольным принятием на себя ответственности за людей и одновременно за себя, чтобы и самому в тягчайшем испытании не уронить высокое звание человека. И мужество героя у Бондарева особое – отстоять с честью нравственные убеждения, лежавшие в духовной жизни советского народа, закрепленные в его коллективном народном сознании. Убедиться в этом бондаревском понимании существования советского героизма нетрудно, стоит лишь вновь поразмышлять над проблематикой его романов.

Война в ее документальном проявлении, с хронологическими рамками и строгим событийным ходом, зафиксированным исторической наукой, никогда Бондаревым не выдвигалась на передний план. Скорее она для него выступала проявлением реальной жизни, каждодневно проживавшейся в других, по-настоящему чрезвычайных обстоятельствах

и при помощи совсем иных подручных средств. Той жизни, в которой бытие и небытие не были разделены уже видимой гранью. Потому и писал Юрий Васильевич в своих «Мгновениях»:

...Главные участники истории – это Люди и Время. Не забывать Время – это значит не забывать Людей, не забывать Людей – это значит не забывать Время. Быть историчным – это быть современным. Количество дивизий, участвовавших в том или ином сражении, подсчитывают историки. Да, они подсчитывают количество потерь, определяют вехи Времени. Но они не смогут подслушать разговор в окопе перед танковой атакой, увидеть страдание и слезы в глазах восемнадцатилетней девушки-санинструктора, умирающей в полутьме полуразрушенного блиндажа, вокруг которого гудят прорвавшиеся немецкие танки, ощутить треск пулеметной очереди, убивающей жизнь.

В нашей крови пульсируют токи тех людей, что жили в истории. Они не знали и не могли знать то, что знаем мы, но они чувствовали то, что уже не чувствуем мы. При ежесекундном взгляде в лицо смерти все обострено, все сконцентрировано в человеческой душе. И вот этот фокус чрезвычайно интересен мне.

Беспощадная правда изображаемых событий, даже жестокость, бывшая в условиях войны, да и в мирные годы тоже, составляли при этом одну из основ, формировавших взгляд Бондарева на героическую личность. Личность, подчеркну, рожденную советским государством, бывшую фактически представителем первого поколения людей, выросших при советской власти.

Закономерным поэтому представляется и молодой герой Бондарева, вчерашний десятиклассник или студент первого курса. Как говорил Новиков: «Прошлое можно уложить в одну строчку». Но прошлое это было особым. Справедливо писал о нем и О. Михайлов:

Во дворе московских домов – мальчишки в «испанках», играющие в войну, бредящие Чапаевым и Карацупой, жадно ожидающие возвращения папанинцев и следящие за перелетом Чкалова через Северный полюс в Америку. Видимо, было в них что-то особенное уже от того одного, что жили они именно в Москве, столице Советского Союза, в городе, где бился пульс огромной страны. Страны, уже успевшей не только провести коллективизацию, на и дать отчет народу о первых успехах, воздвигнув за Мещанской улицей, на пустыре, сказочный городок Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Страны, разгромившей японских интервентов на озере Хасан и Халхин-Голе, освободившей Бессарабию, Западную Украину и Белоруссию. Страны, преодолевшей издержки нигилистического отношения к прошлому и восстановившей в правах великую русскую культуру – от Чайковского до Пушкина. Наконец, страны, которая законно гордилась успехами не только в промышленности, сельском хозяйстве, науке, но и искусстве и литературе... Конечно, десятикласснику или первокурснику горного института не под силу было охватить такой материк духовных и нравственных ценностей. Однако особая закваска, зерно нового, советского характера, уже проросло в этих мальчишках, что и позволило выковаться личностям Ермакова или Новикова.

Добавим – и другим героям писателя, составившим галерею бондаревских образов, не только украсивших русскую советскую литературу, но и наполнивших ее новым содержанием, не растерявшим своей актуальности и в наше трудное, но судьбоносное время.

Бондарев изображал человеческое сознание в бесперывном движении, мгновенно реагирующим на внешние обстоятельства, открывавшие

в итоге самые разнообразные грани характеров героев и глубже отражавшие их сущность. Движение сознания при этом у него целенаправленное. От бытового и сугубо житейского продвигавшееся к более полному единству с миром и людьми, а вместе с тем и к идеалам земного совместного сосуществования человечества, справедливым и гуманистическим, выношенным самой историей цивилизации. Фактически это и был тот единственный путь к гармонии и согласию между личностью и миром, называемый счастьем. И Бондарев в то же время давал нам широкую панораму жизни, в которой присутствовала и борьба – неизбежное условие движения вперед, к новым жизненным вершинам. Вместе с тем он глубоко осмысливал и противоречия нравственного порядка, а именно естественное желание человека ориентироваться на высшие моральные императивы, возможность воплощения в жизнь которых, увы, никогда, ни в одну из исторических эпох, не просматривалась.

И все же «диалектика души» героев Бондарева находилась в соответствии с диалектикой бытия, что и требовало от них активных действий. Гармония мыслилась писателем не как простое и раз навсегда данное совпадение убеждений личности с такими же незыблемыми законами внешнего мира, но как укоренившееся соответствие движения сознания движению бытия. Да, тому вечному неостановимому движению, на котором построено все земное наше существование, в основе своей устоявшееся, давно осмысленное, однако остающееся противоречивым, а порою даже непредсказуемым и не подающимся здравому смыслу, а также законам логики.

Этим-то внедрением во внутренний мир современника и рассуждениями о его самосовершенствовании и стремлении к гармонии бытия и сознания, Бондарев, думается, и сказал *свое* новое слово в непрекращающихся в мировой литературе спорах о человеке, его естестве, способностях, достоинствах и недостатках. При этом писатель однозначно давал нам понять и ту истину, что человек способен меняться в лучшую сторону, как способен он стремиться и к доброте, справедливости, нравственным постулатам. Ему следует при сем поднапрячься, поработать, стать более мужественным и героичным, ведь героическое начало в человеке заложено самой природой и стоит лишь в себе его укрепить, развить, активизировать... В общем, по Бондареву, всем нам следует жить полнокровно, гармонично и обязательно творить добро. Тогда-то и будет в обществе царить согласие, и оно наконец-таки станет в действительности счастливым.

Не приукрашивая действительность, не отказываясь от необходимости развязки непростых, конфликтных ситуаций, показывая человека таким, какой он есть, его непростую природу, не отдавая при этом предпочтения тем или иным героям, строго придерживаясь существовавшего и главенствовавшего тогда метода социалистического реализма, Бондарев все-таки являлся страстным пропагандистом подлинной человеческой красоты во всех ее проявлениях. Красоту писатель воспринимал как логику и самой жизни, и литературного процесса. Он видел ее в качестве инструмента воздействия на человеческие души и главной целью искусства, ибо красота – не что иное как «глубина истины реального мира, человеческих действий, человеческого бытия, правда окружающих его вещей». Красота, в ее широком понимании, у Бондарева выступала в роли вечного стимула в его художественном творчестве. Оттого и стремился он к показу подлинных ценностей, к бичеванию зла и несправедливости, о чем вполне конкретно говорил

в статье «Поиск истины»: «Я ненавижу и в жизни, и в своих книгах несправедливость, ложь, равнодушие, предательство, карьеризм, и я хочу верить, что золотые истины могут победить и побеждают свинцовые инстинкты. И я ищу в людях активное добро, мужество, товарищество и единение, не умиляясь и не приукрашивая человека, но и не унижая его презрением и жалостью». Пожалуй, даже в названиях его поздних произведений, написанных в совершенно иных общественно-политических условиях, таких как «Искушение», «Непротивление», «Без милосердия» заложен тот глубокий подтекст, переплетающийся с всю жизнь волновавшими писателя вопросами, связанными с постижением его же писательской формулы «красота – истина». И эта позиция Бондаревым никогда не пересматривалась.

С годами, критично оценивая нынешнюю действительность, сопереживая вместе с народом все тяготы, горе и невзгоды, пришедшие на нашу многострадальную землю, голос писателя стал звучать еще более жестко и непоколебимо. Неудивительно, что для многих ярких сторонников буржуазных реформ, для разношерстных либералов, русофобов и антисоветчиков Бондарев стал ненавистен. Они не смогли простить ему его веских и убедительных выступлений с высоких трибун Верховного Совета СССР и XIX Всесоюзной партийной конференции КПСС. Не простили они писателю, стремившемуся сохранить Советский Союз, и его участие в июле 1991 года в подготовке совместного заявления «Слово к народу», подписанного лучшими сынами и дочерьми России, в том числе – Л. Зыкиной, А. Прохановым, В. Распутиным, В. Клыковым. Записав его в враги, по большому счету откровенно не воспринимали они Бондарева и потому, что в его гражданском величии растворялись целиком и без остатка.

В то тяжелейшее время, когда вчерашние товарищи по литературному цеху, еще недавно находившиеся в числе стойких приверженцев советского строя, без тени смущения переметнулись в стан его разрушителей, Юрий Васильевич оказался в числе немногих, отказавшихся предавать социалистическое государство и те духовно-нравственные ориентиры, которые и были стержнем его мировоззрения и бытия. Как бы ни было трудно, он остался верен самому себе. А по другую сторону баррикад, к сожалению, встали, так же, как и Бондарев, фронтовики, казалось бы, исконно советские писатели, кстати облаканные до предела советской властью, всем известные А. Ананьев, В. Астафьев, В. Быков. А ведь всех их, Героев Социалистического Труда, ставили в один престижный ряд самых ярких и читаемых советских писателей, мастеров «военной» прозы. И этот список в одночасье переродившихся писателей и литераторов можно продолжить. Он действительно немал. Но это тема для отдельного разговора. Для нас же важно подчеркнуть то, что Бондарев не сломался, не изменил своих убеждений, не встал на путь очернительства советской страны, не поддался на посулы и обещания ее разрушителей. Отказался он, не желая становиться в один ряд с теми, кто открыто глумился над Отечеством, принимать и орден из рук ненавистного ему Ельцина...

Да, Юрий Васильевич до последнего дня своей жизни оставался тем же, кем все мы и привыкли его воспринимать – писателем-патриотом, человеком, искренне болевшим за Россию. Он был бескомпромиссен в отстаивании убеждений и принципов, но при этом старался никогда не ожесточаться и не впадать в назидательность и категоричность. Сила его как художника, философа и общественного деятеля была в другом –

в умении вычленять из конкретно-исторической, социально-политической и психологической жизни незыблемые общечеловеческие ценности и мотивы, дававшие ему стимулы для творчества и помогавшие идти по жизни уверенно, с высоко поднятым забралом.

По-прежнему актуальны и его произведения. Их вновь переиздают, так как притягательность особой нравственной заостренности повествования и глубокий философский анализ духовного мира героев не потеряли заданной писателем социальной направленности. Их читает молодежь, та ее часть, которую называют думающей.

Не канула в Лету и его смелая и страстная, оригинальная по содержанию, чеканная по стилю публицистика. В наши дни она, острая и проникновенная, словно выдержанное вино, воспринимается еще более осознанно.

С развалом Советского Союза, осмысливая все произошедшее с великой страной, народом, сверхкритично воспринимая порядки, а по сути отсутствие таковых в новой капиталистической России, писатель-патриот однозначно констатировал: «В истории был яркий прорыв общечеловеческой истины – социалистической цивилизации, родственной правлению народа, когда человек не чувствовал себя одиноким среди братьев и сотоварищей. На ветрах несчастий и штормов современный человек в конце XX века оказался затерянным в толпе принижённых усталым безразличием сограждан».

И эти мысли Юрия Васильевича нельзя расценивать как своеобразную дань прошлому и светлую ностальгии по нему. Все значительно сложнее – без глубокого постижения и осмысления пройденного пути, ответов на большинство волнующих нас вопросов не найти. Посему Бондарев и продолжал размышлять, комментировать самые острые вызовы времени, пытаться давать ответы на непростые вопросы, рождаемые современностью, писать, нацеливать нас, ныне живущих, да и тех, кто придет нам на смену, на подлинное, искреннее, самозабвенное служение. Служение России.

Время – незаменимый свидетель и судья, а писатель – неустанный искатель вековой цели и законов нашего существования, а не спортивный комментатор увлекательных сюжетов.

Есть ли неопровержимый ответ на главный вопрос: от чего человек исшел, куда шел и куда придет?

Вероятно, приблизится к ответу тот, кто в бессонные ночи спрашивал самого себя: не изменял ли и до конца ли верен он самой святой заповеди – любви к родной колыбели?

Эти мысли, сформулированные Юрием Бондаревым на стыке двух тысячелетий, и есть та квинтэссенция понимания его творчества. А, следовательно, для нас он навсегда останется тем великим «неустанным искателем вековой цели», хранителем «любви к родной колыбели», непримиримым борцом за торжество подлинных, а не мнимых, как бы привлекательных их сегодня не преподносили нынешние кликуши и бездарные однодневки, захватившие бескрайнее культурное пространство нашей страны, человеческих ценностей и идеалов, неутомимым подвижником земли русской.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

О. А. Рябов

ШЕФ-РЕДАКТОР

Андрей Иудин

МАКЕТ

Арсения Костромина

ДИЗАЙНЕР ОБЛОЖКИ

Анатолий Гришин

КОРРЕКТОР

Лев Зелексон

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Павел Басинский (Москва)

Владимир Безденежных

Валерия Белоногова

Николай Бенедиктов

Дмитрий Бирман

Диана Кан (Оренбург)

Елена Крюкова

Захар Прилепин

Андрей Рудалёв (Северодвинск)

Роман Сенчин (Санкт-Петербург)

Евгений Эрастов

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Олег Беркович

Сергей Горин

Олег Захаров

Людмила Калинина

Владимир Седов

Наталья Суханова

Надежда Шевелилова

УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ

ООО «КНИГИ»

Адрес редакции и адрес издателя:
603057, Нижний Новгород,
ул. Бекетова, 24/2, ООО «Книги»
Тел. (831) 412-16-04

Рукописи принимаются в редакции
или по электронной почте:
jurnalnn@yandex.ru

Сайт журнала: www.jurnalnn.ru

Тексты для публикации присылаются отдельным файлом Word с указанием авторства, наименования произведения и библиографической справкой.

Неоткорректированные рукописи с большим количеством ошибок не рассматриваются. Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

При перепечатке материалов ссылка на журнал «Нижний Новгород» обязательна.

Выпуск издания осуществлен
по заказу
правительства
Нижегородской области

Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
в Федеральной службе по надзору
в сфере связи, информационных
технологий
и массовых коммуникаций
ПИ № ФС77-60285
от 19 декабря 2014 г.

Подписано к печати 04.04.2024.
Выпущено в свет 26.04.2024.
Формат 70×108 ¹/₁₆. Усл. печ. л. 21.
Тираж 800 экз. Заказ
Свободная цена.

Отпечатано в АО «ИПК «Чувашия»,
428019, Чувашская Республика,
Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, д. 13